ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ



Повести и рассказы



ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ



Повести и рассказы



СВЕРДЛОВСК ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1987

Р2
Б89

Печатается по изданию: Брюсов В. Я.
Повести и рассказы.— М.: Сов. Россия, 1983.

Вступительная статья В. В. Химич
Примечания С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова

Художник А. В. Вохмин

БРЮСОВ В. Я.

Б89 Повести и рассказы /Вступ. ст. В. В. Химич. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987.

В книгу включены прозаические произведения Валерия Брюсова (1873—1924) разных лет. Брюсовская проза «малых форм» достаточно разнообразное, яркое и во многих отношениях интересное явление русской литературы начала столетия. Стилизованная под старинную хронику историческая новелла и психологический этюд, социальная фантастика и реалистическое повествование, отвлеченная символика и «густой», тщательно выписанный быт, реконструкция событий раннего средневековья и «антиутопия», размышление о будущем — все это лишь часть обширного прозаического наследия В. Брюсова (в котором многое осталось неразработанным, незавершенным, только намеченным), но часть, позволяющая полнее представить творчество замечательного русского писателя, одного из тех, кто стоял у истоков советской литературы.

Б $\frac{4702010100-60}{182(02)-87}$ Р2

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ В. БРЮСОВА

Творчество большого художника — всегда целая Вселенная, которую трудно охватить единым взглядом и по-настоящему можно осмыслить лишь постепенно, осваивая составляющие ее миры.

Для сегодняшнего читателя Брюсов — это прежде всего крупнейший поэт с мировым именем, великолепный переводчик и теоретик стиха. Менее известно, что он же — создатель многих прозаических произведений. Объемистые романы «Огненный Ангел», «Алтарь Победы», незаконченный «Юпитер поверженный», многочисленные оставшиеся в рукописях наброски крупных эпических произведений обнаруживают в Брюсове не только энциклопедическую ученость, но и незаурядный, весьма своеобразный дар прозаика. Эта часть брюсовского литературного наследия еще ждет внимательного и заинтересованного прочтения. Потребность в подробном историческом комментарии весьма затрудняет продвижение читателя по страницам названных книг.

И только в самое последнее время[1] начинается знакомство с Брюсовым — автором повестей и рассказов. Небольшой островок в огромном мире брюсовского творчества — малая проза — представляет собой интересную страницу его развития. И хотя в сравнении с яркими образцами подобных жанров, представленными на рубеже XIX—XX веков в творчестве А. П. Чехова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, масштаб ее значительно скромнее, тем не менее и в ней проявились некоторые существенные особенности жанрово-стилевых исканий этой поры.

Брюсов писал рассказы в течение всей своей жизни. Люди, близко знавшие его, отмечали, что он «тайно любил свою художественную прозу, вкладывал в нее много силы и энергии»[2]. Уже в 1896 году он говорил о своем намерении выпустить сборник «простеньких рассказов», но лишь в 1907 году в издательстве «Скорпион» выходит его книга «Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901—1906)», куда автор отобрал лишь немногое из созданного им в этом жанре.

[1] В 1983 году издательство «Советская Россия» выпустило книгу «Валерий Брюсов. Повести и рассказы». Ей предпослана вступительная статья С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова «Брюсов-новеллист».

[2] Литературное наследство, т. 85, с. 65.

Спустя несколько лет там же появляется сборник «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен» (1913).

Выступление Брюсова, метра русского символизма, новомодного поэта, в новой роли, естественно, вызвало живой интерес. Однако критика была разочарована. Читавшие в это время первоклассные рассказы Чехова, Бунина, Андреева рецензенты не без основания упрекали писателя в безликости героев, условности фабулы, вообще в литературном шаблоне его первых проб. Впрочем, это не было неожиданностью для самого Брюсова, писавшего в предисловии к «Земной оси»: «Никто не знает лучше меня и острее меня не чувствует недостатков этой книги... «В подземной тюрьме» более напоминает стильные подделки Анатоля Франса, чем подлинные итальянские новеллы» [3]. Общий итог абсолютного большинства оценок сводился к тому, что все же это лишь «малая» проза большого поэта. В своем отзыве Блок указывал: «Брюсов-поэт только снизошел до прозы и взял у этой стихии неизмеримо меньше, чем у стихии поэзии» [4]. Об этом, казалось, свидетельствовала и очевидная вторичность брюсовской новеллистики. Критики легко находили имена тех, кому явно подражал автор рецензируемых рассказов. Брюсов же и не старался их скрыть, прямо называя в качестве таковых Э. По, А. Франса, С. Пшибышевского. Должно быть, самое главное для него сосредоточивалось не в этом. Склонность Брюсова к литературным мистификациям известна. Стремясь создать видимость значительности нового литературного течения в поэзии, он, написав несколько десятков стихотворений, выпустил их под разными псевдонимами в сборниках «Русские символисты». Обращаясь к малым прозаическим жанрам, он бесспорно преследовал при этом ту же проповедническую цель, пытаясь внушить читателю основы нового миропонимания. Жанровый облик рассказов при этом был различен: хроники и эссе, рассказы ужасов, записки и новеллы. Словно играя, писатель создавал разностильные и разножанровые формы.

Впрочем, видя, как далеко от главного порой уходят читающие, пытаясь оценить лишь литературные аналогии его рассказов, Брюсов счел нужным предпослать второму изданию «Земной оси» прямое указание на самое для него важное: «Кроме общности приемов письма, «манеры»,— пояснял он,— эти одиннадцать рассказов объединены еще одной мыслью, с разных сторон освещаемой в каждом из них: это мысль о том, что нет определенной границы между миром реальным и изображаемым, между «сном» и «явью», «жизнью» и «фантазией» [5]. Это и было главным. Брюсов-рассказчик выступил прежде всего как представитель символистской литературной

[3] *Брюсов В.* Земная ось. М., 1907, с. VIII.

[4] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 642.

[5] *Брюсов В.* Земная ось: Рассказы и драматические сцены (1901—1907). 2 изд., доп. М. (Скорпион), 1910, с. XII.

геиерацни. Его рассказы начала 900-х годов «Теперь когда я просиулся...», «В зеркале», «В башне», «Ночиое путешествие» обличали в ием «декадента», как часто одиозиачио определяли символистов. «От г. Валерия Брюсова пахиет Эдгаром По»,— писал одни из рецеизентов[6]. И сам Брюсов, как бы афишируя свое родство, посвящает рассказ «Теперь, когда я просиулся...», который, по словам Блока, «сразу вводит в мировоззрение автора», «памяти величайшего поэта в мире, автора «Ulalume», романтика, писавшего:

Мечты! Без иих была бы жизиь бледиа.
В иих, радужных, олицетвореиа
Та схватка яви с видимостью ложиой.

Брюсов-рассказчик предстал как художиик, «открывающнй центр и исследующнй полюсы, пренебрегая остальиым», главиое у иего — «полоса пытаиий естества, иевыразимого любопытства, аиализа самых острых н необычайиых положеиий»[7]. Стремлеиие запечатлеть психическое состояние человека на граиице сна и явн, в стадии перехода нз этого мнра в потусторонний н обратно, воссоздать зыбкость ощущений сближало Брюсова, поэта и прозаика, с его соотечествеиииками-символистами Ф. Сологубом, Д. Мережковским, З. Гиппиус.

Мотив двойиичества, композициоииая зеркальиость широко былн представлены в произведеииях литературиых совремеииико Брюсова. Блок ие случайно высоко оценил рассказ «Зеркало», найдя в этой мистерии много близкого ему, а имеиио «отдельные раздроблеииые «пассии» зеркальиости, связаииые психологической вязью»[8].

Устойчивое двоемирие лежнт в осиове фабульно заиимательиых «страииых» иовелл Брюсова. Все сюжетное двнжение «Зеркала» основано на поедиике молодой жеищииы с теми отражениями, которые появляются в призрачиом мнре стекла при ее приближеиии к иему. Роковое качающееся иа виитах трюмо подчиняет, иамагиичивает своей притягательиой властью героииию, и в один сумрачиый день зеркальиая соперница силой вовлекает ее в таииствеииый холод зеркала, а сама выходит из него, чтобы жнть реальной жизиью. Автор дает возможиость читателю проиикиуть в тайиое тайиых переживания той, которая стала отражеинем и смотрит теперь нз зеркала. Жнзиь ощущается ею как «страиная, полусозиательная», ио н как «тайно-сладостиая». Сходиым образом восприиимает мнр н герой рассказа «Теперь, когда я просиулся...». Ои сладострастио прожнвает те миги сиа-яви, когда в воображаемом подземном зале для пыток мучает самыми изощреиными приемами свои жертвы.

[6] Русские ведомости, 1902, № 109, 22 апр., с. 3 (без подписи).
[7] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т., т. 5, с. 641.
[8] Там же, с. 172.

Брюсов запечатлевает именно изломы психики, как это часто делали символисты, и сопровождает рассказы характерными направляющими указаниями: «Записки психопата» «Из архива психиатра». Люди в его рассказах тянутся к ночи и сну как времени, когда исчезает отчетливость реальных предметов. Редкие моменты экстаза воспринимаются ими как мгновения истинного, умопомрачительного счастья. «Во сне я вдруг словно получал электрический удар и сразу узнавал, что мир теперь в моей власти»,— признается человек, движимый болезненной страстью к жестокости, мучительству, получающий наслаждение от чужих страданий.

Создавая, как он сам говорил, рассказы положений, то есть такие, в которых интерес сосредоточен в действиях и событиях, Брюсов умел завершать их подчас новеллистически броской концовкой. Таков финал рассказа «Теперь, когда я проснулся...», в котором «сладострастие убийства во сне приводит к убийству наяву»[9]. Нередко именно конец возвращает мысль рассказа к исходной конфликтной точке о неразличимости двух реальностей. Перед мучительным вопросом, где истина, останавливаются в недоумении действующие лица рассказов «В зеркале» («А что, если подлинная я там?»), «Мраморная головка» («Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было...»), «В башне» («что, если я сплю и грежу *теперь...*»).

Отход от плоско эмпирического познания мира сопрягался у Брюсова с интересом к трансцендентным сущностным началам жизни. Влияние фатальных сил интересует в это время самых разных писателей, и не только символистов, таких, как К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Блок, но и реалистов — Л. Андреева, И. Бунина, А. Куприна. Вересаев, стараясь определить, что было «общего» у таких «чудовищно разных» людей, как он и Л. Андреев, итожит: «Общее было в то время обоих сильно и глубоко мучившее «чувство зависимости «души» человека от сил, стоящих выше его»[10].

Роковая магия запредельного с новеллистической остротой передается Брюсовым в рассказе 1915 года «Элули, сын Элули». Зловещие слова охранительного заклинания, найденного при раскопках богатой усыпальницы, сбываются, оборачиваясь предначертанной из глубины веков гибелью. Словно дыхание сумрачной вечности, которая действует неотвратимо, звучат последние слова рассказа: «Великие открытия, сделанные Дютрейлем и Бувери, которые мечтали обогатить финикологию, погибли для человечества». Нечто, лежащее за пределами понимания и составляющее некую таинственную суть мира, мучительно влечет к себе как чудо.

В произведениях Брюсова человек нередко живет в русле этой суровой предначертанности, когда ему говорят века, когда они направляют его путь. Именно отсюда одержимость

[9] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т., т. 8, с. 172.
[10] *Вересаев В.* Воспоминания. М., 1946, с. 447.

и страстно подвижническая жизнь героини повести «Рея Сильвия». Создавая выразительно очерченный исторический фон с помощью различных римских декораций, обстоятельно перечисляя древностью дышащие имена (Рустициана, дочь Симмаха и вдова Боэция, Аларих, Гейсерих), настойчиво употребляя экзотические буквализмы (таберна, копона, терма, ристатели), автор тем самым как бы выводит смысл рассказа на более значительный всеобщий уровень. Центром же он делает не саму историю, а переживание ее драмы: «Века и эпохи путались в бедной головке девочки...», да это и не имеет здесь определяющего значения. Главным, собирающим все в повести, предстает мечта Марии — «история Рима, ничем не похожая на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты». Сладостная легенда, сотворенная юной Марией, питает ее. Полубезумная девочка и пьяный отец бесконечно счастливы, «говоря без конца о прошлом величии Вечного города».

Противостояние мечты и действительности обусловливают своеобразную драматическую атмосферу, в которой происходит действие. Всем своим существом Мария обращена к прошлому. Золотой дом Нерона, явившийся ей из небытия, представился живым воплощением ее грезы. «Перед ней была жизнь Древнего Рима, живая, во всей своей полноте, наконец-то обретенная Марией!» Неким особым значительным смыслом окружен барельеф, обнаруженный беглянкой в подземном дворце. Изображающий спящую Рею Сильвию, весталку царя Нумитора, и полюбившего ее прекрасного бога Марса, а над ними плывущую по реке плетеную корзину с двумя младенцами, барельеф этот становится для Марии указанием на ее избранничество: «Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ее портрет... который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий».

Все дальнейшее повествование строится на первый взгляд как осуществившееся предсказание. В готском юноше Теодате, зашедшем в пещеру, экзальтированная девочка видит напророченного ей избранника, она готова принять подвижническую смерть в мутных водах желтого Тибра.

В рассказах романтического типа Брюсов, как правило, делает акцент на крушении мечты. Так, своеобразным «обрывом» заканчивается мелодраматическое повествование о высокой любви в новелле «Под старым мостом», горьким умолчанием завершается история Джулии и Марко, обручившихся перед лицом бога («В подземной тюрьме»), в холодной беспріютности осеннего вечера остается лишившаяся светлого чувства Анна Николаевна в рассказе «Бемоль». Жестоко расправляется действительность и со счастьем Марии: гибнет ее возлюбленный, в горе вместо Ромула и Рема, будущих основателей нового Рима, она рождает «трехмесячного недоноска». Одержимая, по-прежнему веря, что волчица найдет

и выкормит ее детей, Мария во исполнение обета бросается в мутные воды Тибра.

В. Брюсова как художника всегда привлекали сильные характеры, его идеалом было высокое и прекрасное в человеке, напряженность и вдохновенный подъем всех его жизненных сил. Стремление возвеличить красоту, силу духа, живую энергию привело к возрождению в его поэзии жанров оды, дифирамба, хвалебного гимна. С этим, в частности, было связано и его тяготение к эпике в стихах и прозе, к общему укрупнению масштаба изображения.

Высокая трагедийная пафосность «Реи Сильвии» проистекает от поэтизации идеи-страсти, которая мечтательную девочку, готовую ценой жизни вернуть в мир утраченную красоту и гармонию, выводит в ряд героических личностей. Рассказ завершается патетическим авторским монологом во славу «бедной весталки», которая «была счастливее всех других в этом жалком, полуразрушенном Риме».

Своеобразие брюсовского идеала особенно отчетливо проступило в трактовке им темы любви — одной из глубинных тем его поэтического творчества. Подобно многим крупным писателям рубежа веков, Брюсов возводил любовь в ранг опорных начал мира, полагая ее осью земной жизни.

С ней так или иначе связано содержание абсолютного большинства его повестей и рассказов, ею определяются в конечном счете судьбы героев. С утратой любви нечем дышать Марии из рассказа «Под Старым мостом», любовь губительно преследует героя «Мраморной головки», она роковым образом связывает Корецкого и Анну в рассказе «Через пятнадцать лет».

Любовь в брюсовских новеллах предстает как наваждение, страсть (А. Белый называл Брюсова «поэтом страсти»), которой во времени отведен лишь неповторимый миг. Жизнь мстит жестоко тем, кто этот миг пропустил, она не прощает человеку рассудочности в любви. Жертвой неверного выбора становится расчетливый молодой человек, не пожелавший связать себя «какой-то романтической любовью», предпочтя ей «блестящую будущность» («Мраморная головка»). Жизнь сыграла с ним злую шутку: его карьера оказалась недолговечна, а надолго рассчитанное счастье непрочно. Игрок и пьяница, бродяга, он, кажется, совсем потерял человеческий облик, но лавина чувств обрушивается на него, едва он увидел мраморную головку, напомнившую ему Нину. Роковая сущность ожившего чувства отмечается и характерным событийным сломом: «Этот день изменил всю мою жизнь... я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы... Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки».

В художественном времени брюсовского рассказа невозможен момент возврата к прекрасному мигу. Схватили как вора героя «Мраморной головки», когда он хотел «посмотреть на

статую еще раз», терпит фиаско Корецкий, надеющийся на всплеск ответного чувства и через пятнадцать лет, тщетно бьется Басманов («За себя или за другую?»), пытаясь вернуть как дым растаявшее прошлое.

В рассказах Брюсова безмерность любви способны переживать лишь женщины. Это и Лизавета («За себя или за другую?»), и Анна («Через пятнадцать лет»), и Ада («Моцарт»). К определению их чувства даются иногда даже чрезмерно интенсивные определения: она «полюбила его со всем ослеплением страсти, безумной, яростной, исступленной» или: «то была любовь редкая в наши дни: та, которая остается в душе на всю жизнь». Мужчины же либо губят ее своей рассудочностью, либо оказываются слишком мелкими, пугающимися ее опаляющей силы, поэтому часто волей или неволей становятся предателями. Брюсов дает женщине право мстить за поруганное чувство, мстить ледяным спокойствием, неизменным равнодушием, дерзким своеволием. Основные сюжетные ситуации названных рассказов выглядят как роковые, мучительные поединки, как некая «трагическая распря», «когда трудно различить, где кончается притворство и начинается искренность» — так выглядит месть обесцвеченной страсти. Автор выводит смысл подобных рассказов в обобщенный план. «А за кого я мстила, за себя или за другую, в конце концов, не все ли равно», — напишет Елизавета-Екатерина в конце своего прощального письма. Исповеди, письма, дневниковые записи, доверительные рассказы, широко используемые Брюсовым, позволяют проникнуть в психологические глубины любовного чувства в его самом земном облике.

Как наиболее зоркие писатели его времени, Брюсов запечатлел и социально искаженный облик любви. В психологической повести «Последние страницы из дневника женщины», написанной, по его словам, «серьезно, строго, иронически», он показывает, во что современное общество превратило любовь, как разрушило оно женщину. Героиня рассказа Натали (Таля, как манерно называет ее любовник) состоит в интимных отношениях с несколькими мужчинами одновременно. Общество, семья, условия воспитания привели ее к безнравственности: с юности мать учила лицемерию и ловле женихов, а после замужества пошли «годы вынужденного разврата». И теперь она не стыдится признаться робкому, правдивому, добродетельному Володе, что она развратна, любит исхищренность и изысканность чувств. «Любовь и страсть прекрасны, но свобода — лучше вдвое!» — восклицает Натали. Свобода, которую разрешила себе героиня, оборачивается холодным развратом, манерничаньем, дурной театральностью и прямым преступлением. Гримасы любви проступают в болезненно надрывной ситуации, когда Натали становится предметом страсти своей сестры. Над всем, что есть в рассказе, господствует холодный, все бесстрастно оценивающий взгляд женщины, которую отучили любить.

Одни из рецензентов положительно подчеркивал умение

автора «о самых скользких сюжетах... говорить просто и без подмигивания»[11]. Современная Брюсову реалистическая литература давала великолепные образцы такого подхода. Уже была написана Л. Н. Толстым беспощадная «Крейцерова соната», а А. П. Чеховым мучительно правдивый «Припадок», и так созвучные с брюсовской повестью «Володя большой и Володя маленький» и «Анна на шее», уже Куприн опубликовал первую часть «Ямы», а Л. Андреев «Бездной» заставил содрогнуться читателя.

«Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова!.. Для вас любовь или разврат, или математическая задача, а любви, как любви, как чувства одного человека к другому, вы не знаете» — подобные этим слова можно найти в каждом из названных произведений.

Рассказ Брюсова вызвал много нареканий и упреков в непристойности автора. Отождествляя позицию писателя со словом героини, обвиняли его в безнравственности. Известно, что из-за этого рассказа журнал «Русская мысль», где он был опубликован, подвергся аресту. Между тем очевидно, что автор развенчивает своих героев. С издевкой, усмешкой, а порой и откровенным сарказмом рисует он не только оригинальничание Модеста, не только безмерную экзальтированность Володи, но и главным образом и, может быть, более всего ту, от имени которой сделаны записи и которая в порыве откровенности бравирует своим цинизмом. Вне учета иронических интонаций невозможно верно истолковать суть авторской концепции.

С изрядной долей иронии передает автор душевные терзания маленького, пошлого человека, скроившего любовь по своему образу и подобию. В рассказе «Моцарт» Брюсов держит читателя в русле мыслей и переживаний скрипача Латыгина, которого окружающие полупрезрительно и в насмешку называют Моцартом. Его восприятие действительности, размышления и оценки воспроизводятся в непосредственности внутреннего слова.

В начале повествования Латыгин предстает как жертва социальных условий, в безысходной бедности, в переживании мучительного стыда от убожества жизни. Временами кажется, что это одаренный музыкант, который страдает от непонимания.

Но чем дальше, тем больше автор в маленьком человеке обнаруживает мелкого. Лживость Латыгина, его готовность только брать, ничего не давая взамен, становятся причиной несчастий всех его женщин: жены Мины, телеграфистки Маши, экспансивной гречанки Ады Нериотн. Сам герой любит самодовольно повторять слова Пушкина: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» — Брюсов же ведет смысл рассказа к резкому снижению этой высокой оценки. У Латыгина нет

[11] *Венгеров С. А.* Литературные настроения 1910 года.- Русские ведомости, 1911, № 14, 19 янв.

предаииостн своему таланту, жизиь музыкаита он разменял на любовные приключения, иа лжнвые маленькие страстишки. И Брюсов с иескрываемым удовольствием смеется над провинциальным дон-жуаном, перечислительио отмечая стремительность перелнстываиия нм любовиой кинги: «Тем временем Латыгин сблизился с Машей. Разумеется, он ни словом не намекнул на это Аде». В кульминациониый момеит рассказа вконец запутавшийся в паутние связей герой вспоминает вдруг по сходству ощущений эпизод из детства, когда его, оказавшегося пленником краснокожих, мальчишки, игравшие в индейцев, связали и поставили к столбу пыток и как он вдруг разревелся н подиял крик: «Не хочу больше играть!» И теперь «большому Роде, собравшемуся уехать «со своей любовиицей от своей жены», хотелось так же зарыдать н закричать так же: «Не хочу больше играть!»

Выставляя в смешном н жалком вндe своего героя, Брюсов развенчивает иллюзию его гениальности. Латыгии, пытавшийся было в очередной раз к месту вспомнить, что он же художник, сам усмехается: «Кто тебе поверит». В финале он имеино Моцарт, хлипкий, подленький человечек, а не просто малый мира сего. Эта требовательная интонация в оценке поведеиия обычного человека сформировалась в русской реалистической литературе рубежа веков и прозвучала иоваторски особенно отчетливо в рассказах Чехова и Горького.

Строгий счет за человека Брюсов предъявляет современной буржуазной цнвилизации, тому мироустройству, которое обезличило индивидуальиость, поработив её. «Сёмь земиых соблазнов» иазывается рассказ, представляющий собой лишь фрагмент задуманиого писателем утопического романа из будущей жизни. Подзаголовок «Богатство» — один нз ряда других, указывающих на «семь грехов»: Сладострастие, Опьянение, Жестокость, Праздиость, Слава, Месть. Автор представляет читателю иекое социальиое образование, которое невозможио прикрепнть к известным эпохам. И все же общество, изображенное в рассказе, характерізуется в предисловии «От автора» как достижение виовь «приблизнтельно такого же уровня внешией культуры, иа котором оно стоит в иаши дни». Фантастическое переосмысление касается, в сущностн, лишь внешних рамок действия. Содержание же рассказа выдержано в стиле того фантастического реализма, который позволял Достоевскому, например, постичь глубины социальной трагедии человека его времени.

Фантастические картины жизни изображенной эпохн весьма узиаваемо воспроизводят уклад современиой писателю буржуазиой городской повседневиостн. В письме из Парижа, где Брюсов начал работу над произведением, он писал: «Для многих его сцен я нахожу здесь как бы модели... Жизнь большого города, жизнь толпы и многое другое здесь я могу списывать с натуры»[12]. Таким слепком с реальностн выглядит,

[12] Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. М., 1929, с. 259.

например, картина вечерней столицы, представшая глазам приехавшего за счастьем героя, «картина исступленной, ожесточенной жизни». Он видел перед собой «громадную площадь, обставленную сорокаэтажными небоскребами, как реки в море, в нее вливались ярко освещенные улицы; за громадами домов высились зубчатые и темные громады других стен... Движение толпы, экипажей, вагонов, разбег автомобилей и ровное стремление трамваев образовывали непрерывное мелькание, беспорядочную смену видений. Визг электрических дорог, хрипение и грохот моторов, стук лошадиных копыт, щелканье бичей, выкрики газетчиков и продавцов сливались с тысячеустым говором народа в один грозный, не лишенный гармонии гул...». Пространное описание, необыкновенно плотно насыщенное предметными, звуковыми и световыми деталями и подробностями, дает почти физически ощутимый портрет «огромного современного чудовища», близкий бодлеровским урбанистическим картинам. Брюсов прибегает к такой обстоятельности для более глубокой мотивировки драматических коллизий.

В основу рассказа положено, по представлению автора, важнейшее в драме современности противоречие между «высокой ступенью внешней культуры» и «язвами», свидетельствующими о крайне низком уровне нравственного развития. Сюжет представляет собой историю молодого человека, который только входит в этот порочный мир, выбирая свой путь. Исходная ситуация довольно типична для реалистического антибуржуазного романа. Подобно Растиньяку герой брюсовского рассказа смотрит на город, понимая, что примирения не будет: «Я понял, что нас двое: город и я, один — громадный, страшный, всемогущий и беспощадный, другой — малый, бесприютный, слабый, но решившийся на борьбу».

Устойчивая брюсовская тема социального антагонизма, так многообразно прозвучавшая в его поэзии, становится композиционной основой повествования. «С одной стороны,— городские дворцы столичных богачей, одетые в шелк и золото красавицы, тысячи предметов утонченной роскоши, с другой — миллионы людей, которые поколение за поколением роются в шахтах, льют расплавленный чугун, присматривают за ткацкими и прядильными машинами...»

Основные эпизоды рассказа: испытание, предложенное архимиллиардером Варстремом своему племяннику, посещение г-жой Варстрем счетного зала, где работают обнаженные мужчины,— показывают, как богатство извращает духовную жизнь. Грозную социальную болезнь рисует Брюсов, проводя своего героя через все круги буржуазного уклада,— предельное всепроникающее унижение личности, ее достоинства. Человеческая сущность героя противится тому, что его сделали механическим счетчиком, заставляя выполнять работу, с которой бы справился искусно приспособленный аппарат. Он чувствует, что «работа убивает в нем все умственные силы, подавляет способности, разрушает его нравственное существо.

Но он не может чувствовать себя свободным и в частной жизни; отель Варстрема задуман с тем, чтобы после трудового дня служащие «не освобождались из-под смертельных чар Спрут-банка». Брюсов рисует поистине фантастический распад человеческих связей и принципов, утверждение новых, извращенных форм. Не избегая эффектов неожиданности, писатель вместе с тем не стремится поразить читателя абсолютно непредвиденными поворотами действия. Финал рассказа — смелая выходка пресыщенной гетеры — в полной стилевой согласованности со всем содержанием произведения выглядит как вполне возможный в пределах законов общества, поощряющего все порочное в людях. Только усмешка мраморного фавна вносит сюда ироническую ноту. Немая сцена достойно завершает этот реалистический рассказ о порочности буржуазных отношений.

По сравнению с ним нравоописательная повесть «Обручение Даши» выглядит идиллической картинкой. Оборачиваясь на пятьдесят лет назад и входя в мир московского купечества, автор застает почти патриархально неподвижный, хотя по видимости и вполне городской, склад жизни. С точным и глубоким знанием изнутри всех деталей и примет течения неспешной реки замоскворецкого существования автор обстоятельно и как бы отдыхая душой описывает торговлю «по копейке», полутемные лавки, сделки и неизбежные чаепития, душные трактиры с хриплыми «машинами» и устойчивые, по-особому уютные запахи дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения. Мастерски сделанное описание погружает читателя в непосредственное соприкосновение со средой, создает полную иллюзию присутствия. Даже и наивность нецивилизованного мышления лишь умиляет писателя. С улыбкой расположения он повествует о мечтаниях и порывах к самообразованию и культурной, «идейной» жизни купеческого сына Кузьмы, ведущего дневник, где он пишет «французскими буквами, но по-русски», с симпатией пишет о любовных страданиях наивной, даже глуповатой, но добросердечной Даши, с издевкой рисует «самостоятельно мыслящего» Аркашу. Повесть написана великолепным слогом, живое, полнокровно звучащее слово автора и искусно представленная речь героев составляют неповторимое очарование ее. И все же это единственное произведение, написанное в таком безмятежном тоне и стиле. Писатель начала XX века, Брюсов живет главным образом в мире катастрофы. Не случайным поэтому представляется формирование в его творчестве жанра фантастического рассказа.

Сторонника научного эксперимента, Брюсова интересовали и чисто теоретические вопросы «предположительного» восприятия реальности. В незаконченной им статье «Пределы фантазии» писатель говорил о двух, по крайней мере, разновидностях фантастики — мистической и научной — и в творчестве своем дал образцы того и другого типа.

Как росчерк пера, как некая игривая проба выглядит рассказ «Ночное путешествие», представляющий собой мистический эпизод посещения иной планеты. По прихоти Дьявола и по всем правилам бесовского наваждения герой, точнее его астральный образ, в мгновение ока преодолевает расстояние в миллион лет и оказывается в неизвестном мире. Перед его взором расстилается море невиданных растений — «оранжевых длинных, зрячих стеблей», которые извивались, вытягивались, подымались и опускались. Изощренная фантазия автора создает вполне в духе символистских эротических построений странную картину блуда цветов. Рассказ, похоже, написан ради этой сцены и поэтому не представляет особого интереса. Невозможно не согласиться с его героем, который с неудовольствием выговаривает Дьяволу, что тот во всей беспредельности бытия не нашел ничего лучшего, как показать это зрелище, «от которого его тошнит». Впрочем, подобный рассказ является исключением. В мистике и туманной метафизике Брюсов обычно пытался угадать закон действия, стремился, по словам А. В. Луначарского, к «познанию в угадке». Поэтому его более влекло к фантастике научной, позволяющей в невозможном схватывать логику развития и отношения вещей, то есть, как он сам говорил в статье об Э. По, «подводить теорию под сверхъестественное, обращая его в естественное, только высшего порядка». Среди наставников и сподвижников Брюсова в этой области обычно называют Эдгара По, Стивенсона, Уэллса, а также Рея Брэдбери и Ст. Лема.

Русское общество рубежа веков жило в предчувствии вплотную приблизившихся социальных потрясений. Идея общественного взрыва принимала различные формы: от безусловной веры в грядущий Апокалипсис до марксистской теории пролетарской революции. Обладая сильно развитым чувством истории и пытаясь глубже осознать суть происходящих в России процессов, Брюсов в своих романах «Огненный Ангел», «Алтарь Победы», «Юпитер поверженный» обращается к наиболее драматическим и противоречивым страницам европейской истории, ибо «исторические и психологические параллели напрашивались сами собой». К этой же теме он выходит и в малой прозе, создавая ряд фантастических произведений, прогнозирующих завтрашний день цивилизации.

В записях творческих планов 1908—1909 годов он помечает в разделе «Рассказы» среди прочих две темы: Ожившие машины и Путеводитель по Марсу [13].

Идея вышедшего из-под власти человеческого разума технического прогресса развивается писателем в набросках рассказов с однотипными названиями «Восстание машин», «Мятеж машин». Возвращаясь к этой теме несколько позже, Брюсов так определял свою задачу: показать то «темное и грозное», ту «пропасть, в которую ведет фетишизация техни-

[13] Литературное наследство, т. 27—28, с. 460.

ки, превращение человека в результате одностороннего развития цивилизации в жалкий придаток, в раба машин»[14]. Отмечено, что Брюсов одним из первых в мировой фантастике задумался над коллизиями, которые сегодня в предвиденье появления машины, наделенной свободой поведения, ожесточенно обсуждаются не только фантастами, но и учеными-кибернетиками»[15].

Довольно мрачные социальные прогнозы содержались и в других его произведениях, таких, например, как «Последние мученики» или драматизированная повесть «Земля», где представлена смертельная агония вымирающего под стеклянным колпаком человечества.

Вместе с тем очевидно, что истинный смысл фантастических рассказов Брюсова заключается не столько в точном прогнозировании путей, которыми пойдет исчерпавшая себя цивилизация. В свое время они были ценны передачей самого тревожного духа времени «смятения умов». В них было запечатлено психологическое переживание катастрофы, «ощущение какого-то полета в неизведанные пропасти» (А. Блок). Именно об этом брюсовская «Республика Южного Креста». Формальные истоки ее в рассказе Эдгара По «Бес противоречия» (первоначальное название «Демон извращенности»). Автор рассказа трагической судьбой героя иллюстрирует исходное положение, согласно которому противоречие, а именно — ошеломляющая тенденция безрассудно поступать себе во вред — является важнейшим перводвигателем души человека и всех его поступков. Эта психологическая ситуация, будучи переведенной в социальный план, становится ядром сюжета брюсовского рассказа. Целая республика гибнет из-за роковой эпидемии — заболевания противоречием.

Описание государства ведется таким образом, что создается полная иллюзия его реального существования, так похоже оно на любую буржуазную «свободную» страну, где «демократическая внешность прикрывает чисто самодержавную тиранию».

Идея крушения, катастрофы представлена как стихийное бедствие, которое выглядит при всей его фантастичности вполне возможным. Установка на достоверность поддерживается часто приводимыми точными сведениями: «В средних числах июня уже около 2 % всего населения, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Рассказ строится таким образом, что постепенно забывается вымышленная причина катастрофы, а ощущение «полета в пропасть» становится доминирующим. С подчеркнутой обстоятельностью фиксируются автором все новые свидетельства неотвратимости гибели: «24 июня остановилось движение по городскому метрополитэну ввиду недостатка

[14] Литературное наследство, т. 85, с. 70.

[15] *Бритиков А. Ф.* Русский советский научно-фантастический роман. М., 1970, с. 45.

служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля начальник издал приказ всем жителям переселиться в центральную часть города...» Сообщением очередных событий бедствия Брюсов как бы закрывает один за другим все возможные выходы, ведя к последнему: «8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов... Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак». Композиционно центральным становится образ нравственной катастрофы, составленный из отдельных картин, рисующих «оргию отчаявшихся людей». Звездный город становится гигантским домом сумасшедших: песни, бессвязные речи, выклики безумия больных, идиотский хохот, стоны умирающих, «зверское веселье и зверская злоба».

Фантастика Брюсова вырастает из его осознания истории как процесса циклического развития. Отсюда закономерен жизнетворческий пафос финала. Начинается новый день страны: отважные смельчаки проникают в город, восстанавливаются железные дороги, улицы очищаются от трупов, в Звездный возвращаются люди. И хотя конец рассказа мажорен, весь он в целом звучит как предостережение.

Обращаясь в завтрашний день человечества, Брюсов-рассказчик естественно выходит на космическую тему. Как поэт он многократно и уверенно обращался к ней. В 10-е годы она звучала особенно ярко. Автор стихов «Сын земли», «Земля молодая», «Детские упования» напишет:

И сын земли, единый из бессчетных,
Я в бесконечное бросаю стих,—
К тем существам, телесным иль бесплотным,
Что мыслят, что живут в мирах иных.

Он прозорливо предсказывал в грядущем появление «нашего корабля» в «просторах пустоты» и известие на столбцах газет, «что безвестный, ныне славный кто-то, как Колумб, увидел новый свет». Он радостно пророчествовал «о великом имени земном» того, кто первым полетит в космос. Его техническая утопия «Экспедиция на Марс» 1918 года, оставшаяся в набросках, содержит подробное описание «междупланетного» корабля. Выводя людей в космическое пространство и говоря об их первых успехах вне Земли (тов. Марли со своими спутниками привозят ценные коллекции с Марса), Брюсов помещает туда же и первые могилы (герой разбивается при возвращении). Писатель еще раз вернется к этой теме и сделает наброски для рассказа «Первая междупланетная экспедиция». Почти одновременно с Гербертом Уэллсом он свяжет идею космических полетов с использованием атомной энергии.

Брюсов-рассказчик тщательно работал над своими произведениями, многократно возвращался к тревожащему его замыслу. Так, остро волновала его, атеиста и материалиста, не всегда объяснимая простыми «почему» и «зачем» связь

между прошлым и настоящим. Написав в 1901 году рассказ «Студный бог» («Бог чревоугодия»), он почти буквально повторил заворoживший его вопрос в «Элули, сын Элули», а затем в 1918 году снова вернулся к раздумьям о «воскрешении прошлого применительно к человеку» в рассказе «Торжество науки — записки 3-го посещения Теургического института». Многие рассказы писателя имеют по нескольку вариантов и черновых набросков. Так, известны, например, две рукописные и три машинописные редакции «Моцарта».

Тщательной проработкой темы, шлифовкой ее писатель достигал той искомой эстетической завершенности, которая наиболее соответствовала его личностному стилю. Это и была та индивидуальная неповторимость, гербовая печать автора, которую неизменно отмечали читавшие его повести и рассказы. Называли ее по-разному: чеканностью идеи и слога, прекрасной архитектурностью целого, граненой точностью образов, рационалистической жесткостью, классицистической строгостью. И в каждом из этих определений был виден Брюсов

Далеко не все написанные им и даже вполне готовые к печати повести и рассказы вышли в свет. Специалисты утверждают, что около ста прозаических произведений разной степени завершенности хранится в архиве писателя. Настоящее знакомство читателя с ними еще впереди. Но и сегодня уже можно сказать, что в малой прозе, как в капле воды, отразилась вселенная брюсовского творчества. В малом жанровом измерении она проявилась особенностями литературной биографии ее творца, типом его художественного мышления, ведущими темами и устойчивыми образами. В ее свете художественный мир рассказов приобрел то «лица необщее выраженье», которое мы ощущаем как брюсовское.

В. В. Химич



ПОД СТАРЫМ МОСТОМ

NOVELLE SIMPLICE № 1

> ...Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
> Беспамятство, как Атлас, давит душу...
> Лишь музы — девственную душу...
> В пророческих тревожат полуснах.
>
> *Тютчев*

Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату, Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства, как мятежника.

Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей и переждать время отцовской немилости или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу.

Столица была городом торговым, приморским; ее улицы всегда кипели народом, но Антонио недолго бродил бесцельно: он вспомнил, что теперь должен сам зарабатывать себе пропитание. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд, пошел на пристань и просил носильщиков принять его товарищем. Те согласились, и Антонио тотчас же принялся за работу. До вечера таскал он ящики и тюки и только после захода солнца отправился со своими товарищами на отдых.

Непривычная работа очень измучила Антонио. Плохой ужин, который ему предложили, и сон на голых досках не могли восстановить его сил. Наутро он поднялся уже с трудом, а после нового рабочего дня вернулся совсем больным. Две недели пролежал он в горячке. Носильщики, как умели, ухаживали за ним и держали его у себя за все время болезни.

Однако, когда Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался непостоянным на работе. Антонио и сам сознавал это. Он отказался от нескольких грошей, которые ему предлагали на дорогу, и снова пошел искать пристанища.

На этот раз положение Антонио было особенно тяжело. Изнуренное тело, дрожащие руки, лихорадочно горящие глаза не могли внушить доверия. Антонио все отказывали в работе: и лодочники на реке, и уличные торговцы, и сторожа у городской стены. Ночь Антонио провел на каменной скамейке под кладбищенской оградой и продрог от дорассветного холода; днем его начал мучить голод, и Антонио, наконец, принужден был продать свою одежду. Наряд, называвшийся во дворце простым, был роскошным для уличного бродяги. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего.

На деньги, вырученные от такой мены, Антонио мог утолить голод, но думы оставались мрачными. Приближалась ночь — опять холодная и сырая. Приступ вернувшейся болезни мучил Антонио. Почти бессознательно он покинул людную часть города и добрался до окраины, где через реку был перекинут так называемый Старый мост.

Река бурлила, угрюмая и черная; загоравшиеся звезды боязливо трепетали на ее волнах. Но Антонио казалось, что река приветливее, чем город, шумевший вдали. «Нет, видно, я не способен к той жизни, на какую обрек себя,— думал Антонио,— стоит ли дожидаться медленной смерти».

Антонио спустился по крутому скату реки и стал на илистом берегу. В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обагрились; осветился даже суровый Старый мост. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо; вместе с тем ему послышался голос: «Надейся, не падай духом».

— В самом деле,— сказал себе Антонио,— еще не все пропало. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду, а что касается до ночлега, то вот передо мной прекрасный даровой приют: свод этого гигантского моста.

Антонио направился к мосту столь твердо, насколько позволяла ему слабость. Сырой туман охватил Антонио под аркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Антонио стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг что-то зашумело вблизи и какая-то белая тень мелькнула вдоль стены.

Антонио рассмотрел, что то была женская фигура.

— Послушайте,— сказал он,— вы напрасно убегаете, вам нечего бояться.

— А ты кто такой? — спросил его тихий голос.

— Бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста.

— Ты выследил меня?

Антонио не понял этих слов.

— Уверяю вас,— сказал он,— что мои слова — правда.

А если и вы искали здесь пристанища, то, вероятно, нам хватит места обоим.

— Твой голос незнаком мне,— задумчиво сказала женщина,— а я было приняла тебя за черного Пьетро. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты и в самом деле пришел сюда случайно?

— Готов поклясться.

— И...— тут говорившая смешалась,— не будешь ночью тревожить меня?

— Сеньора! Честь женщины для меня дороже всего!

Эта придворная фраза вырвалась у Антонио невольно. Изнемогая от усталости, он почти не знал, что говорил; голова у него кружилась, колени подгибались.

— Ну, хорошо,— сказала женщина,— так и быть, остаемся оба... Помни только, что у меня есть нож... Ты можешь лечь вот здесь... нет, не сюда, правее... видишь вход?..

Антонио кое-как добрался до указанного ему места. То была глубокая ниша, врезавшаяся в стену моста наискось. В ней было тепло и даже почти не сыро. Антонио упал на камни, и тотчас же его охватило забытье.

Очнувшись утром при слабом желтоватом свете, проникшем в нишу, Антонио увидал, что к нему наклоняется молоденькая девушка. Лицо ее было худым и бледным, одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и из еще более жалкой разорванной юбки.

— Что, проснулся? — сказала девушка.

— Благодарю вас,— отвечал Антонио и хотел приподняться, но тотчас же снова упал со стоном.

— Да ты болен?

— Немного,— пробормотал Антонио, почти теряя сознание,— я был тяжело болен и очень устал вчера.

— Да ты, может быть, голоден, я принесу тебе хлеба.

— Нет, благодарю... не можете ли вы достать мне вина, это подкрепило бы мои силы... Вот у меня есть деньги.

— Как? ты богат! — изумилась девушка, увидя несколько серебряных монет,— хорошо, я куплю тебе вина...

Она убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Антонио отпил немного вина и съел одну маслину. Несколько оправившись, он приподнялся на своих камнях.

— Тебе нельзя сегодня ходить по ветру,— сказала девушка,— ты простудишься до смерти... Деньги у тебя есть, полежи здесь... или (прибавила она после некоторого колебания) — иди лучше ко мне: там теплее.

Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь на полу лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем. Антонио увидал в этом убежище подобие хозяйства — маленький котелок, таган, кружку.

— Лежи здесь до вечера, когда я приду,— уговаривала девушка,— здесь все найдется: вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.

— Скажите мне ваше имя,— просил Антонио.

— Зовут меня Марьэттой,— отвечала девушка, произнося по-простонародному имя Марии.

Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки

Вечером вернулась Мария, продрогшая, усталая.

— Будем ужинать,— сказала она,— кстати, и комнату согреем.

Антонио смотрел, как Мария развела таган, кипятила воду и размачивала в ней хлеб.

— Скажите, чем вы занимаетесь? — спросил Антонио.

— Теперь прошу милостыню,— очень спокойно отвечала Мария.

Антонио показалось, что его сердце сжалось.

— Неужели,— заговорил он в волнении,— неужели вы не нашли других способов пропитания?.. Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.

— Видишь ли,— сказала она, обертываясь к нему всем лицом,— если будешь где-нибудь служить, к тебе будут приставать мужчины, а я этого не могу.

Помешивая хлеб в кипящей воде, Мария продолжала:

— Из этого все... Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца, так просто, из милости... Потом я подросла, стала работать... Подруги мои уж лет одиннадцати начинали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. Потом и ко мне стали приставать мужчины, так что и проходу не стало. Я убежала, попробовала в другом месте — и там то же... Вот я совсем и ушла, стала прятаться — и сюда-то пробираюсь с опаской, чтобы кто не заприметил... Ну, однако, у нас ужин готов, давай есть.

Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает.

Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.

— Ты спи здесь,— сказала она,— а я пойду на твое вчерашнее место.

— Нет, я не могу согласиться,— возражал Антонио,— там холоднее, там сыро. Я прошу вас, лягте здесь же; клянусь вам — я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду..

Мария после долгих сомнений согласилась, и эту ночь они провели почти на одной постели.

На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Силы к нему возвращались. Он позволил себе выйти из убежища и блуждал вдоль берега. По реке сновали лодки и тащились баржи, выше по набережной мелькали носилки и пешеходы. Город кипел жизнью, но Антонио чувствовал, что он уже не принадлежит этой жизни, что он вступает в какой-то новый причудливый мир.

В этот вечер они долго заговорились с Марией. Антонио все не мог примириться с ее занятием.

— Зато как свободно,— говорила Мария,— бредешь, куда хочешь; если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле — а главное, никому не обязана.

— Как никому, а тем, которые подают вам?

— Что ж, они с тем и дают, чтобы господь бог им вдесятеро возвратил.

Мария много рассказывала о своей прошлой жизни, о своих немногих знакомых, о своих скромных мечтах. И в эту ночь они спали рядом, как брат и сестра.

Еще через два-три дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Надо было ему опять позаботиться о своем пропитании. Снова начались поиски работы и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Его мучила мысль о том, как этот ужин добыт. Однако Мария предлагала его столь простодушно, что Антонио не решился отказать. Впоследствии он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем.

Началась однообразная тихая жизнь, но полная какой-то странной прелести. Каждое утро и Антонио, и Мария выходили из своей норы. Мария шла в город, Антонио же за городской вал, на берег моря. Там он ложился на песок и целыми часами любовался на бег волн, отдаваясь своим грезам. В этих грезах все реже и реже мелькали пышные залы дворца и прежние друзья принца Антонио. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии.

С ней он встречался большею частью в сумерки. Она возвращалась в их общее жилище, принося с собой хлеб и немного овощей — дневное пропитание. Наступали часы общего разговора при свете углей под таганом. Передавались дневные впечатления, неудачи, смешные встречи. Звучал смех, и часы летели незаметно.

Иногда приходила к ним подруга Марии, Лора. Она была не старше Марии, тоже лет 16—17-ти, но лицо ее было накрашено, а волосы дерзко взбиты. Прежде она стыдилась Марии, но с тех пор, как под Старым мостом поселился Антонио, стала самоувереннее. Она считала его возлюбленным Марии. Мария не оспаривала этого предположения и весело шутила со своей подругой; Антонио же не любил, когда Лора нарушала их одиночество.

Праздниками для Антонио были те дни, когда Мария находила, что у них денег много и можно отдохнуть. Тогда они вместе шли за город, на берег моря или через поле в лес. Там, выбрав уголок поуютнее, они располагались с незатейливым завтраком. Сначала болтали и смеялись, потом оба довольствовались тем, что их руки соединены, волоса касаются — и эти часы молчания были счастливейшими часа-

ми. Случалось, что их заставала вечерняя роса, а Марии все не хотелось покинуть зеленый приют под вязом и снять свою головку с плеча Антонио.

Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу; в тесных объятиях они старались согреть коченеющие члены. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее.

А дни проходили, и небо стало более облачным. Солнце позже подымалось из-за леса и раньше закатывалось за океан. Марии поневоле приходилось больше оставаться с Антонио. Правда, через это случалось иной раз и голодать, но Антонио был счастлив, как ребенок.

Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался и ждал случая. Этот случай настал в поздний осенний день.

Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал вдали женскую тень. Антонио бросился навстречу.

Скоро он увидал, в чем дело. Высокий плечистый старик нищий <одной рукой> удерживал Марию, а другой наносил ей удары.

— Я говорил тебе,— твердил он,— не смей нам мешать. Хочешь просить, иди к нам, а отдельно не смей.

Мария извивалась в его руках. Вот ей удалось выскользнуть, и в руке у нее сверкнуло лезвие. Но Антонио был уже перед стариком. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов.

— Уйди, Тони, уйди,— упрашивала Мария,— я справлюсь с ним.

Антонио отстранил ее. В гордой уверенной позе он продолжал ждать. Нищий быстро поднялся; он приближался со злобой, уже сжав мощные кулаки; свет от фонаря под воротами дома падал на лицо Антонио. Нищий сделал еще несколько шагов, но уже медленнее, потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь.

Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.

— Мария! милая! — твердил он, лаская ее дрожащие руки,— как ты мне дорога! Как я люблю тебя. Я умер бы, если б с тобой что-нибудь случилось.

— Я тоже люблю тебя, очень люблю,— отвечала Мария и прижималась к нему с доверчивой лаской.

— Тогда мы счастливейшие люди на свете!

— Конечно, Тони, мы очень счастливы.

Антонио на минуту задумался.

— Теперь все решено,— заговорил он,— мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословлением на брак. Так ли, Мариэтта, невеста моя?

Но Мария отодвинулась от него — смущенно и печально.

— Что с тобой, дорогая? — спросил Антонио,— ведь мы любим друг друга? Возьмем же от любви все, что она может нам дать... Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, эта постель — ароматнейшим брачным ложем.

Мария плакала.

— Замолчи! замолчи! Ах, Тони! Неужели мы не были счастливы! Зачем ты — как все!

Антонио, увлекаемый страстью, целовал ее волосы; молил ее о любви, со всем исступлением желания клялся в неизменности своего чувства, упрекал и тоже плакал и сжимал Марию жгучими объятиями. С усилием она вырвалась от него и скользнула к выходу. Антонио вдруг понял, что она уйдет навсегда, и бросился за ней. Он охватил ее колени, он весь дрожал, голос его прерывался.

— Мария, куда ты! Неужели ты можешь уйти от меня?

— Мне страшно, Тони... Я вернусь потом, право, вернусь... но мне страшно с тобой, Тони.

Теперь Антонио клялся, что все будет по-старому, что это был порыв, о котором надо поскорее забыть. Его слова были так нежны, дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. Она опять плакала на плече Антонио и осталась с ним. Утомленные волнениями и слезами, они скоро заснули, сжимая друг друга в целомудренных объятиях.

На другой день Антонио и Мария проснулись под неожиданный колокольный гул. Все церкви города гудели. Мария пошла узнать, в чем дело, и вернулась с потрясающим известием: старик король скончался.

На Антонио эта новость произвела странное впечатление: словно весть из земного мира для духа, уже прервавшего земные оковы.

«Итак, отец умер,— думал Антонио,— на престоле Марко мой брат, мой личный враг».

Задумавшись, Антонио вмешался в толпу и незаметно зашел в людную половину города, куда попадал редко. Толпа теснилась к герольдам, возвещавшим новости из дворца. Антонио пробрался в первый ряд.

В это время по улице ехала маленькая кавалькада. Антонио узнал своего дядю, Онорио, с его свитой. Рядом с Онорио ехала молоденькая девушка. То была Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, но тотчас опомнился и хотел поспешно скрыться.

Онорио внезапно остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Толпа расступилась, и через минуту он уже настиг Антонио. Тот остановился, пораженный неожиданностью.

Онорио опустился на одно колено.

— Государь,— сказал он,— позвольте мне первому принести вам присягу в верности.

— Онорио! дядя! Что вы говорите! Вы губите себя самого,— воскликнул Антонио, совершенно потерявшись.

— Я знаю, что не ошибаюсь! — радостно промолвил Онорио и добавил, обращаясь к своей свите: — Трубите, вот ваш государь, Антонио III.

На рубище Антонио накинули пурпурную мантию, его посадили на коня и ввели в середину свиты.

Пока скакали ко дворцу, Онорио рассказывал важнейшие события последнего времени. Оказалось, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастие и было причиной смерти старого короля.

Между тем уже давно ходили слухи, что принц Антонио, в одежде нищего, скрывается в столице. Отец-король, давно забывший свой гнев, приказывал разыскать сына, но это никому не удавалось.

Через пять минут уже были во дворце. Придворные склонялись пред Антонио; весть о его возвращении уже разнеслась по городу, и народ кричал приветствия, толпясь под стенами дворца.

Как сновидение, исчезла недавняя жизнь в трущобах столицы, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Это было опьянение властью и лестью, в котором погас бледный образ молоденькой девушки, проводившей ночи под сводом Старого моста.

А дни проходили. Уже воцарилась зима и уже прошла, и повеяло весной. Пронесся первый шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь.

Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце Антонио. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало на троне, душа жаждала чего-то, искала — и вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями:

— Мария.

Была светлая весенняя ночь, когда кортеж из четырех человек, закутанных плащами, выехал из дворца. Всадники направлялись к Старому мосту. На последнем повороте трое остановились, а один поскакал дальше. Это был король. С факелом в руках он стал спускаться по откосу.

Вот знакомая арка — вот желтая ниша — факел скрылся в ней; его свет задрожал на каменных плитах. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио и бросилась ему на грудь.

— Тони, ты вернулся. О, мой дорогой, мой милый! Как мог ты меня покинуть, о, какие ужасные месяцы, как страшно быть одной!

Говоря, она обвивала его шею руками. Антонио молчал, всматриваясь в ее глаза. Но вот Мария поразилась его одеянием.

— Тони! ты стал богатым? и ты все-таки не забыл своей Мариэтты.

— Идем со мной,— промолвил Антонио.

— Но куда?

— Разве ты боишься?

— С тобой — ничего.

Антонио завернул ее в плащ и увлек за собой.

Четко раздавался топот коней по сонным улицам, гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.

— Тони, но ведь это дворец?

По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Теперь Антонио обратился к своим молчаливым спутникам.

— Сеньоры! за ваше молчание мне отвечает ваша честь. В награду за вашу услугу можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам: на всей земле нет девушки более достойной этого.

Трое приближенных короля нерешительно склонились перед Марией.

— Тони,— пролепетала она,— что это все?

— Вы были правы, Мария,— отвечал король,— это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствия. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой.

Мария хотела говорить, возражать, но король скрылся. Приходилось следовать за сеньором Джулио.

Нарядные прислужницы почтительно встретили Марию; видимо, они ожидали ее. Взволнованная последними событиями, Мария как бы потеряла свою собственную волю и предоставила себя их распоряжению. Она не замечала ни полунасмешливых взглядов, ни злобных намеков.

Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопала в кружевах, опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе, и с трепетом ожидала чего-то. Но ее ночной покой не был нарушен, и под утро она заснула тревожным сном.

Часто бывал у Марии Онорио. Она любила его посещения: с ним с одним решалась она говорить откровенно, ему одному поверяла она свои тревоги.

Онорио участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения. Впрочем, он рассказывал, как возбуждены против нее и народ и знать, как тяжело будет ей жить, если она действительно выйдет замуж за короля. Мария просила совета; но хитрый придворный выбрал более удобную минуту, чтобы привести в исполнение свои замыслы.

Однажды, когда короля не было у Марии, Онорио засиделся особенно долго. В этот день Мария сильнее, чем когда-

либо, чувствовала себя несчастной; ее страшило то, что она должна занять неподходящее ей место, и то, что вообще надо было решиться на такой шаг, как замужество. Мария говорила, что предпочла бы поступить в монастырь.

— Этого вам не дозволит государь,— сказал Онорио,— вы говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы... Но если все, что вы рассказывали, сказано искренно, позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте — почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому, что не видит другого пути добиться вашей благосклонности. Будьте к нему снисходительнее, страсть пройдет, и вы избавитесь от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно — этого не потерпит народ. Уступите же желаниям своего государя, вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо.

— Лучше бы умереть,— сказала Мария.

Она разрыдалась, но Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, она верила, что другого исхода нет. Ночью она долго молилась и, наконец, решила последовать совету Онорио.

Марии пришлось еще пережить все пытки пышного обеда. Наконец, к вечеру она осталась одна в своей спальне — бросившись на постель, она стала плакать.

Прибыл король, горевший нетерпением видеть Марию. Но даже оставшись с ним наедине, Мария чувствовала себя несвободной.

— Развеселись, Мариэтта,— говорил король,— забудь перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони.

— Я не могу, государь,— отвечала Мария.— Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю.

— Ты моя невеста, Мария!

— Государь, умоляю вас, не принуждайте меня к этому.

— Что за пустяки,— воскликнул король, целуя ее.— Я понимаю, что ты когда-то отказывалась. Но теперь совсем иное дело, наш брак благословит церковь и даже сам папа.

Мария грустно смотрела вдаль.

— Ах, государь,— промолвила она,— боюсь, что вы будете обвинять меня, что нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь... Я и так вас люблю...

— В самом деле? — сказал король, ближе и ближе привлекая к себе Марию,— сознаешься опять, что любишь меня. Ну, целуй же своего Тони, обними его, крепче, крепче.

Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась.

Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с Марией.

— Пусть сеньоры поступают как угодно,— говорил король,— через месяц — наша свадьба. Помни это, Мариэтта, жена моя.

Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. Когда Мария осталась одна, ею овладело бесконечное чувство стыда. Она закрывала глаза, ей хотелось незаметно умереть, перестать существовать.

В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Мария не слушала их намеки, но ей казалось невозможным жить после того, что произошло.

Среди своих приближенных Мария обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами. Воспользовавшись случаем, она отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать.

Слезы и мольбы тронули молодую девушку. Она достала Марии простую одежду и дала ей возможность выбраться из дворца. Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу.

Пробравшись к Старому мосту, Мария скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она только долго смотрела на темную нишу.

Потом Мария села на камне над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. С лодок окликали ее, над ней смеялись — она не слыхала.

Настал вечер, а затем ночь. Летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и Старый мост задремал.

Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова.

Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Марьэтты.

Когда осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио, народу были устроены особенно пышные празднества. Всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.





В ПОДЗЕМНОЙ ТЮРЬМЕ

ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ РУКОПИСИ НАЧАЛА XVI ВЕКА

I

Султан Магомет II Завоеватель, покоритель двух империй, четырнадцати королевств и двухсот городов, поклялся, что будет кормить своего коня овсом на алтаре святого Петра в Риме. Великий визирь султана, Ахмет-паша, переплыв с сильным войском через пролив, обложил город Отранто с суши и с моря и взял его приступом 26 июня, в год от воплощения Слова 1480. Победители не знали удержу своим неистовствам: пилой перепилили начальника войск, мессера Франческо Ларго, множество жителей из числа способных носить оружие перебили, архиепископа, священников и монахов подвергали всяческим унижениям в храмах, а благородных дам и девушек лишали насилием чести.

Дочь Франческо Ларго, красавицу Джулию, пожелал взять в свой гарем сам великий визирь. Но не согласилась гордая неаполитанка стать наложницей нехристя. Она встретила турка, при первом его посещении, такими оскорблениями, что он распалился против нее страшным гневом. Разумеется, Ахмет-паша мог бы силой одолеть сопротивление слабой девушки, но предпочел отомстить ей более жестоко и приказал бросить ее в городскую подземную тюрьму. В тюрьму эту неаполитанские правители бросали только отъявленных убийц и самых черных злодеев, которым хотели найти наказание злее смерти.

Джулию, связанную по рукам и ногам толстыми веревками, принесли к тюрьме в закрытых носилках, так как даже турки не могли не оказывать ей некоторого почета, подобавшего по ее рождению и положению. По узкой и грязной лестнице ее стащили в глубину тюрьмы и приковали железной цепью к стене. На Джулии осталось роскошное платье из лионского шелка, но все драгоценности, быв-

шие иа неи, сорвали: золотые кольца и браслеты, жемчужную диадему и алмазные серьги. Кто-то снял с нее и сафьянные восточные башмаки, так что Джулия оказалась босой.

Тюрьма была выкопаиа в земле, под главной башней городской стены. Два небольших окна, забранных толстой железной решеткой и приходнвшихся у самого потолка, лишь крайнею своею частью подымались над поверхностью земли. Они пропускалн лишь столько света, чтобы в тюрьме не стоял вечный мрак и чтобы прнвыкшие к темноте глаза заключенных могли разлнчать друг друга. В каменные стены были вделаны крепкие крюки с цепями и железиыми поясами. Эти пояса надевались на узииков и запирались наглухо замком.

В тюрьме было шестеро заключениых. Турки никого из них не захотели освободить, так как всегда любили соблюдать обычаи той страны, которую завоевали. Джулию приковали между старухой Ваноццой, осуждениой за колдовство и сношення с диаволом, и бледным юиошей Марко, брошенным сюда уже во время осады, за участие в заговоре против правнтеля города.

II

Джулия первые часы заключения лежала как мертвая. Она была потрясена всем происшедшим с ней н задыхалась в душном и смрадном воздухе тюрьмы. Она ждала с мннуты на минуту, что жизнь покинет ее.

Но узннки, которые еще нничего не знали о взятни города, наперерыв обсуждали все, что пришлось им увидеть. Сначала они долго спорили, почему в их яме появились турки. Потом сталн говорить о Джулии, разбирая ее внешность: лицо, одежду-н делая предположеиия, кто она и что привело ее в этот ад.

— Красивая девка,— сказал Лоренцо, старый разбойник, прикованный на противоположном от Джулии конце тюрьмы,— жаль, я далеко! Не плошай, Марко!

— Это — знатная птица, не нам чета!— сказала старуха Ваноцца.— Какое на ней платье-то! По золотому отдашь за локоть такой матерни.

— Голову бы я ей размозжил, будь поблнже,— сказал Кознмо нз своего темного угла,— она из тех, кто одевается в шелк, когда мы голодаем!

Мария-болящая, которая давно была почти одним скелетом н у которой прежний тюремщик каждый день спрашнвал, скоро лн она помрет, пожалела Джулню:

— Ох, трудно ей придется, с пуховых подушек да на голую землю, от княжеских яств да на хлеб, на воду!

А пророк Филиппо, беглый монах, сидевший в тюрьме более двадцати лет и весь обросший волосамн, угрожал страшным голосом:

— Прнблнзнлось, прнблнзилось время! Се предан мир

неверным, да попрут веселившихся и гордых, чтобы после возвеселились малые и убогие! Радуйтесь!

Только один Марко молчал. Впрочем, как заключенного недавно, узники еще не считали его вполне своим.

III

Понемногу Джулия пришла в себя. Но она не открывала глаз и не двигалась. Она слушала речи о себе и едва понимала слова. Потом совсем стемнело, и узники один за другим заснули Со всех сторон послышался громкий храп. Только тогда Джулия решилась плакать и рыдала до первого света.

Утром рано в тюрьму спустились новые тюремщики. То были двое турок: главный — постарше, и помощник его — помоложе. Они принялись, как то делали прежде их предшественники, убирать тюрьму. Помощник лопатой сгребал нечистоты, скопившиеся за день, а главный раскладывал перед узниками куски заплесневелого хлеба и наливал воды в глиняные кружки.

Узники сначала не решались промолвить ни слова, потом отважились расспрашивать, что случилось и почему их не выпустят на волю, если правители в городе сменились. Но турки не понимали по-итальянски.

Подойдя к Джулии, главный тюремщик соблазнился ее красотой и молодостью. Отложив в сторону мешок с хлебом он стал что-то говорить ей приветливо и хотел обнять ее. Но Джулия, забыв о своем положении, не вынесла такого оскорбления и ударила его по лицу.

Тогда турок пришел в ярость, схватил бывший с ним бич и стал жестоко хлестать ее. Потом тут же, под хохот и веселые вскрики всей тюрьмы, изнасиловал ее.

Так девственность красавицы Джулии Ларго, отказавшей в своей благосклонности великому визирю султана,— досталась простому турку, который никогда и в глаза не мог увидеть женщин из гарема паши

IV

Потекли дни тюремной жизни.

Джулия мало-помалу привыкла к страшной обстановке, к смрадному воздуху, к твердому хлебу, к ржавой воде. Привыкла переносить такое, о чем раньше не могла бы помыслить без крайнего стыда. Она безмолвно принимала ежедневные ласки тюремщика, а порой и его побои. Она решалась, как все другие узники, совершать на виду у всех, что между людьми принято скрывать.

Узники были прикованы на таком расстоянии, что лишь с трудом могли дотянуться друг до друга. Длина цепи позволяла им сидеть, но встать на ноги они не могли. Несмотря на то,

узники придумали себе целый ряд развлечений. Лоренцо и Козимо устроили кости и играли в них целые дни — на хлеб и воду; случалось, что проигравший дней по пяти оставался голодным. В игре часто принимала участие и Ваноцца. Козимо забавлялся еще тем, что бросал в сотоварищей землей и каменьями. Этим он всегда приводил в ярость Филиппо, который тогда рычал, как бык, и так рвался на цепи, что стены дрожали. В другие дни Филиппо усердно тесал около себя в стене Распятие. Бывало, что между узниками подымался длинный разговор, переходивший в жестокую ругань. А иногда несколько суток никто не хотел вымолвить слова: все лежали в своих углах, в злобе и отчаяньи.

Джулия оставалась одинокой среди заключенных. Она не отвечала на вопросы и словно не слышала брани, которой ее осыпали. Она никому не говорила, кто она, и это оставалось тайной для всех обитателей тюрьмы. Она проводила дни в молчаливых раздумиях, не плача, не жалуясь.

Только со своей соседкой, старухой Ваноццой, обменивалась она порой несколькими словами. Ваноцца, которая была в тюрьме уже много лет, дала Джулии несколько дельных советов. Указала ей, что надо время от времени садиться на корточки, чтобы ноги не затекали. Показала, как сделать, чтобы железный пояс не слишком тер тело. Посоветовала выплескивать под утро из кружки остатки воды, чтобы она не загнивала. Джулия не могла не признать пользы этих советов и из благодарности откликалась на голос Ваноццы.

Однажды Джулия нечаянно толкнула свою кружку и пролила всю воду. Водой узники особенно дорожили, потому что стояло лето и в тюрьме было очень жарко. Джулия томилась от жажды, но не показывала виду.

Марко, прикованный рядом, подвинул ей свою кружку.

— Ты хочешь пить,— сказал он,— прошу тебя, возьми мою воду.

Джулия посмотрела на Марко. Ей показались прекрасными его черные глаза и бледные щеки.

Она сказала:

— Благодарю тебя.

Ржавая вода была в тот день очень вкусной.

V

С этого дня Джулия стала разговаривать с Марко. Сначала их разговор был отрывочным. Понемногу они стали говорить все больше и больше. А еще после стали проводить в беседах целые дни.

Джулия рассказывала об убранстве и веселой жизни дворцов: о сводчатых галереях и мозаичных полах, о мебели из драгоценного дерева и люстрах из венецианского стекла, о садах с искусственными водопадами и фонтанами, о платьях, шитых золотом и жемчугами, о празднествах, торжественных

обедах, балах с танцами, маскарадах в садах, увешанных фонариками, с иллюминациями, и об увеселительных охотах в лесах; о театральных представлениях и об игре на спинете, цитре, флейте и лютне; рассказывала о произведениях искусства, о пряжках, браслетах, диадемах — работы лучших ювелиров, о тонких изящных медалях, о статуях древних и новых ваятелей, о дивных картинах великих новых художников, изображающих и события священной истории, и сцены из римских басен о богах, и картины из теперешней жизни; рассказывала все, что приходилось ей читать в книгах Филельфо, Понтано, Панорамито, Альберти и других современных писателей; повторяла новеллы Поджо и Боккаччо или декламировала стихи Петрарки.

Марко в ответ говорил о красивых раковинах, которые он собирал в море, о дивных пестрых рыбах, которые попадались в его сети, о крабах, ходящих боком, и безобразных тритонах; вспоминал о ночных ловлях при свете смоляных факелов, о тонких лодок, о лазурных гротах, о страшных бурях на море; описывал жизнь в Сицилии и Африке, в странах, где живут чернокожие люди, слоны и верблюды; передавал рассказы о странствиях морехода Синдбада, принявшего однажды спину морского чудовища за остров, побывавшего в странах, где есть люди без головы, охотившегося дальше Лунных гор за птицей Рохом; мечтал о морских сиренах, что по ночам играют на златострунных лирах и заманивают к себе молодых рыбаков, чтобы потопить их, о саламандрах, которые незримо таятся в воздухе кругом нас и могут быть видимы только в огне, проходя через который воспламеняются, о древних титанах, лежащих под Везувием и дышащих черным дымом, о жизни на солнце и на звездах, о говорящих цветах и о девушках с крыльями, как у бабочек.

Лишь об одном никогда не говорили Джулия и Марко: о своем настоящем и о своем будущем, о том, как шли дни в их тюрьме и что их ожидало.

Другие узники сначала насмехались, слушая их разговоры, а потом перестали обращать на них внимание.

VI

Узнав друг друга, Джулия и Марко стали опять стыдиться. И они вновь начали таить то, что люди скрывают от чужих глаз.

Однажды утром тюремщик еще раз обратил внимание на Джулию, хотя, истощенная голодом, отсутствием воздуха и болезнью, она уже вовсе не могла считаться особенно красивой. Турок сел около нее и, смеясь, хотел опять обнять ее, как делал это в первые дни ее заключения. Но Марко сзади схватил его за плечи, опрокинул наземь и едва не разбил ему голову своей цепью.

Подоспевший помощник легко, конечно, справился с юно-

шей, обессилевшим от долгого заключения. Оба турка повалили Марко и стали его хлестать нещадно бичом. Они били его поочередно, пока окончательно не опустились у них руки от усталости. Наконец, произнося угрозы и ругательства, они удалились, оставив Марко в луже крови.

Вся тюрьма безмолвствовала. Никто не знал, какие слова можно произнести.

Джулия, сколько позволяла ей цепь, приблизилась к Марко, омыла ему раны и намочила водой голову.

Марко открыл глаза и сказал:

— Я в раю.

Джулия поцеловала его в плечо, потому что не могла дотянуться до его губ, и сказала ему:

— Я люблю тебя, Марко. Ты — светлый.

Все думали, что турок на другой день убьет Марко. Но почему-то наутро пришли убирать тюрьму два новых тюремщика: оба угрюмых и не обращавших никакого внимания на узников. Побоялись ли старые мести или их сменили, это осталось в тюрьме тайной.

VII

Марко прохворал несколько недель, и Джулия ухаживала за ним, как могла. А когда Марко оправился, захворала Джулия.

Раз, вечером, она начала громко стонать, потому что не могла преодолеть боли. Старуха Ваноцца поняла, в чем дело, и велела ей подвинуться ближе.

К утру у Джулии родился мертвый ребенок.

— Жаль, что мертвый,— сказал Лоренцо,— славный был бы головорез! Редко кому выпадает такая удача: в тюрьме родиться.

Козимо обругал Ваноццу, зачем она помогала Джулии.

— Небось она женщина,— сказала в ответ Мария-болящая.

Утром пришли тюремщики-турки, сгребли маленький некрещеный трупик вместе с нечистотами и унесли куда-то.

VIII

Несколько дней спустя Джулия сказала Марко, ночью, когда все спали:

— Марко! Ты должен презирать меня. Я — погибшая. Ты — первый, кого полюбила я. И я не могу отдать тебе чистоты своего тела. Меня, против моей воли, загрязнили. Я недостойна тебя, хотя и не согрешила пред тобой. Ах, если бы я встретила тебя в былые дни, и ты бы первый увидел мою грудь, на которую не смотрел ни один мужчина! Тогда не было бы ласк, которых я не нашла бы в своем существе и которых не

расточила бы тебе со всей щедростью любви и страсти! Но теперь оставь меня, Марко, и не позволяй себе думать обо мне, как о женщине. Если мне невозможно принести тебе, как приданое, ту единственную истинную драгоценность, какой может владеть девушка: честное имя,— я не хочу, чтобы ты стыдился своего выбора. Я буду любить тебя вечно, но ты не должен любить меня. Пока праведный гнев господень держит нас в этом аду, позволь мне иногда смотреть тебе в лицо, чтобы я могла преодолевать искушение смертного греха — самоубийства. Когда же заступничество Пречистой Девы Марии возвратит нам свободу, вспомнинай хотя изредка о той душе, для которой ты навсегда останешься сиянием. А я в келье монастырской не устану воссылать молитвы и за тебя.

Но Марко отвечал ей:

— Джулия! Ты — светлый ангел надо мной. Я никогда не видел, ни наяву, ни в грезах, ничего прекраснее, чем твой образ. Ты заставила меня вновь поверить в милосердого бога и его благоуханый рай. Если там, среди высоких лилий, такие, как ты,— стоит терпеть мучения на этой земле. Мысль о тебе ослепляет меня синим огнем, как молния. Когда руки твои касаются меня, я дрожу: это — уголь, горящий, но сладостный. Твой голос — как свирель на росистом лугу или как роптание чуть пенистой волны около каменистого побережья. Целовать то место на земле, которого ты касалась, высший из моих помыслов. Ты непорочна, ты безгрешна по существу; грех ниже тебя, и ты всегда над ним, как хрустальное небо всегда над облаками. Госпожа моя, не лишай меня радуги взоров твоих!

Тогда Джулия стала на колени и сказала ему:

— Марко! возлюбленный мой! возьмешь ли ты меня как свою жену?

Тогда Марко стал на колени и сказал ей:

— Девушка! Пред лицом господа бога, видящего все, беру тебя как свою жену, обручаюсь с тобой и сочетаюсь союзом, который человек нарушить не властен.

Так сочетались они браком, ночью, когда все спали, стоя на коленях друг перед другом.

IX

Христианские государи не могли, конечно, терпеть спокойно, что неверные утверждаются в стране, где постоянно пребывает наместник Христа. Альфонс, герцог Калабрийский, сын тогдашнего короля Неаполитанского, собрал сильное войско, чтобы изгнать турок из Италии и возвратить Неаполю город Отранто. Папа Сикст IV, перечеканив в монету свою посуду и много церковной утвари, снарядил на помощь Альфонсу пятнадцать галер. Также послали вспомогательные отряды арагонцы и венгры.

Мужество и доблесть христиан сломили упорство невер-

2*

ных, которые к тому же пали духом, прослышав о смерти султана Магомета, который покончил свою неистовую жизнь в мае месяце, в год 1481. Мусульмане бежали из Италии, и неаполитанцы заняли вновь достославный город Отранто.

Среди военачальников христианского войска находился брат несчастного Фернандо Ларго — Пиетро, и он поспешил разыскать свою племянницу. Джулию вывели из подземной тюрьмы. Она не могла стоять на ослабших ногах, и свет солнца слепил ее невыносимо. Те же, кто видел ее худобу и бледность, не могли удержаться от слез. Ловкие служанки омыли ее в ароматной купальне, расчесали ей волосы, облекли ее в легкие, нежные ткани.

Джулия была как безумная и едва могла отвечать на вопросы. На другой день после освобождения с ней сделался приступ болезни, и она несколько недель была близка к смерти. В бреду представлялось ей, что она уже умерла и осуждена на вечные мучения в преисподней и что дьяволы всячески терзают и позорят ее тело. Она не узнавала никого из родных, и все приближавшиеся к ней внушали ей ужас и отвращение.

Когда понемногу, благодаря искусству врачей и заботам родственников, она стала поправляться, все прошлое, весь страшный год, проведенный в подземной тюрьме, стал ей казаться одним из видений ее горячечного бреда. При ней никто не решался говорить о месяцах ее плена, и она сама старалась не возвращаться к ним даже в мыслях.

X

Выздоровев совершенно, Джулия переехала в Неаполь и поселилась у одного из своих дядей. Ныне уже покойный, король Фернандо, в память мученической смерти ее отца при исполнении своего долга, пожаловал ей годовое содержание в 1000 дукатов. Кроме того, ей перешли, в полное обладание, замки и земли ее отца. Красота Джулии расцвела с такой пышностью, как никогда прежде. Все дивились ей на придворных празднествах, а так как она была невестой богатой, то и не было недостатка в искателях ее руки из числа молодых людей наиболее достойных и благородных.

Однажды Джулия со служанками проходила по набережной, там, где воздвигнуты новые замечательные здания Неаполя. Внезапно, среди небольшой кучки рыбаков, стоявших у лодки, она признала Марко. Он был одет как моряк, в куртку с позументами и красный колпак.

Джулии вдруг стало печально и томительно, словно злой волшебник пригрозил ей своим магическим жезлом. Она хотела сделать вид, что не заметила Марко, но было ясно, что он ее видел и узнал. Тогда Джулия послала к Марко одну из служанок, чтобы приказать ему прийти к ней сегодня вечером. Видно было, как Марко усмехнулся и кивнул головой в знак согласия.

Весь тот день Джулия не знала покоя. Вечером пришел Марко, молодой, свежий, окрепший, смелый. Джулия приняла его в своей комнате. С ней была ее подруга, монна Лукреция, и две близких служанки. На Джулии было шитое золотом бархатное платье с прорезными рукавами, на шее жемчужное ожерелье и на лбу алмазная фероньерка. Она сидела в высоком кресле флорентийской работы.

Марко поклонился почтительно, как подобало простому рыбаку перед знатной синьорой.

Некоторое время Джулия не знала, как говорить с ним; потом спросила:

— Скажи мне, друг, чем ты занимаешься?

Марко поднял на нее черные глаза, опять усмехнулся так же, как утром на пристани, и ответил:

— Я, синьора, рыбак, промышляю рыбой, а иногда вожу товары из Отранто в Неаполь.

— И ты доволен своим положением?— спросила Джулия.

— Мне большего не надо, чтобы жить и любоваться золотым солнцем и голубыми волнами,— отвечал Марко, и голос его зазвенел так нежно, как в часы их длинных разговоров в темнице.

Но Джулия уже овладела своим сердцем и сказала:

— Я прикажу дать тебе на мой счет новую барку, чтобы ты мог начать собственную торговлю.

Марко наклонил голову.

— Благодарю вас, синьора, я не хочу вас обидеть отказом. Позвольте только мне в память о вас назвать эту барку вашим именем.

После этих слов Марко опять вежливо поклонился и попросил позволения удалиться. Когда же он вышел, Джулия сказала монне Лукреции:

— Я знаю, что этот человек участвовал в заговоре против моего отца. Но так как он, подобно мне, пережил взятие нашего города, то я не могу быть к нему строгой. Я действительно прикажу снарядить для него барку, но попрошу, чтобы ему запретили появляться в Неаполе. Пусть ведет свои дела где-нибудь у Тарента.





ТЕПЕРЬ, КОГДА Я ПРОСНУЛСЯ...

ЗАПИСКИ ПСИХОПАТА

Конечно, меня с детства считали извращенным. Конечно, меня уверяли, что моих чувств не разделяет никто. И я привык лгать перед людьми. Привык говорить избитые речи о сострадании и о любви, о счастии любить других. Но в тайне души я был убежден, и убежден даже и теперь, что по своей природе человек преступен. Мне кажется, что среди всех ощущений, которые называют наслаждениями, есть только одно, достойное такого названия,— то, которое овладевает человеком при созерцании страданий другого. Я полагаю, что человек в своем первобытном состоянии может жаждать лишь одного — мучить себе подобных. Наша культура наложила свою узду на это естественное побуждение. Века рабства довели человеческую душу до веры, что чужие мучения тягостны ей. И ныне люди вполне искренно плачут о других и сострадают им. Но это лишь мираж и обман чувств.

Можно составить такую смесь из воды и спирта, что прованское масло в ней будет в равновесии при всяком положении, не всплывая и не погружаясь. Иначе говоря, на него перестанет действовать притяжение земли. В учебниках физики говорится, что тогда, повинуясь лишь стремлению, присущему его частицам, масло соберется в форму шара. Подобно этому бывают мгновения, когда человеческая душа освобождается от власти ее тяготения, от всех цепей, наложенных на нее наследственностью и воспитанием, от всех внешних влияний, обычно обусловливающих нашу волю: от страха перед судом, от боязни общественного мнения и т. д. В эти мгновения наши желания и поступки подчиняются лишь первобытным, естественным влечениям нашего существа.

Это не часы обычного сна, когда дневное сознание, хотя и померкнув, еще продолжает руководить нашим сонным «я»;

это и не дни безумия, умопомешательства: тогда на смену обычным влияниям приходят другие, еще более самовластные. Это — мгновения того странного состояния, когда наше тело покоится во сне, а мысль, зная то, тайно объявляет нашему призраку, блуждающему в мире грез: ты свободен! Поняв, что наши поступки будут существовать лишь для нас самих, что они останутся неведомыми для всего мира, мы вольно отдаемся самобытным, из темных глубин волн исходящим, побуждениям. И в такие мгновения, у меня по крайней мере, никогда не являлось желания совершить какое-либо деяние добродетели. Напротив, зная, что я останусь совершенно, до последних пределов безнаказанным, я спешил сделать что-нибудь дикое, злое и греховное.

Я всегда считал и продолжаю считать сон равноправным нашей жизни наяву. Что такое наша явь? Это — наши впечатления, наши чувства, наши желания, ничего больше. Все это есть и во сне. Сон столь же наполняет душу, как явь, столь же нас волнует, радует, печалит. Поступки, совершаемые нами во сне, оставляют в нашем духовном существе такой же след, как совершаемые наяву. В конце концов вся разница между явью и сном лишь в том, что сонная жизнь у каждого человека своя собственная, отдельная, а явь — для всех одна и та же или считается одинаковой... Из этого следует, что для каждого отдельного человека сон — вторая действительность. Какую из двух действительностей, сон или явь, предпочесть, зависит от личной склонности.

Мне с детства сон нравился больше яви. Я не только не считал потерянным время, проведенное во сне, но, напротив, жалел часов, отнятых у сна для жизни наяву. Но, конечно, во сне я искал жизни, т. е. сновидений. Еще мальчиком я привык считать ночь без сновидений тяжелым лишением. Если мне случалось проснуться, не помня своего сна, я чувствовал себя несчастным. Тогда весь день, дома и в школе, я мучительно напрягал память, пока в ее глухом углу не находил осколка позабытых картин и, при новом усилии, вдруг не обретал всей яркости недавней сонной жизни. Я жадно углублялся в этот воскресший мир и восстанавливал все его малейшие подробности. Таким воспитанием своей памяти я достиг того, что уже не забывал своих сновидений никогда. Я ждал ночи и сна, как часа желанного свидания.

Особенно я любил кошмары за потрясающую силу их впечатлений. Я развил в себе способность вызывать их искусственно. Стоило мне только уснуть, положив голову ниже, чем тело, чтобы кошмар почти тотчас сдавливал меня своими сладко-мучительными когтями. Я просыпался от невыразимого томления, задыхаясь, но едва вдохнув свежего воздуха, спешил опять упасть туда, на черное дно, в ужас и содрогание. Чудовищные лики выступали вокруг из мглы, обезьяноподобные дьяволы вступали в бой между собой и вдруг с воплем кидались на меня, опрокидывали, душили; в висках стучало, было больно и страшно, но так несказанно, что я был счастлив.

Но еще более любил я, с ранних лет, те состояния во сне, когда знаешь, что спишь. Я тогда же постиг, какую великую свободу духа дают они. Их я не умел вызывать по воле. Во сне я вдруг словно получал электрический удар и сразу узнавал, что мир теперь в моей власти. Я шел тогда по дорогам сна, по его дворцам и долинам, куда хотел. При усилии воли, я мог увидеть себя в той обстановке, какая мне нравилась, мог ввести в свой сон всех, о ком мечтал. В первом детстве я пользовался этими мгновениями, чтобы дурачиться над людьми, проделывать всевозможные шалости. Но с годами я перешел к иным, более заветным радостям: я насиловал женщин, я совершал убийства и стал палачом. И только тогда я узнал, что восторг и упоение — не пустые слова.

Проходили года. Миновали дни ученичества и подчиненности. Я был один, у меня не было семьи, мне не приходилось трудом добиваться права дышать. Я имел возможность отдаваться безраздельно своему счастию. Я проводил во сне и дремоте большую часть суток. Я пользовался разными наркотическими средствами: не ради именно ими сулимых наслаждений, но чтобы продолжить и углубить сон. Опытность и привычка давали мне возможность все чаще и чаще упиваться безусловнейшей из свобод, о которой только смеет мечтать человек. Постепенное мое ночное сознание в этих снах, по силе и ясности, приблизилось к дневному и, пожалуй, даже стало превосходить его. Я умел и жить в своих грезах, и созерцать эту жизнь со стороны. Я как бы наблюдал свой призрак, совершающий во сне то или другое, руководил им и в то же время переживал со всей страстностью все его ощущения.

Я создал себе наиболее подходящую обстановку для своих сновидений. То был обширный зал где-то глубоко под землей. Он был освещен красным огнем двух огромных печей. Стены, по-видимому, были железные. Пол каменный. Там были все обычные принадлежности пыток: дыба, кол, сидения с гвоздями, снаряды для вытягивания мускулов и для выматывания кишок, ножи, щипцы, бичи, пилы, раскаленные брусья и грабли. Когда счастливая судьба давала мне мою свободу, я почти всегда устремлялся тотчас в свое таинственное убежище. Усиленным напряжением желания я вводил в этот подземный покой кого хотел, иногда знакомых мне лиц, чаще — рожденных в воображении, обыкновенно девушек и юношей, беременных женщин, детей. Я тешился ими, как самый мощный из деспотов земли.

С течением времени у меня возникли любимые типы жертв. Я знал их по именам. В одних меня прельщала красота их тела, в других — их мужество в перенесении величайших мучений, их презрение ко всем моим ухищрениям, в третьих, напротив,— их слабость, их безволие, их стоны и напрасные мольбы. Иногда, и даже нередко, я заставлял воскресить уже замученных мною, чтобы еще раз насладиться их страдальческой смертью. Сначала я был один и палачом и зрителем. Потом я создал себе, как помощников, свору безобраз-

ных карликов. Чнсло их возрастало по моему желаиию. Оин подавалн мие орудня пыткн, оин нсполняли мон указания, хохоча и кривляясь. Средн ннх я праздиовал свои оргии кровн н огня, крнков н проклятий.

Вероятио, я остался бы безумным, одинокнм и счастлнвым. Но немногие бывшие у меия друзья, находя меия больиым и блнзким к помешательству, захотели меия спасти. Почтн силой они заставляли меия выезжать, бывать в театрах н в обществе. Я подозреваю, что оии с умыслом постарались представнть в самом прнвлекательном для меня свете девушку, которая затем стала моей женой. Впрочем, вряд лн иашелся бы человек, который не счел ее достойной поклонеиия. Все очарования жеищнны и человека соедннялнсь в той, кого я полюбнл, кого так часто называл своей н кого не перестану оплакнвать во• все остающнеся дин жизни. А ей показали меня как страдальца, как несчастного, которого надо спасти. Оиа начала с любопытства н перешла к самой полиой, к самой самозабвеииой страстн.

Долгое время я не решался и задумываться о женнтьбе. Как нн властио было чувство, впервые поработившее мою душу, но меня ужасала мысль — потерять свое одиночество, позволявшее мне на свободе упнваться вндениями снов. Однако правильная жизнь, к которой меня прииудили, постепенно затемнила мое сознаине. Я искренно поверил, что с моей душой может свершиться какое-то преображеиие, что оиа может отречься от своей, людьми ие признаиной, правды. Мон друзья поздравлялн меня в день свадьбы, как вышедшего нз гроба к солнцу. После брачного путешествия мы с женой поселнлнсь в новом, светлом н веселом доме. Я убедил себя, что меия интересуют событня мнра и городские новости; я читал газеты, поддерживал зиакомства. Я опять научнлся бодрствовать днем. Ночью, после исступленных ласк двух любовннков, меня обычно постигал мертвый, плоскнй сон без далей, без образов. В кратком ослеплеинн я готов был радоваться своему выздоровленню, своему воскресению из безумня в повседиевность.

Но, конечно, ннкогда, о инкогда! ие умнрало во мне совсем желание иных упоений. Оно было только заглушено слншком осязательной действнтельностью. И в медовые дни первого месяца после свадьбы я чувствовал где-то в тайннках душн ненасыщенную жажду более ослепительных н более потрясающих впечатленнй. С каждой новой неделей эта жажда мучнла меня все неотступней. И рядом с ней вырастало другое неотступное желанне, в котором сначала я не решался прнзнаться самому себе: желанне прнвестн ее, мою жену, которую я любнл, на мое ночиое пнршество и увидеть ее лнцо искаженным от терзаний ее тела. Я боролся, я долго боролся, стараясь сохраинть трезвость. Я убеждал себя всеми доводамн рассудка, но не мог сам в ннх поверить. Напрасио я искал рассеяння, не давал себе оставаться иаедние — искушеиие было во мне, от иего уйтн было некуда.

И наконец, я уступил. Я сделал вид, что предпринял большой труд по истории религий. Я поставил в своей библиотеке широкие диваны и стал запираться там на ночь. Немного позже стал проводить там и целые дни. Я всячески скрывал свою тайну от жены; я дрожал, чтобы она не проникла в то, что я хранил так ревниво. Мне она была дорога, как прежде. Ее ласки услаждали меня не меньше, чем в первые дни нашей общей жизни. Но меня влекло более властное сладострастие. Я не мог объяснить ей своего поведения. Я предпочитал даже, чтобы она думала, что я разлюбил ее и избегаю общения с ней. И она действительно так думала, томилась и изнемогала. Я видел, что она бледнеет и чахнет, что скорбь поведет ее к могиле. Но если, поддавшись порыву, я говорил ей обычные слова любви, она оживала лишь на мгновение: она не могла поверить мне, потому что мои поступки, как казалось, слишком противоречили моим словам.

Но хотя я и проводил во сне, как прежде, почти целые сутки, отдаваясь своим видениям еще безраздельнее, чем до свадьбы,— я почему-то утратил былую способность обретать свою полную свободу. Целые недели я оставался на своих диванах, просыпался лишь затем, чтобы немного подкрепиться вином или бульоном, чтобы принять новую дозу усыпляющего,— но желанный миг не наступал. Я переживал сладкие мучения кошмара, его пышность и беспощадность, я мог вспоминать и нанизывать вереницы многообразных снов, то последовательных и страшных именно этой торжествующей последовательностью, то дико бессвязных, восхитительных и великолепных безумием своих сочетаний,— но мое сознание продолжало оставаться подернутым какой-то дымкой. Я не имел власти распоряжаться сном, я должен был выслушивать и созерцать, что давалось мне откуда-то извне, кем-то.

Я прибегал ко всем известным мне приемам и средствам: искусственно нарушал кровообращение, гипнотизировал сам себя, пользовался и морфием, и гашишем, и всеми другими усыпляющими ядами, но они мне давали только их собственные чары. После возбуждения, вызванного демоном индийского мака, наступало сладостное изнеможение, бессильная зыбь сонной ладьи на неизмеримом океане, рождающем из своих волн все новые видения,— но эти образы не повиновались моим заклятиям. Очнувшись, я с бешенством вспоминал длинные смены картин, проходивших предо мной, соблазнительных и увлекающих, но подсказанных не моей прихотью и исчезнувших не по моей воле. Я изнемогал от ярости и от желания, но был бессилен.

Помнится, прошло более шести месяцев, считая от того времени, когда я вернулся к прерванному было упоению грезами, до того дня, когда мое самое заветное счастие было возвращено мне. Во сне я вдруг почувствовал хорошо мне знакомый электрический удар и вдруг понял, что я опять свободен, что я сплю, но властен распоряжаться сном, что я могу совершить все, что пожелаю, и это все останется лишь сном! Вол-

иа несказанного восторга залнла мне душу. Я ие мог воспротнвиться давнему нскушенню: монм первым двнжением было — тотчас найти мою жену. Но я не пожелал своего подземного покоя. Я предпочел оказаться в той обстановке, к которой она прнвыкла н которую она устранвала сама. Это было более утонченное наслаждение. И сейчас же, свонм вторым сонным сознаннем, я увндел самого себя стоящим за дверями моей бнблнотекн.

«Пойдем,— сказал я своему призраку,— пойдем, о н а спит сейчас, и захвати с собой тонкнй кинжал, ручка которого отделана слоновой костью».

Повнннуясь, я пошел знакомым путем по неосвещенным комнатам. Мне казалось, что я не нду, передвнгая ноги, а лечу, как то всегда бывает во сне. Проходя через залу, я увидел, в окна, крыши города и подумал: «Все это в моей властн». Ночь была безлунная, но небо блнстало звездами. Из-под кресел высунулись было мои карлики, но я сделал нм знак нсчезнуть. Я беззвучно прноткрыл дверь спальни. Лампадка достаточно освещала комнату. Я подступнл к кровати, где спала жена. Она лежала как-то бессильно, маленькая н худенькая; ее волосы, заплетенные на ночь в две косы, свнсали с постелн. У подушки лежал платок: она плакала, ложась, плакала о том, что опять не дождалась меня к себе. Какое-то скорбное чувство сжало мне сердце. В это мгновение я готов был поверить в сострадание. У меня мелькнуло желанне упасть на колени перед ее постелью и целовать ее озябшие ноги. Но тотчас я напомнил себе, что это все во сне.

Уднвнтельно странное чувство томнло меня. Я мог, наконец, осуществнть свою тайную мечту, сделать с этой женщнной все, что хочу. И все это должно было остаться известным лншь мне одному. А наяву я мог окружить ее всем восторгом ласк, утешнть ее, любнть н лелеять... Нагнувшнсь над телом жены, я сильной рукой сжал ее горло, так что она не могла крнкнуть. Она проснулась сразу, открыла глаза н вся заметалась под моей рукой. Но я словно прнгвоздил ее к постелн, и она нзвивалась, пытаясь оттолкнуть меня, порываясь что-то сказать мне, глядя на меня обезумевшнмн глазамн. Несколько мгновенн́й я всматривался в синюю глубнну этнх глаз, исполненный несказанного волнення, потом сразу ударнл эту женщину свонм кинжалом в бок, под одеяло.

Я видел, как она вся вздрогнула, вытянулась, все еще не могла крикнуть, но глаза ее наполннлись слезами боли и отчаянья, и слезы покатилнсь по ее щекам. А по моей руке, державшей кинжал, потекла липкая н тепловатая кровь. Я стал медленно наноснть удары, сорвал одеяло с лежавшей н колол ее, обнаженную, порывавшуюся закрыться, встать, ползти. О, как было сладостно н как страшно лезвеём разрезать упругие выпуклости тела, н все его, краснвое, нежное, любнмое, оплетать алымн лентами ран н кровн! Наконец, схватив жену за голову, я воткнул кинжал ей в шею, насквозь, позадн сонной артерни, напряг все свои силы и перервал горло. Кровь

заклокотала, потому что умирающая пыталась дышать; руки ее неопределенно хотели что-то схватить или смахнуть. Еще потом она осталась неподвижной.

Тогда такое потрясающее отчаяние охватило мою душу, что я тотчас рванулся, чтобы проснуться, и не мог. Я делал все усилия воли, ожидая, что стены этой спальни распадутся вдруг, уйдут и растают, что я увижу себя на своем диване в библиотеке. Но кошмар не проходил. Окровавленное и обезображенное тело жены было предо мною на постели, облитой кровью. А в дверях уже толпились со свечами люди, которые бросились сюда, услышав шум борьбы, и лица которых были искажены ужасом. Они не говорили ни слова, но все смотрели на меня, и я их видел.

Тогда вдруг я понял, что этот раз все, что свершилось, было не во сне.





В ЗЕРКАЛЕ

ИЗ АРХИВА ПСИХИАТРА

Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубь. Моей любимой игрой в детстве было — ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения. Уже девочкой я начала всю свою комнату уставлять зеркалами, большими и маленькими, верными и чуть-чуть искажающими, отчетливыми и несколько туманными. Я привыкла целые часы, целые дни проводить среди перекрещивающихся миров, входящих один в другой, колеблющихся, исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эха, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Эта вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла, почему-то недоступная осязанию, влекла меня к себе, притягивала, как бездна, как тайна.

Меня влек к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удваивавший мое существо. Я старалась разгадать, чем та, другая женщина отличается от меня, как может быть, что моя правая рука у нее левая, и что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном их них — мое обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась вникнуть в эту загадку, разрешить ее. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я, действительная; в том, отраженном мире, который можно только созерцать, была она, призрачная. Она была почти как я, и совсем не я; она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что

делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка.

Но я заметила, что у каждого зеркала есть свой отдельный мир, особенный. Поставьте на одно и то же место, одно за другим, два зеркала — и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные, все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности. В круглом будуарном — таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласк, бесстыдная, свободная, красивая, смелая. В четыреугольной зеркальной дверце шкапа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знала еще другие мои двойники — в моем трюмо, в складном золоченом триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих, во многих, хранившихся у меня. Всем существам, таящимся в них, я давала предлог и возможность проявиться. По странным условиям их мира, они должны были принимать образ того, кто становился перед стеклом, но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты.

Были миры зеркал, которые я любила; были — которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойники втайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже за одно то, что принуждены облекаться в мой, ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела, прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, над бессильной яростью которых любила смеяться, которых дразнила своей самостоятельностью и мучила своей властью над ними. Были, напротив, и такие, которых я боялась, которые были слишком сильны и осмеливались в свой черед смеяться надо мной, приказывали мне. От зеркал, где жили эти женщины, я спешила освободиться; в такие зеркала не смотрелась, прятала их, отдавала, даже разбивала. Но после каждого разбитого зеркала я не могла не рыдать целыми днями, сознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно из осколков.

Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью, на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо на аукционе, женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня,— купила трюмо и велела поставить его у себя в будуаре. Оставшись в своей комнате одна, я тотчас подступила к новому зеркалу и вперила

глаза в свою соперннцу. Но она сделала то же, н, стоя друг против друга, мы стали проинзывать одна другую взглядом, как змен. В ее зрачках отражалась я, в монх — она. У меня замерло сердце и закружнлась голова от этого прнстального взгляда. Но уснлием волн я, иаконец, оторвала глаза от чужнх глаз, ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, жалостно колыхая призрак моей сопериицы, н вышла из комнаты.

С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день иашей встречн, я не осмелилась приблизиться к новому трюмо, была с мужем в театре, преувеличенно смеялась н казалась веселой. На другой день, прн ясиом свете сентябрьского дня, я смело вошла в свой будуар одна и нарочно села прямо против зеркала. В то же мгиовеиие та, другая, тоже вошла в дверь, идя мне навстречу, перешла комнату н тоже села против меня. Глаза иаши встретилнсь. Я в ее глазах прочла ненависть ко мне, она в моих — к ией. Начался иаш второй поедниок, поединок глаз, двух неотступиых взоров, повелевающнх, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая нз иас старалась завладеть волей соперинцы, сломить ее сопротнвленне, заставить ее подчнняться своим хотеииям. И страшно было бы со стороиы увидеть двух женщин, неподвнжно сидящнх друг против друга, связанных магнческим влнянием взора, почти теряющих созиаиие от психического напряжеиия... Вдруг меня позвали. Обаяние исчезло. Я встала, вышла.

После того поединки сталн возобновляться каждый день. Я поняла, что эта авантюрнстка нарочно вторглась в мой дом, чтобы погубить меня н заиять в иашем мнре мое место. Но отказаться от борьбы у меня недоставало снл. В этом сопернnчестве было какое-то скрытое упоеине. В самой возможиостн пораження таился какой-то сладкнй соблазн. Иногда я заставляла себя по целым дням не подходнть к трюмо, заиимала себя деламн, развлечениямн,— но в глубине моей душн всегда таилась память о сопернице, которая терпеливо и самоувереиио ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, н оиа выступала передо мной, более торжествующая, чем прежде, проинзывала меня победиым взором н приковывала меня к месту перед собой. Мое сердце останавливалось, и я, с бесснльной яростью, чувствовала себя во властн этого взора...

Так проходили дни н иеделн; иаша борьба длилась; но перевес все определеннее сказывался на стороие моей соперницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчииена ее воле, что она уже снльиее меня. Меия охватил ужас. Первым моим двнжением было — убежать нз моего дома, уехать в другой город; но тотчас я увндела, что то было бы бесполезио: покорная прнтягательной снле вражеской воли, я все равно вернулась бы сюда, в эту комнату, к своему зеркалу. Тогда явилась вторая мысль — разбнть зеркало, обратить мою соперницу в ннчто; но победить ее грубым насилнем значнло прнзиать ее превосходство над собой: это было бы унизнтельно.

Я предпочла остаться, чтобы довести начатую борьбу до конца, хотя бы мне и грозило поражение.

Скоро уже не было сомнений, что моя соперница торжествует. С каждой встречей все больше и больше власти надо мной сосредоточивалось в ее взгляде. Понемногу я утратила возможность за день не подойти ни разу к моему зеркалу. Она приказывала мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов. Она управляла моей волей, как магнетизер волей сомнамбулы. Она распоряжалась моей жизнью, как госпожа жизнью рабы. Я стала исполнять то, что она требовала, я стала автоматом ее молчаливых повелений. Я знала, что она обдуманно, осторожно, но неизбежным путем ведет меня к гибели, и уже не сопротивлялась. Я разгадала ее тайный план: вбросить меня в мир зеркала, а самой выйти из него в наш мир,— но у меня не было сил помешать ей. Мой муж, мои родные, видя, что я провожу целые часы, целые дни и целые ночи перед зеркалом, считали меня помешавшейся, хотели лечить меня. А я не смела открыть им истины, мне было запрещено рассказать им всю страшную правду, весь ужас, к которому я шла.

Днем гибели оказался один из декабрьских дней, перед праздниками. Помню все ясно, все подробно, все отчетливо: ничего не спуталось в моих воспоминаниях. Я, по обыкновению, ушла в свой будуар рано, в самом начале зимних сумерек. Я поставила перед зеркалом мягкое кресло без спинки, села и отдалась ей. Она без замедления явилась на зов, тоже поставила кресло, тоже села и стала смотреть на меня. Темные предчувствия томили мою душу, но я не властна была опустить свое лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы. Проходили часы, налегали тени. Никто из нас двух не зажег огня. Стекло слабо блестело в темноте. Изображения были уже едва видимы, но самоуверенные глаза смотрели с прежней силой. Я не чувствовала злобы или ужаса, как в другие дни, но только неутолимую тоску и горечь сознания, что я во власти другого. Время плыло, и я уплывала с ним в бесконечность, в черный простор бессилия и безволия.

Вдруг она, та, отраженная,— встала с кресла. Я вся задрожала от оскорбления. Но что-то непобедимое, что-то принуждавшее меня извне заставило встать и меня. Женщина в зеркале сделала шаг вперед. Я тоже. Женщина в зеркале простерла руки. Я тоже. Смотря все прямо на меня гипнотизирующими и повелительными глазами, она все подвигалась вперед, а я шла ей навстречу. И странно: при всем ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаенная радость — войти, наконец, в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. Мгновениями я почти не знала, кто кого влечет к себе: она меня, или я ее, она ли жаждет моего места, или я задумала всю эту борьбу, чтобы заместить ее.

Но когда, подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стек-

ла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем,— и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла предо мной и хохотала. А я — о жестокость!— я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже, повторяя все ее гримасы, торжествующим и радостным смехом. И не успела я еще осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям, исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие.

После этого началась моя жизнь как отражения. Странная, полусознательная, хотя тайно-сладостная жизнь. Нас было много в этом зеркале, темных душ, дремлющих сознаний. Мы не могли говорить одна с другой, но чувствовали близость, любили друг друга. Мы ничего не видели, слышали смутно, и наше бытие было подобно изнеможенную от невозможности дышать. Только когда существо из мира людей подходило к зеркалу, мы, внезапно восприняв его облик, могли взглянуть в мир, различить голоса, вздохнуть всей грудью. Я думаю, что такова жизнь мертвых — неясное сознание своего «я», смутная память о прошлом и томительная жажда хотя бы на миг воплотиться вновь, увидеть, услышать, сказать... И каждый из нас таил и лелеял заветную мечту — освободиться, найти себе новое тело, уйти в мир постоянства и незыблемости.

Первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своем новом положении. Я еще ничего не знала, ничего не умела. Покорно и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. А она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение щеголять предо мной своей жизненностью, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня, вставала и ликовала, видя, что я встала, размахивала руками, танцевала, принуждала меня удваивать ее движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла отвечать ей. Она грозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, сознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования... И потом, вдруг, она одним ударом перевертывала зеркало вокруг оси и с размаха бросала меня в полное небытие.

Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живет

моей жнзнью, пользуется монми туалетами, считается женой моего мужа, заинмает в свете мое место. Чувство иенависти и жажда мести выросли тогда в моей душе, как два огнеиных цветка. Я стала горько клясть себя за то, что по слабости или по преступному любопытству дала победить себя. Я пришла к уверенностн, что никогда эта авантюристка не восторжествовала бы надо мной, если бы я сама не помогала ей в ее кознях. И вот, освоившнсь несколько с условиями моего нового бытия, я решилась повести с ней ту же борьбу, какую она вела со мной. Если она, тень, сумела заиять место действительной женщииы, неужели же я, человек, лишь времеино ставший тенью, ие буду сильнее призрака?

Я иачала очень издалека. Сперва я стала притворяться, что насмешки моей соперницы мучат меия все иестерпимей. Я доставляла ей иарочно все наслаждеиия победы. Я дразнила в ней тайиые иистинкты палача, прнкидываясь изнемогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расточала свое воображение, выдумывая иовые пытки для меия. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы еще и еще раз показать мие, что я — лишь отражение, что своей жизни у меия нет. То она играла передо мной иа рояли, муча меня беззвучностью моего мира. То оиа, сидя перед зеркалом, глотала маленькими глотками мои любимые ликеры, заставляя меня только делать вид, что я тоже их пью. То, иаконец, приводила в мой будуар людей мне иенавистных н перед моим лицом отдавала им целовать свое тело, позволяя им думать, что они целуют меия. И после, оставшнсь наедние со мной, оиа хохотала злорадиым н торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял меия; иа его острие была сладость: мое ожидание мести!

Незаметио, в часы ее надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мие в глаза, овладевала постепенио ее взором. Скоро по своей воле я уже могла заставлять ее подымать н опускать веки, делать то нли иное движеиие лицом. Торжествовать уже начииала я, хотя и скрывала свое чувство под личииой страдания. Сила душн возрастала во мие, н я осмелнвалась приказывать моему врагу: сегодня ты сделаешь то-то, сегодня ты поедешь туда-то, завтра прндешь ко мне тогда-то. И о н а исполняла! Я опутывала ее душу сетями своих хотеиий, сплетала твердую нить, на которой держала ее волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она одиажды, в час своего хохота, вдруг уловнла на моих губах победную усмешку, которой я не могла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежала тогда нз комнаты, но я, впадая в сои своего небытня, знала, что она верherется, зиала, что она подчиннтся мие! И восторг победы реял иад моим безвольным бессилием, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти.

Оиа вернулась! Оиа пришла ко мие в гневе н страхе, крнчала на меия, грозила мне. А я ей приказывала. И она должна была повнноваться. Началась игра кошкн с мышью. В любой

час я могла вбросить ее вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твердую действительность. Она знала, что это — в моей воле, и такое сознание мучило ее вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Наконец (это странно, не правда ли?), во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Все же в ней было что-то мое, и мне страшно было вырвать ее из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела, я давала отсрочки день за днем, я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает.

И вдруг, в ясный весенний день, в будуар вошли люди с досками и топорами. Во мне не было жизни, я лежала в сладострастном оцепенении, но, не видя, поняла, что они здесь. Люди стали хлопотать около зеркала, которое было моей вселенной. И одна за другой души, населявшие ее вместе со мной, пробуждались и принимали призрачную плоть в форме отражений. Страшное беспокойство заколебало мою сонную душу. Предчувствуя ужас, предчувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться с истомой полубытия! Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душащих уз к действительности.

Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове, устремленном к ней, к моей сопернице: «Приди сюда!» Я гипнотизировала, магнетизировала ее всем напряжением своей полусонной воли. А времени было мало. Зеркало уже качали. Уже готовились забивать его в дощатый гроб, чтобы везти: куда — неизвестно. И вот, почти в смертельном порыве, я позвала вновь и вновь: «Приди!..» И вдруг почувствовала, что оживаю. Она, мой враг, отворила дверь и, бледная, полумертвая, шла навстречу мне, на мой зов, упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза ее глаза, связала свой взор с ее взором и после этого уже знала, что победа за мной.

Я тотчас заставила ее выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоем. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На ее месте, в свое время, я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал ее губы, глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая,— шла. Я тоже шла навстречу ей, с губами, искривленными торжеством, с глазами, широко открытыми от радости, шатаясь от пьянящего восторга. Снова соприкоснулись наши руки, снова сблизились наши губы, и мы упали одна в другую, сжигаемые невыразимой болью перевоплощения. Через миг я была уже перед зеркалом, грудь моя наполнилась воздухом, я вскрикнула громко и победно и упала здесь же, перед трюмо, ниц от изнеможения.

Ко мне вбежали мой муж, люди. Я только могла проговорить, чтобы исполнили мой прежний приказ, чтобы унесли из

дому, прочь, совсем, это зеркало. Это было умно придумано не правда ли? Ведь та, другая, могла воспользоваться моей слабостью в первые минуты моего возвращения к жизни и отчаянным натиском попытаться вырвать у меня из рук победу. Отсылая зеркало из дому, я на долгое, на любое время обеспечивала себе спокойствие, а соперница моя заслуживала такое наказание за свое коварство. Я ее поражала ее собственным оружием, клинком, который она сама подняла на меня.

Отдав приказание, я лишилась чувств. Меня уложили в постель. Позвали врача. Со мной сделалась от всего пережитого нервная горячка. Близкие уже давно считали меня больной, ненормальной. В первом порыве ликования я не остереглась и рассказала им все, что со мной было. Мои рассказы только подтвердили их подозрения. Меня перевезли в психиатрическую лечебницу, где я нахожусь и теперь. Все мое существо, я согласна, еще глубоко потрясено. Но я не хочу оставаться здесь. Я жажду вернуться к радостям жизни, ко всем бесчисленным утехам, которые доступны живому человеку. Слишком долго я была лишена их.

Кроме того,— сказать ли?— у меня есть одно дело, которое мне необходимо совершить как можно скорее. Я не должна сомневаться, что я это — я. И все же, когда я начинаю думать о той, заточенной в моем зеркале, меня начинает охватывать странное колебание: а что, если подлинная я — там? Тогда я сама, я, думающая это, я, которая пишу это, я — тень, я — призрак, я — отражение. В меня лишь перелились воспоминания, мысли и чувства той, другой меня, той, настоящей. А в действительности я брошена в глубине зеркала в небытие, томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю, я почти знаю, что это неправда. Но, чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь, еще раз, в последний раз, увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него еще раз, чтобы убедиться, что там — самозванка, мой враг, игравший мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и все смятение моей души минет, и я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало, где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!..





В БАШНЕ

ЗАПИСАННЫЙ СОН

Нет сомнения, что все это мне снилось, снилось сегодня ночью. Правда, я никогда не думал, что сон может быть столь осмысленным и последовательным. Но все события этого сна стоят вне всякой связи с тем, что испытываю я сейчас, с тем, что говорят мне воспоминания. А чем иным отличается сон от яви, кроме того, что оторван от прочной цепи событий, совершающихся наяву?

Мне снился рыцарский замок, где-то на берегу моря. За ним было поле и мелкорослые, но старые сосновые леса. Перед ним расстилался простор серых северных волн. Замок был построен грубо, из камней страшной толщины, и со стороны казался дикой скалой причудливой формы. Глубокие, неправильно расставленные окна были похожи на гнезда чудовищных птиц. Внутри замка были высокие, сумрачные покои и гулкие переходы между ними.

Вспоминая теперь обстановку комнат, одежду окружавших меня лиц и другие мелкие подробности, я с ясностью понимаю, в какие времена унесла меня греза. То была страшная, строгая, еще полудикая, еще полная неукротимых порывов жизнь средневековья. Но во сне, первое время, у меня не было этого понимания эпохи, а только темное ощущение, что сам я чужд той жизни, в которую погружен. Я смутно чувствовал себя каким-то пришельцем в этом мире.

Порою это чувство обострялось. Что-то вдруг начинало мучить мою память, как название, которое хочешь и не можешь вспомнить. Стреляя птиц из самострела, я жаждал иного, более совершенного оружия. Рыцари, закованные в железо, привыкшие к убийству, ищущие только грабежей, казались мне выродками, и я провидел возможность иного, более утонченного существования. Споря с монахами о схоластических

вопросах, я предвкушал иное знание, более глубокое, более совершенное, более свободное. Но когда я делал усилие, чтобы что-то вспомнить, мое сознание затуманивалось снова.

Я жил в замке узником или, вернее, заложником. Мне была отведена особая башня, со мною обращались почтительно, но меня сторожили. Никакого определенного занятия у меня не было, и праздность тяготила меня. Но было одно, что делало жизнь мою счастием и восторгом: я любил!

Владельца замка звали Гуго фон-Ризен. Это был гигант с громовым голосом и силой медведя. Он был вдов. Но у него была дочь Матильда, стройная, высокая, светлоокая. Она была подобна святой Екатерине на иконах итальянского письма, и я ее полюбил нежно и страстно. Так как в замке Матильда распоряжалась всем хозяйством, то мы встречались по нескольку раз в день, и каждая встреча уже наполняла мою душу блаженством.

Долго я не решался говорить Матильде о моей любви, хотя, конечно, мои взоры выдавали тайну. Роковые слова я произнес как-то совсем неожиданно, однажды утром, на исходе зимы. Мы встретились на узкой лестнице, ведшей на сторожевую вышку. И хотя нам много раз случалось оставаться наедине,— и в оснеженном саду, и в сумеречном зале, при чудесном свете луны,— но почему-то именно в этот миг я почувствовал, что не могу молчать. Я прижался к стене, протянул руки и сказал: «Матильда, я тебя люблю!» Матильда не побледнела, а только опустила голову и ответила тихо: «Я тоже тебя люблю, ты — жених мой». Потом она быстро побежала наверх, а я остался у стены, с протянутыми руками.

В самом последовательном сне всегда бывают какие-то перерывы в действии. Я ничего не помню из того, что случилось в ближайшие дни после моего признания. Мне вспоминается только, как мы с Матильдой бродили вдвоем по побережью, хотя по всему видно, что это было несколько недель спустя. В воздухе уже веяло дыхание весны, но кругом еще лежал снег. Волны с громовым шорохом белыми гребнями накатывались на береговые камни.

Был вечер, и солнце утопало в море, как волшебная огненная птица, обжигая края облаков. Мы шли рядом, немного сторонясь друг от друга. На Матильде была подбитая горностаем шубка, и края ее белого шарфа развевались от ветра. Мы мечтали о будущем, о счастливом будущем, забывая, что мы — дети разных племен, что между нами пропасть народной вражды.

Нам было трудно говорить, так как я недостаточно знал язык Матильды, а она не знала моего вовсе, но мы понимали многое и вне слов. И до сих пор мое сердце дрожит, когда я вспоминаю эту прогулку вдоль берега, в виду сумрачного замка, в лучах заката. Я изведал, я пережил истинное счастие, а наяву или во сне — не все ли равно!

Должно быть, на другой день, утром, мне объявили, что Гуго хочет говорить со мною. Меня провели к нему. Гуго

сидел на высокой скамье, покрытой лосиными шкурами. Монах читал ему письма. Гуго был мрачен и гневен. Увидев меня, он сказал мне сурово:

— Ага! знаешь, что делают твои земляки? Вам мало, что мы побили вас под Изборском! Мы зажгли Псков, и вы просили нас о пощаде. Теперь вы зовете Александра, кичащегося прозвищем Невского. Но мы вам не шведы! Садись и пиши своим о нашей силе, чтобы образумились. Не то и ты, и все другие ваши заложники поплатятся жестоко.

Трудно разъяснить до конца, какое меня тогда охватило чувство. Первой властно заговорила в моей душе любовь к родине, бездоказательная, стихийная, как любовь к матери. Я почувствовал, что я — русский, что предо мною — враги, что здесь я выражаю собою всю Русь. Одновременно с тем я увидел, с горестью сознал, что счастие, о котором мы мечтали с Матильдой, навсегда, невозвратно отошло от меня, что любовь к женщине я должен принести в жертву любви к родине...

Но едва эти чувства наполнили мою душу, как вдруг где-то в самой глубине моего сознания, загорелся неожиданный свет: я понял, что я сплю, что все — и замок, и Гуго, и Матильда, и моя любовь к ней — лишь моя греза. И вдруг мне захотелось рассмеяться в лицо суровому рыцарю и его подручнику-монаху, так как я уже знал, что проснусь и ничего не будет — ни опасности, ни скорби. Неодолимое мужество ощутил я в своей душе, так как от моих врагов мог уйти в тот мир, куда они не могли последовать за мною.

Высоко подняв голову, я ответил Гуго:

— Ты сам знаешь, что не прав. Кто вас звал в эти земли? Это море — искони русское, варяжское. Вы пришли крестить чудь, корсь и ливь, а вместо того настроили замков по холмам, гнетете народ и грозите нашим городам до самой Ладоги. Александр Невский восстал на святое дело. Радуюсь, что псковичи не пожалели своих заложников. Не напишу того, что хочешь, но дам знать, чтобы шли на вас. С правыми бог!

Я говорил это, словно играя роль на сцене, и подбирал нарочно старинные выражения, чтобы мой язык соответствовал эпохе, а Гуго пришел от моих слов в ярость.

— Собака,— крикнул он мне,— раб татарский! Я велю тебя колесовать!

Тут вспомнился мне, быстро, словно откровение, осеняющее свыше провидца, весь ход русской истории, и, как пророк, торжественно и строго, я сказал немцам:

— Александр побьет вас на льду Чудского озера. Сметы не будет порубленным рыцарям. А потомки наши и всю эту землю возьмут под свое начало, и будут у них в подчинении потомки ваши. Это знайте!

— Уберите его!— закричал Гуго, и от гнева жилы у него на шее надулись, посинев.

Слуги увели меня, но не в мою башню, а в смрадное подземелье, в темницу.

Потянулись дни во мраке и сырости. Я лежал на гнилой соломе, в пищу мне швыряли заплесневелый хлеб, целыми сутками я не слышал человеческого голоса. Моя одежда скоро обратилась в лохмотья, мои волосы сбились в комок, мое тело покрылось язвами. Только в недостижимых мечтах представлялось мне море и солнце, весна и свежий воздух, Матильда. А в близком будущем меня ждали колесо и дыба.

Насколько реальны были радости моих свиданий с Матильдой, настолько реальны были и мои страдания в темнице ее отца. Но во мне уже не меркло сознание, что я сплю и вижу дурной сон. Зная, что настает миг пробуждения и стены моей тюрьмы развеются, как туман, я находил в себе силы безропотно переносить все муки. На предложения немцев купить свободу ценой измены родине я отвечал гордым отказом. И сами враги начали уважать мою твердость, которая мне стоила дешевле, нежели они думали.

На этом мой сон прерывается... Я мог погибнуть от руки палача или меня могло избавить от неволи Ледовое побоище 5 апреля 1241 года, как и других псковских аманатов. Но я просто проснулся. И вот я сижу за своим письменным столом, окруженный знакомыми, любимыми книгами, записываю свой длинный сон, собираюсь начать обычную жизнь этого дня. Здесь, в этом мире, среди тех людей, что за стеной, я у себя, я в действительности...

Но странная и страшная мысль тихо подымается из темной глубины моего сознания: что если я сплю и грежу *теперь* и вдруг проснусь на соломе, в подземелье замка Гуго фон-Ризен.





БЕМОЛЬ

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОЙ ИЗ МАЛЫХ СИХ

Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подыскали место продавщицы в писчебумажном магазине «Бемоль». Почему магазин назывался так, сказать трудно: вероятно, прежде в нем продавались и ноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара, покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Ее единственный помощник, мальчик Федька, с утра, после чая, заваливался спать, просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпал опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густавовна, обирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна ее ужасно боялась и слушала, не смея произнести ни слова. Магазин запирали в девять; придя домой, к тетке, Анна Николаевна пила жидкий чай с черствыми баранками и тотчас ложилась спать.

Первое время Анна Николаевна думала развлекаться чтением. Она доставала, где только можно, романы и старые журналы и добросовестно прочитывала их страница за страницей. Но она путала имена героев в романах и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных Жаннах и Бланках и зачем описывают прекрасные утра, все одно на другое похожие. Чтение было для нее трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали Анне Николаевне, потому что не находили ее интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в каморку, бывшую при магазине, и высылала Федьку. Если с ней заговаривали, когда она шла домой, она, не отвечая ни слова, ускоряла шаги или просто бежала бегом до самого своего крыльца. Знакомых у нее не было, ни с кем из пансионных подруг она не переписыва-

лась, с теткой не говорила и двух слов в сутки. Так проходили недели и месяцы.

Зато Анна Николаевна сдружилась с тем миром, который окружал ее,— с миром бумаги, конвертов, открытых писем, карандашей, перьев, сводных, рельефных и вырезных картинок. Этот мир был ей понятнее, чем книги, и относился к ней дружественнее, чем люди. Она скоро узнала все сорта бумаги и перьев, все серии открытых писем, дала им названия, чтобы не называть номером, некоторые полюбила, другие считала своими врагами. Своим любимчикам она отвела лучшие места в магазине. Бумаге одной рижской фабрики, на которой были водяные знаки рыб, она отдала самую новую из коробок, края которой оклеила золотым бордюром. Сводные картинки, представлявшие типы древних египтян, убрала в особый ящик, куда, кроме них, клала только ручки с голубями на конце. Открытые письма, где изображался «путь к звезде», завернула отдельно в розовую бумагу и заклеила облаткой с незабудкой. Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые, чернильницы, ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались, и свертки гофреной бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти вещи она прятала в самый дальний угол магазина.

Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи. Только когда тот или другой сорт таких вещей подходил к концу, она начинала тревожиться и отваживалась даже просить Каролину Густавовну поскорее сделать новый запас. Однажды неожиданно распродалась партия маленьких весов для писем, которые шли плохо и которые Анна Николаевна полюбила за их обездоленность; последнюю штуку продала вечером сама хозяйка и не захотела выписывать их вновь. Анна Николаевна два дня после того проплакала. Когда же продавались вещи нелюбимые, Анна Николаевна сердилась. Когда брали целыми дюжинами отвратительные тетради с синими разводами на обертке или грубо отпечатанные открытые письма с портретами актеров, ей казалось, что ее любимцы оскорблены. Она в таких случаях так упорно отговаривала от покупки, что многие уходили из магазина, не купив ничего.

Анна Николаевна была убеждена, что все вещи в магазине ее понимают. Когда она перелистывала дести любимой бумаги, ее листы шуршали так приветливо. Когда она целовала голубков на концах ручек, они трепетали своими деревянными крылышками. В тихие зимние дни, когда шел снег за заиндевевшим окном с некрасивыми кругами от ламп, когда за целые часы никто не входил в магазин, она вела длинные беседы со всем, что́ стояло на полках, что́ лежало в ящиках и коробках. Она вслушивалась в безмолвную речь и обменивалась улыбками и взглядами со знакомыми предметами. Таясь, она раскладывала на конторке свои любимые картинки — ангелов, цветы, египтян,— рассказывала им сказки и слушала их рассказы. Иногда все вещи пели ей хором чуть слышную, убаюкивающую песню.

Анна Николаевна заслушивалась ею до того, что входящие покупатели зло усмехались, думая, что разбудили сонливую приказчицу.

Перед рождеством Анна Николаевна переживала тяжелые дни. Покупатели являлись особенно часто. Магазин был завален грудой картонажей, ярких, режущих глаза, безобразными хлопушками и золотыми рыбами в наскоро склеенных коробках. На стенах развешивались отрывные календари с портретами великих людей. Было людно и неприютно. Но за лето Анна Николаевна отдыхала вполне. Торговля почти прекращалась, нередко день проходил без копейки выручки. Хозяйка уезжала из Москвы на целые месяцы. В магазине было пыльно и душно, но тихо. Анна Николаевна размещала повсюду свои любимые картинки, выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной папиросной бумаги она вырезывала тонкие ленты и обвивала ими стертые колонки шкапов. Она громким шепотом разговаривала со своими любимцами, рассказывала им про свое детство, про свою мать и плакала. И они, казалось ей, утешали её. Так проходили месяцы и годы.

Анна Николаевна и не думала, что в ее жизни может что-нибудь измениться. Но однажды осенью, вернувшись в Москву особенно злой и сварливой, Каролина Густавовна объявила, что будет общий счет товара. В ближайшее воскресенье на дверь прикленли билетик с надписью, что «сегодня магазин закрыт». Анна Николаевна с тоской смотрела, как хозяйка жирными пальцами пересчитывала ее избранные декалькомани, такие тонкие и изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с голубками. В товарной книге, исписанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки с росчерками и чернильными брызгами. Каролина Густавовна недосчиталась что-то многого: целых стоп бумаги, несколько гроссов карандашей и разных отдельных вещей — стереоскопов, увеличительных стекол, рамок. Анна Николаевна была убеждена, что никогда и не видала их в магазине. Потом Каролина Густавовна высчитала, что выручка с каждым месяцем все уменьшается. Это она поставила на вид Анне Николаевне с бранью, назвала ее воровкой и сказала, что более не нуждается в ее службе, что отказывает ей от места.

Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. Дома ей пришлось, конечно, выслушать брань и от тетки, которая то называла ее дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анну Николаевну не столько пугало, что она без места, и не столько мучила несправедливость Каролины Густавовны, сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина. Анна Николаевна думала о рельефных ангелочках, качающихся на облаках, о головках Марии Стюарт, о бумаге со знаками рыб, о знакомых коробках и ящиках и рыдала без устали. Ей вспоминался предвечерний час, когда уже зажгли

лампы, вспоминались ее безмолвные беседы с друзьями, чуть слышный хор, звучавший с полок,— и сердце надрывалось от отчаянья. При мысли, что ей больше никогда, никогда не придется свидеться со своими любимцами, она бросалась ничком на свою маленькую кровать и молила у бога смерти.

Месяца через полтора тетке посчастливилось найти Анне Николаевне новое место, тоже в писчебумажном магазине, но на бойкой, людной улице. Анна Николаевна отправилась на свою новую должность со щемящей тоской. Кроме нее, там служила еще одна барышня и молодой человек. Хозяин тоже большую часть дня проводил в магазине. Покупателей было много, так как поблизости было несколько учебных заведений. Весь день приходилось быть на глазах других, подсмеивавшихся над Анной Николаевной и презиравших ее. Своих прежних любимцев она не нашла здесь. Все выписывалось через другие конторы от других фабрикантов. Бумага, карандаши, перья — все казалось здесь не живым. А если и было несколько таких же вещей, как в «Бемоли», то они не узнавали Анны Николаевны, и она напрасно, улучив минуту, им шептала их самые нежные имена.

Единственной радостью для Анны Николаевны стало подходить вечером, на пути домой, к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запыленные стекла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая немочка с буклями на лбу. Вместо Федьки был рослый парень лет пятнадцати. Покупатели выходили из магазина, смеясь: им было весело. Но Анна Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему, и эта вера ее утешала.

Долго Анна Николаевна мечтала о том, чтобы войти еще раз внутрь магазина, посмотреть опять на старые шкафы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня, и все не решалась, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густавовна вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она отворила дверь и вошла с замиранием сердца. Немочка, с буклями на лбу, приготовила было очаровательную улыбку, но, рассмотрев покупательницу, удовольствовалась легким наклонением головы.

— Что вам угодно, мадемуазель?

— Дайте мне... дайте писчей бумаги... десть... с рыбами.

Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у нее спрашивают, и пошла к шкапу налево. Анна Николаевна с недоумением и тоской последовала за ней глазами. Прежде эта бумага хранилась в коробке с золотым бордюром. Но прежних коробок уже не было; вместо них были безобразные черные ящики с надписями: «№ 4-й 20 к.», «Министерская 40 к.». В шкапах на первое место были выставлены стеклянные чернильницы. Груда гофреной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актеров были

в виде веера прибиты там и сям к стенам. Все было передвинуто, перемещено, изменено.

Немочка положила перед Анной Николаевной бумагу, спрашивая, та ли это. Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красные листы, которые когда-то умели отвечать на ее ласки; но теперь они были жестки, как мертвецы, и так же бледны. Она тоскливо оглянулась кругом: все было мертво, все было глухо и немо.

— С вас тридцать пять копеек, мадемуазель.

Даже цена была изменена! Анна Николаевна уплатила деньги и вышла на холод, сжимая в руках свернутую трубочкой бумагу. Октябрьский ветер пронизывал ее сквозь короткое обносившееся пальто. Свет фонарей расплывался большими пятнами в тумане. Было холодно и безнадежно.





МРАМОРНАЯ ГОЛОВКА

РАССКАЗ БРОДЯГИ

Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался, наконец, рассказал мне свою жизнь.

— Вы правы,— начал он,— я видал лучшие дни, не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я — техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно: каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и, чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней: это — все, что относится к Нине.

Ее звали Ниной, милостивый государь, да, Ниной, я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной! Она сама стряпала, но ее руки были как выточеные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим, стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость.

Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как — этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая (ей это выпадало так редко!), впивает каждое слово пьесы, улыбается мне... Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила

голову и говорит мне: «Я знаю, что ты — мое счастие ненадолго; пусть,— все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли, что все это было с Ниной? Не знаю.

Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось это так естественно. Все мои товарищи поступали так же: заводили интригу с замужней женщиной и, по прошествии некоторого времени, бросали ее. Я только поступил, как все, и мне даже на ум не приходило, что мой поступок дурен. Украсть деньги, не заплатить долг, сделать донос — это дурно, но бросить любовницу — только в порядке вещей. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль.

Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но так как воспоминания о Нине все же были мне мучительны, я избегал тогда всяких вестей об ней Я старался ничего не знать про нее и не думать об ней У меня не осталось ее портрета, ее письма я ей возвратил, общих знакомых у нас не было — и вот постепенно образ Нины стерся в моей душе. Понимаете? — я понемногу пришел к тому, что забыл Нину, забыл совершенно, ее лицо, ее имя, всю нашу любовь. Стало так, как если бы ее совершенно не существовало в моей жизни... Ах, есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать!

Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я «делал карьеру». Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели, мог тратить тысячи, живал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль; дела, которые я затевал, не удавались, жена умерла; побившись с детьми, я их рассовал по родственникам и теперь, прости мне господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил и играл... Основал было я одну контору — не удалось, загубил на ней последние деньги и силы. Попытался поправить дела игрой и чуть не попал в тюрьму — да и не совсем без основания... Знакомые от меня отвернулись, и началось мое падение.

Понемногу дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Я, так сказать, «выбыл» из интеллигентного общества и опустился на дно. На какое место мог я претендовать, одетый плохо, почти всегда пьяный? Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах рабочим. А когда пил,— попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно и всё мечтал, что вдруг судьба переменится и я буду опять богат. Наследства какого-то несуществующего ждал или чего-то подобного. Своих новых товарищей за то и презирал, что у них этой надежды не было.

Так вот однажды, продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» — «Слесарь»,— отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет, везде позолота,

картнны. Поработал я, сделал, что иадо, и выиосит мне барыня рубль. Я беру деньгн и вдруг вњжу, иа белой колоике, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зиая почему, всматриваюсь н верить не могу: Ннна!

Говорю вам, милостивый государь, что Нниу я забыл совсем н тут-то нмеино впервые это и поиял: понял, что забыл ее. Вдруг выплыл предо мной ее образ, н целая вселениая чувств, мечтанний, мыслей, которая погребена была в моей душе, словно какая-то Атлаитнда,— пробудилась, воскресла, ожнла... Смотрю я иа мраморный бюст, сам дрожу и спрашнваю: «Позвольте узиать, сударыня, что это за головка?» — «А это,— отвечает она,— очень дорогая вещь, пятьсот лет назад сделаиа, в XV веке». Имя художника назвала, я ие разобрал, сказала, что муж вывез эту головку из Италии и что через то целая днпломатнческая переписка возиикла между итальяиским н русскнм кабинетами. «А что,— спрашивает меня барыня,— нлн вам понравнлось? Какой у вас, однако, современный вкус! Ведь уши,— говорнт,— не на месте, нос иеправнлен...» — и пошла! н пошла!

Выбежал я оттуда как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше — какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажнте мие, каким чудом художник в XV столетнн мог сделать те самые малеиькие, крнво посаженные уши, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправнльный нос н длинный иаклоненный лоб, нз чего неожнданио получалось самое прекрасное, самое пленнтельное женское лицо? Какнм чудом две одниаковые женщины могли жить — одна в XV веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была нмеино одинакова, тождественна с Ниной, ие только лицом, но и характером, и душой, я ие мог сомневаться.

Этот день изменил всю мою жнзнь. Я понял и всю ннзость своего поведения в прошлом, н всю глубнну своего падения. Я понял Нниу как ангела, посланного мне судьбой, которого я ие признал. Вернуть прошлое невозможно. Но я с жадностью стал собнрать воспоминания о Нине, как подбнрают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я ие мог составить ничего целого. Все былн осколкн, обломки. Но как ликовал я, когда мие удавалось обрести в своей душе что-нибудь иовое. Задумавшнсь н вспомнная, я проводнл целые часы; иадо мной смеялнсь, а я был счастлив. Я стар, мие поздио иачниать жнзнь сызнова, но я еще могу очистнть свою душу от пошлых дум, от злобы иа людей н от ропота иа создателя. В воспоминаниях о Нине я иаходил это очищение.

Страстно мие хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидеть мраморную головку, но она была далеко от окон. Я простаивал ночи перед домом. Я узнал всех жнвущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали иа дачу. И я уже не мог более бороться с своим желанием. Мие казалось, что, взглянув еще раз на

мраморную Нину, я сразу вспомню все, до конца. Это было бы для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома... Я был нищий, я взломал замки... Впрочем, история кончена, милостивый государь!

— Но мы подадим апелляцию,— сказал я,— вас оправдают.

— К чему? — возразил старик.— Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит, а не все ли равно, где я буду думать о Нине — в ночлежном доме или в тюрьме?

Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал:

— Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку?





РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА

СТАТЬЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ №
«СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ВЕСТНИКА»

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, все были поражены психическим расстройством. Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех *достоверных* сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе.

Республика Южного Креста возникла сорок лет тому назад из треста сталелитейных заводов, расположенных в южнополярных областях. В циркулярной ноте, разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выразило притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах южнополярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за полярным кругом, но тесно примыкавших к южнополярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от

ратуш, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, тоже в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи, число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы, входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников, в окно вагона, проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Чтобы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около с е м и д е с я т ы х всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики.

Конституция Республики, по внешним признакам, казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60 % всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжение, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения, но семьи граждан, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или

лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую все вопросы политической жизни страны, без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи приходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние Совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время влияние Совета, хотя и не прямое, на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета.

Сохранением власти в своих руках Совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно, в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. Заводы были полны агентами Совета. При малейшем проявлении недовольства Советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц Совет не брезгал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в Совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Неудивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира. Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны — роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался Советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего Совета.

Таков был, в самых общих чертах, строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

. Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхасе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое. (Научное название болезни — mania contradicens.) Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми.

Нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознавая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до исступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу; случаи выздоровления крайне редки.

Эпидемический характер mania contradicens приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2 % общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25 % и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2 % в с е г о н а с е л е н и я, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить семьи, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, а число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утверждают, что в августе месяце в с е, оставшиеся в Звездном городе, были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возраставшую у них рубрику: mania contradicens. Так как распознание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодов. Заболевший кондуктор метрополитэна вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу — и т. д. Длинный ряд таких происшествий давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим событием. Затем две няньки в городском детском саду, в при-

падке «противоречия», перерезали горло сорок одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных Городского Совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противоречием», напечатать и распространить в 500 000 экземплярах брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержанных и распутных. И скоро все общество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов Законодательной Палаты и Городского Совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население — иностранцы, охотно съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец, дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону, бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными

толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. За места на управляемых аэростатах, которые могли поднять всего десяток пассажиров, платили целые состояния... В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять наружи, хотя, при скорости хода современных электрических дорог, это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. Не менее обогатились две Южные Компании аэростатов, которые успели совершить около десяти рейсов и вывезли из Звездного города последних, замедливших миллиардеров... По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения.

Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель Городского Совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня Городской Совет по соглашению с Палатой и Советом директоров вручил Дивилю диктаторскую власть над городом с званием Начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивиля должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивилю обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по несколько

раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивиля, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность. Большей частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но, под влиянием расстроенной психики, это желание выражалось у них какими-нибудь враждебными действиями против близ стоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти-то минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того, чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоями. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием нервного напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре Фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня и в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадиую опасиость для жителей представляли грабнтели и воры, которые прн общей дезорганизации иаходнли шнрокое поле для своей деятельиости. Уверяют, что иные из них прибывали в это время в Звездиый город нз-за граннцы. Некоторые симулировали безумие, чтобы остаться безиаказаиимыи. Другие ие считали иужиым даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайкн разбойников смело входили в покннутые магазины и уносили более ценные вещи, врывались в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих н отинмали у иих драгоцеииости, часы, перстии, браслеты. К грабежам присоединилиcь иасилия всякого рода, и прежде всего иасилия над женщииами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, ио те не отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные случаи, когда среди грабителей или среди милициоиеров виезапио оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованиых грабителей Начальник сиачала высылал из города. Но граждаие освобождали их из тюремиых вагоиов, чтобы заиять их место Тогда Начальиик принужден был приговаривать улнчеииых разбойников и насильииков к смерти. Так, после почти трехвекового перерыва, была возобновлена на земле открытая смертиая казнь.

В июие в городе стала сказываться иужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизнеииых припасов, иедоставало медикаментов. Подвоз по железиой дороге иачал сокращаться; в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарии и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроеиы общественные столовые по образцу существовавших иа заводах. Но иевозможио было найти достаточиого числа работающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, ио число их умеиьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, ио число мертвых тел в покойницких ие убывало, а возрастало. Начали иаходить трупы иа улицах и в частиых домах. Городские цеитральиые предприятия по телеграфу, телефону, освещеиию, водопроводу, каиализации обслуживались все меньшим и меиьшим числом лиц. Удивительио, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумать, что он ие зиал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середиие июия стал чувствоваться недостаток служащих иа железиых дорогах. Не было машиииистов и коидукторов, чтобы обслуживать поезда. 17 июия произошло первое крушеиие иа Юго-Западиой линии, причииой которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезии машииист бросил весь поезд с пятисажениой высоты иа ледяиое поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечеиы. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома. Тотчас был отправлеи санитариый поезд. Он привез трупы и изувечеииые полуживые тела. Но к вечеру

того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звёздный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из города и из Северного порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Пришлось отказаться от надежды восстановить в скором времени движение.

Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее в болезненном припадке они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они б о я л и с ь, как бы не погубить поезда, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Еще раньше прекратилось сообщение аэростатами. Один из них был разгромлен разъяренной толпой, которая негодовала на то, что воздушным путем пользуются лишь люди особенно богатые. Все другие аэростаты, один за другим, потерпели крушение, вероятно, по тем же причинам, которые приводили к железнодорожным катастрофам. Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

24 июня остановилось движение по городскому метрополитэну ввиду недостатка служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдевших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей гибели жизнь еще сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, продавая — почему-то по неимоверным ценам — уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скряги-купцы прятали его, неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны — карт, вина и разврата,— куда убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми,

и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. №№ этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками,— живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия», писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаяньем души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решилась идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лёндонтоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их, и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не рассветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить *всех* больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление, нашло бы сторонников. Уайтинг и его друзья рыскали по всему городу, врывались во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии mania contradicens, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в городе не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не

могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцатиэтажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех паденне нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, наросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек, человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве — признавалась только сила. Для женщин единственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на неизвестно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребах, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насытить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему населению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех, сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомраченным сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал, вместе с телеграммами Дивиля, служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отбивать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь,— пишет Дивиль,— не знаю. Помощи раньше весны ждать невозможно. До весны

прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивиля. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом и что защитники ее были перебиты или рассеялись. Тело Дивиля пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо полагать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немытые, нечесаные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выклики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками — за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселие и зверская злоба — или абсолютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых, человекоподобных существ были закинуты в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто сознавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро пришлось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог и управляемых аэростатов прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания

«противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Республики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер, и начиналась общественная паника, напоминавшая события в Звездном городе. Это повело к эмиграции жителей изо всех населенных пунктов Республики. Работы на всех заводах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла до тех размеров, как в столице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастиями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких неимоверных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город — сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделались жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходить вести угрожающего характера, правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи несли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железнодорожного сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После поломки электрических машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции были заряженные аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна: может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивиля помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В течение июля было сделано несколько попыток достигнуть до Звездного города по воздуху. В Республику было доставлено несколько новых аэростатов и летательных машин. Однако долгое время все попытки преследовала неудача. Наконец, аэронавту Томасу Биллю посчастливилось долететь до несчастного города. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билль видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билль не решился спуститься. В конце августа удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Се-

веро-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух искусственными средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются не занятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10 000 человек, но большая часть их является людьми неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы №№ газет, выходивших в городе до конца июля. Последний из найденных до сих пор, помеченный 22 июля, содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и наконец,— полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитэна, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах: везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь,

отправил в город нового корреспондента, г. Андрю Эвальда, и намереи в подробных сообщеиннях знакомить своих читателей со всеми иовыми открытиямн, которые будут сделаны в несчастиой столице Республикн Южиого Креста.





НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ЭПИЗОД

— Ты хвалишься напрасно.— сказал мне Дьявол,— я покажу тебе миры, которых вообразить ты не мог бы. Гляди: видишь ты эту звезду α в созвездии Ориона?

Я посмотрел, куда указывал мне длинный и чешуйчатый коготь. Дьявол другой рукой приподымал тяжелую портьеру у окна. Небо казалось черной бездной, разверстой у ног.

— Вокруг этой звезды,— продолжал Дьявол,— вращается сто сорок больших планет, не считая астероидов. Мы с тобою сейчас перенесемся на одну из них, величиною с вашу зеленую землю.

— А сколько времени мы будем в пути?— спросил я насмешливо.

Дьявол посмотрел на меня вдвое насмешливее, жидкая бородка его затряслась, и он ответил мне так:

— Конечно, мы летели бы миллионы лет, если бы пожелали пройти через все промежуточные точки между землей и той звездой. Но мы м и н у е м их. Дай мне руку.

В тот день Дьявол был одет в широкий испанский плащ, и лицо у него было, как у оперного Дон-Жуана, но, из странного щегольства, он сохранял мохнатые ладони и крючковатые пальцы, как у духа Тьмы на гравюре Дюрера. Меня передернуло от прикосновения этой шершавой руки. А Дьявол захохотал мне в лицо и рванул меня вперед, словно увлекая в какой-то бешеный танец.

На миг у меня закружилась голова, так как от моего спутника пахнуло на меня крепкими, но неприятными духами. Однако тотчас же Дьявол выпустил мою руку. Мы были уже не на земле. Мы были в неизвестном мне мире.

Небо над нами было радужное. Оно словно ежеминутно вспыхивало багровыми молниями, цвет которых затем пере-

ливался во все краски спектра. Казалось, что вся вселенная — один гигантский фейерверк или один сплошной пожар

— Не пугайся,— сказал мне Дьявол, хохоча,— уже потому не пугайся, что у тебя нет твоих телесных органов. Это не оттого, чтобы мне трудно было перенести сюда твой земной состав,— мне это столь же легко, как вытолкать тебя за дверь. Но твои телесные органы не приспособлены к здешней атмосфере и здешнему свету. Вот отчего я предпочел взять сюда твой астральный образ. А тело твое, словно труп, лежит на полу в твоей комнате, от которой отделяет нас такое количество миль, какое ты все равно не сможешь представить.

Я огляделся.

Вся почва кругом поросла растениями. Но они тихо двигались. То были оранжевого цвета стебли, толщиною в человеческую руку, прикрепленные корнем к почве,— с узкими, едва развитыми, чешуйками, вроде листьев, но с большой округлой шапкой, заканчивавшей их, словно чашечка цветка Эта чашечка была увенчана, тоже едва развитыми, лепестками, между которыми на месте, где можно было ожидать тычинок, тускло отражало лучи некоторое подобие глаза. И море этих оранжевых, длинных, зрячих стеблей медленно извивалось, вытягивалось, подымалось и опускалось, зыблемое словно не ощутимым для меня ветром.

— Они не видят нас,— сказал мне Дьявол,— пойдем.

Мы понеслись в легком полете по воздуху. Образ моего спутника был теперь иным: он похож был на мечту о прекрасном Люцифере, и над его ликом падшего серафима слабо светился венец из неярких алмазов. Живые растения с дрожью вытягивались под нами, смутно ощущая веянье наших астральных тел.

Был уже вечер, и ярко-красный диск солнца лежал на горизонте, вонзая ослепительные лучи, переливавшиеся всеми цветами радуги, в медленно меркнущий небосклон. Потом огненный круг канул за черту кругозора, и в небе началась новая пляска всех красок и всех оттенков, пьяные игры пылающих, разноцветных, меняющихся хамелеонов и саламандр Еще немного позже взошли четыре луны: голубая, зеленая, желтая и фиолетовая, и их лучи, перекрещиваясь, протянули потоки спокойного света через все еще воспламеняющиеся отблески дня.

Заметив, что я занят картинами неба, Дьявол сказал мне самодовольно:

— Однако ты изумлен довольно. Così ti circonfulse luce viva, как говорит ваш поэт. Но посмотри вниз: здесь наступила пора любви.

Я сделал вид, что не замечаю искажения в цитате из «Рая», и действительно опустил взоры. Охваченные страстным томлением, живые стебли теперь влачились один к другому, соединяясь в группы по три, и глаза их под магическим светом четырех разноцветных лун ожили и замерцали огнем вожделения. Я видел, как растения, заплетая шнуром свои стебли

и вытягиваясь в высь, как копья, близили чашечки своих цветов, словно змеи на жезле Гермеса свои головы. Я видел, как потом три чашечки соприкасались, как глаза их подергивались мутной влагой, как лепестки их спаивались в один безобразный бутон. Мы продолжали скользить в легком полете над ощетинившейся почвой, и я спросил своего спутника:

— Почему они соединяются по три?

Дьявол отвечал презрительно:

— Ты, как человек, думаешь, что может существовать лишь два пола. В этом мире их — три, но я знаю другой, где их — семнадцать, и есть такие, где их — несколько тысяч. Но я не поведу тебя в эти страны, чтобы не задать твоему бедному земному разуму непосильной работы.

Тем временем съединившиеся стебли встали под нами, как стальные прутья, и устремили свои острия прямо в небо; к стеблям тесно прижались их листья-чешуя, а между стеблями у корней открылась почва, морщинистая, сухая, как кожа дряхлого гиппопотама.

Я опять задал вопрос:

— Разве на этой планете нет воды?

Дьявол кинул небрежно в ответ:

— Здесь есть водород.

Больше я не хотел спрашивать, и мы продолжали полет в молчании, окружая планетный шар, который весь был столь же плоским, как куриное яйцо, и безнадежно однообразным, без гор и долин, без рек и морей. Некоторое время опять любовался я картиной звездной ночи, рассматривая иную, нежели с земли, группировку звезд, белыми пятнами пронизавших сине-зелено-желто-оранжевое небо. Потом опять посмотрел я на растения и увидел, что их любовные спазмы кончились. Ослабшие стебли быстро расплетались и один за другим падали ниц, в изнеможении, бессильные. Скоро вся почва под нами была вновь завалена безобразной грудой омертвелых, дряблых растений, с некрасиво развороченными чашечками цветов, откуда бессмысленно и тупо смотрел какой-то невидящий, остановившийся взор.

Содрогнувшись, я сказал Дьяволу:

— Послушай, мне здесь скучно. Ты обещал показать мне мир, который я не могу вообразить. Уверяю тебя, что воображение Фламмариона и Уэльса рисовало миры, гораздо более удивительные. Я думал, что ты поведешь меня в области духов света и огня, чьи чувства и понятия в миллион раз сложнее и утонченнее моих; я думал, что ты поведешь меня во вселенные иного измерения, где что-то новое прибавится к мере всех предметов, или во вселенные иного времени, где кроме прошедшего, настоящего и будущего окажется нечто четвертое. А ты, во всей беспредельности бытия, не нашел ничего лучшего, как показать мне фейерверк, который можно точно воспроизвести синематографом, да блуд цветов — зрелище, от которого меня тошнит. Знаешь, старший твой брат, Мефистофель, был куда изобретательнее.

Страшным огнем воспламенился весь состав Дьявола, и гневным голосом возопил он мне из самой глубины своего существа:

— Жалкий червяк! а забыл ты, как Фауст пал ничком на пол, когда явился Дух Земли, или как Семела была испепелена, узрев Зевса? Того же хочешь и ты?

Но я, протянув свои астральные руки ладонями вперед, спокойно произнес заклинательную формулу славного Киприана, и в тот же миг лик Люцифера искривился и перекосился весь, как в выпуклом зеркале, и стремительнее, чем летящий болид, рухнул мой спутник в огненную бездну. Мое существо, одновременно с тем, получило страшный удар, словно разряд тысячи сильнейших электрических батарей, и я увидел себя сидящим на полу, в своей комнате, подле письменного стола.

Ничего не изменилось вокруг, но портьера перед окном была поднята, а в окне одно стекло разбито вдребезги: конечно, от сотрясения при моем падении, потому что астральное тело, проходя через твердые предметы, не изменяет их физического строения.





ВОССТАНИЕ МАШИН

ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ ***-го ВЕКА

I

Дорогой друг!

Уступаю твоей настойчивости и приступаю к описанию чудовищных событий, пережитых мною и похоронивших мое счастье. Ты прав: кто своими глазами видел подробности страшной катастрофы, небывалой в летописях мира, и остался после нее в здравом уме, обязан сохранить ее черты для историков будущего времени. Такие свидетельства современников будут драгоценным материалом для исследователей нашей эпохи и, быть может, помогут следующим поколениям уберечь себя от ужасов, выпавших на нашу долю. Поэтому, как ни тягостно мне вспоминать те дни, подобные кошмарному бреду, дни, отнявшие у меня всех, кого я любил, и превратившие меня самого в калеку, я все же буду писать, беспристрастно изображая все, что сам наблюдал и об чем слышал от очевидцев.

Впрочем, если бы не твои убеждения и не соображения, что после трагической борьбы уцелело всего несколько человек, я никогда не принял бы на себя этой ответственной задачи, потому что во многом она мне не по силам. Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях: их смысл и причины недоступны моему пониманию. Все, что я могу обещать, это — воспроизводить, насколько сумею живо и ярко, фантастические происшествия, известные теперь под названием «Восстание машин», и быть правдивым, насколько то возможно для человека, который терял грань между явью и сном и уже не сознавал, что́ реальность и что призрак. Дать правильное толкование фактам, объяснить их — дело других, более осведомленных и более образованных.

Ты знаешь, что я — рядовой человек своего века, простой

обыватель, который честно выполнял свои обязанности на общественной службе и считал, что свое свободное время он вправе посвящать отдыху и удовольствиям. Возвращаясь к себе после трудовых часов, я был счастлив в кругу своей семьи, с женой, моей бедной Марией, с моими двумя детьми, твоим любимцем Андреем и его сестрой, малюткой Анной, и с их бабушкой, моей матерью, старушкой, которую все кругом называли «доброй Елизаветой». Чему я когда-то учился в школе, оставалось у меня в памяти, как что-то очень смутное, и позднее у меня не было ни времени, ни охоты освежать и пополнять свои довольно скудные познания. Пусть науками занимаются, думал я, люди, избравшие себе это поприще, а мы, очередные граждане, свершив свой долг, можем спокойно наслаждаться результатами их работ

Подобно всем, кто живет в нашу эпоху, я пользовался всеми благами современных машин, но никогда не задумывался над вопросом, как и где они приводятся в движение или каково их устройство. Мне было достаточно, что машины обслуживают нужды мои и моих близких, а чем это достигается, мне было все равно. Мы нажимали определенные кнопки или поворачивали известные рукоятки и получали все, необходимое нам: огонь, тепло, холод, горячую воду, пар, свет и тому подобное. Мы говорили по телефону и слушали в мегафон утреннюю газету или, вечером, какую-нибудь оперу; переговариваясь с друзьями, мы приводили в действие домашний телекинема и радовались, видя лица тех, с кем говорим, или в тот же аппарат любовались иногда балетом; мы подымались в свою квартиру на автоматическом лифте, вызывая его звонком, и так же подымались на крышу, чтобы подышать чистым воздухом... Вне дома я уверенно вспрыгивал в автобус, в вагон метрополитэна и империала или становился на площадку дирижабля; в экстренных случаях я пользовался мотоциклетками и аэропланами; в магазинах охотно передвигался по движущемуся тротуару, в ресторанах — автоматически получал заказанные порции, на службе — пользовался электрической пишущей машиной, электрическим счетчиком, электрическими комбинаторами и распределителями. Разумеется, нам случалось обращаться к помощи телеграфа, подвесных дорог, дальних телефонов и телескопов, бывать в электро-театрах и фоно-театрах, обращаться в автоматические лечебницы при незначительных заболеваниях и т. д. и т. д. Буквально на каждом шагу, чуть ли не каждую минуту мы обращались к содействию машин, но решительно не интересовались, чем оно обусловлено; только досадовали, когда получали извещение по административному телефону, что тот или другой аппарат временно не будет действовать.

Обращение с машинами, как все знают, просто до крайности. Даже мой маленький Андрей умел различать все кнопки и рукоятки и никогда не ошибался, если надо было прибавить тепла или света, вызвать газету или цирк, остановить лифт или предупредить проходящий мимо автобус. Мне

кажется, что у современного человека выработался особый инстинкт в обращении с машинами. Как люди прошлых эпох, не отдавая себе в том отчета, соразмеряли, например, силу размаха, чтобы затворить дверь, мы соответственно нажимаем кнопку и заранее знаем, что дверь захлопнется без шума. Точно так же мы инстинктивно поворачиваем рычажки ровно настолько, чтобы пение оперы было слышно только в одной нашей комнате, или переходим с движущегося тротуара на твердую землю, хотя непривычный человек непременно при этом упал бы. И нам кажется совершенно естественным, что такому-то слабому движению руки, такому-то чуть заметному наклону рукоятки соответствуют определенные следствия. Мы почти верим, что все это совершается «само собою», что это — в природе вещей, как прежде, поджигая спичкой костер, знали, что получат пламя.

Теперь поневоле я стал гораздо осведомленнее: обо многом пришлось подумать, обо многом расспросить, и, наконец, многое я узнал из газет, которые вот уже два месяца не устают передавать всему миру подробности катастрофы. Теперь я знаю (впрочем, знал это и раньше, учил в школе, только основательно позабыл), что вся земля разделена на 84 «машинных района», из которых каждый имеет свою самостоятельную, не зависящую от других, станцию. Каждый такой район делится на дистрикты: в нашем их было 16, и в каждом дистрикте также устроена центральная станция, причем все они связаны между собой. Наконец, дистрикт подразделяется на фемы, с подстанциями в каждом, получающими энергию с центральной станции. В нашем Октополе была расположена именно центральная станция дистрикта, обслуживавшая 146 фем. И если несчастье охватило сравнительно небольшое пространство, это объясняется исключительно тем, что большая часть коммуникаций с фемами была своевременно прервана. Поэтому восстание, начавшееся на центральной станции, потрясло только самый Октополь с окрестностями и около 30 окружных фем, тогда как могло захватить все полтораста.

Можно ли говорить о *плане* восстания, его «подготовленности», его «сознательности»,— я не знаю. Как ни нелепа подобная мысль, но после всего пережитого мною я более не знаю, что́ немыслимо и что́ возможно. Машины во время восстания действовали с такой систематичностью, с такой дьявольской логикой, что я готов, несмотря на все насмешки огромного большинства и суровые выговоры со стороны ученых, старающихся образумить безумных «фантастов»,— готов допустить, что восстание было если не «обдумано», то «подготовлено» заранее. Тогда план мятежников окажется совершенно ясен: они начинали восстание не на маленькой подстанции, где значение его оказалось бы сравнительно незначительным, но на центральной станции, чем надеялись привести в смятение целый дистрикт, а потом, может быть, по коммуникациям — и весь район, т. е. огромное пространство,

равное одному из прежних государств. Было ли в замыслах мятежников в дальнейшем произвести революцию на всей земле, мне, разумеется, неизвестно.

Остается добавить,— к стыду моему, это я также узнал только теперь после пережитого, из газет и лекций,— что некоторые ученые давно предсказывали возможность такого мятежа. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых — органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного; поломы кристаллов заполняются «силами природы» аналогично тому, что происходит при поранениях «живого» тела; жемчуга подвержены болезням; минералы также; металлы имеют предел напряжения и выносливости; проволочные провода «устают», если их принуждают работать слишком много, и отказываются повиноваться; некоторые элементы (или вещества, не знаю, как должно сказать) намагничиваются самопроизвольно; электрические токи при значительной конденсации (опять извиняюсь за, вероятно, неправильный термин) тоже начинают действовать самопроизвольно; все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы «капризничают» без всякой внешней причины и т. д. и т. д. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом; я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю: пусть толкование фактам дают более сведущие; мое дело — рассказывать, что я видел.

К рассказу я и перехожу теперь и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне «почему?» и «зачем?» и буду отвечать лишь на вопрос: «что?» Да и то мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий: предел моих наблюдений был ограничен Октополем, так как за все время катастрофы я не покидал города. Я — маленький человек, пылинка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок слагается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю землю и даже, как говорят, всю вселенную.

II

Как началась катастрофа, я ничего не могу рассказать. Теперь известно, что первые грозные явления, так сказать, сигнал к общему восстанию, произошли на Центральной Станции. Но что там свершалось, какое чудовищное зрелище предстало людям, работавшим там,— не расскажет из них никто, потому что все они погибли до последнего. Теперь, по разным догадкам, стараются восстановить адски фантастическую сцену, разыгравшуюся в огромных подземных залах Станции: ливни внезапно вспыхнувших молний, целый потоп электрических разрядов, грохот, подобный миллиону громов, ударивших одновременно, сотни и тысячи людей,— инженеров, по-

мощников, рядовых рабочих,— падающих обугленными, уничтоженными, разорванными в куски или кривляющимися в мучительно-невероятной пляске... Но все это — лишь предположения, и, может быть, все происходило совсем не так. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю и ничего не знал в те минуты, скорее — мгновения, когда все это совершалось.

Примечательно, что нас, всю семью, разбудил, как всегда, утренний звонок, поставленный на 7.15. Следовательно, четверть восьмого утра аппараты еще действовали нормально, если только то не было дьявольской хитростью со стороны заговорщиков, не желавших, чтобы раньше времени узнали о начавшемся восстании. Мы зажгли свет, жена поставила на плитку автоматический кофейник, Андрей прибавил тепла в комнатах — и все наши распоряжения исполнялись аккуратно. Или катастрофа произошла несколько минут спустя, или в нашем доме действовал не ток со Станции, а местный аккумулятор, или, повторяю, мятежники коварно скрывали от жителей города истинное положение вещей... За стенами слышался обычный гул моторов и пропеллеров.

Я торопился, так как по пути на службу предполагал навестить своего друга Стефана, который был болен. Не желая терять времени, я попросил бабушку (так все в семье называли мою мать) сказать Стефану по телефону, что буду у него. Старушка взяла трубку городского телефона, поднесла ее к уху, нажала соответствующие цифры на таблице и, наконец, соединительную кнопку... И вдруг произошло нечто, чего мы сразу не могли понять. Бабушка трагически вздрогнула, вся вытянулась, подпрыгнула в кресле и рухнула наземь, выронив телефонную трубку. Мы бросились к упавшей. Она была мертва; это было несомненно по ее искаженному лицу и по отсутствию дыхания, а ухо, которое она держала у телефона, было прожжено, словно ударом молнии невероятной силы.

Мы глядели друг на друга и с отчаяньем и с удивлением. Конечно, сделаны были попытки привести старушку в чувство, но я сразу увидел, что это бесплодно. «Надо вызвать врача»,— сказал я и нагнулся, чтобы поднять телефонную трубку. Но жена бросилась ко мне одним прыжком, схватила меня за руку и закричала решительно: «Нет! Нет! Не трогай телефона! Ты видишь: в нем что-то испортилось! Тебя убьет, как бабушку!» Каким-то инстинктом Мария угадала правду, почти насильно,— так как я возражал и сопротивлялся,— не допустила меня до телефона и тем спасла мне жизнь — увы! напрасно! Много лучше для меня было бы погибнуть тогда, в самом начале ужасов, такой же мгновенной смертью, как моя бедная мать!

После недолгого спора мы решили было, что я немедленно поднимусь в 14-й этаж, где, как мы знали, жил молодой врач. Уже я направился к двери, как внезапно погас во всей квартире свет. Было уже достаточно светло на улице, но все же это явление нас поразило. И опять Мария,

с удивительной проницательностью, сразу определила совершающееся. «Что-то испортилось на Станции,— сказала она,— будь осторожен!» Потом она повелительно приказала Андрею не прикасаться более ни к каким кнопкам и рукояткам: чудесная прозорливость женщины, не спасшая, однако, ее самое! А я между тем уже был на площадке. К моему изумлению, там толпилось человек двадцать, встревоженных, взволнованных. Оказалось, что почти в каждой квартире случилось какое-нибудь несчастие: некоторые были убиты, как бабушка, при попытке говорить по телефону, другие получили страшный удар при прикосновении к рычагу телекинемы, третьих обварило вырвавшимся паром, одному заморозило руку из холодильника и т. д. Было ясно, что правильная работа машин нарушилась и что все провода таили теперь опасность.

Обменявшись бессвязными объяснениями, мы решили вызвать лифт. Долго никто не решался дать нужный сигнал. Наконец, какой-то пожилой человек отважился нажать кнопку. Мы смотрели на него со страхом, но он остался невредим. Однако каретка не появлялась: ток не действовал. После некоторого колебания я побежал вверх по лестнице, так как мне надо было пройти только 5 этажей. На всех площадках показывались испуганные лица; меня беспрерывно спрашивали, что случилось. Не отвечая, я добежал до квартиры врача и, уже не смея звонить, постучал в дверь кулаком. Доктор открыл мне сам, изумленный дикими стуками, так как я колотил, как сумасшедший. Он еще ничего не знал и выслушал мои сбивчивые объяснения не без сомневающейся улыбки; однако согласился тотчас идти к нам, чтобы оказать помощь бабушке, при этом успокаивал меня, что она, вероятно, лишь в обмороке.

Перед моим приходом доктор был занят какой-то работой в своей маленькой лаборатории, куда я прошел за ним из передней. Теперь, собираясь идти со мной, он хотел, должно быть, что-то герметически закрыть или, наоборот, что-то привести в действие. В точности я не знаю, что именно собирался сделать доктор, только, забыв о моих предостережениях или не обратив на них внимания, он небрежно протянул руку и взялся за какой-то рычажок, чтобы повернуть его. Очевидно, к рабочему столу доктора были приспособлены особые провода, только вдруг, на моих глазах, от рычажка отделилась синеватая искра величиною с добрую веревку и послышался роковой треск — род маленького грома. И доктор рухнул передо мною на ковер, пораженный насмерть этой домашней молнией... Я замер в <на этом текст обрывается>.





ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

РАССКАЗ НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА

I

Москве художественной и отчасти Москве светской известно было, что Борис Петрович Корецкий, наш знаменитый архитектор, ежедневно, вот уже десятый год, обедает у Анны Николаевны Нерягиной. Каждый день, около 7 часов вечера, можно было видеть, как экипаж Корецкого направлялся к Пречистенке, загибал в один из переулков, где еще сохранились старинные московские домики, и останавливался у подъезда маленького особняка. Корецкий звонил у подъезда, и, когда дверь отпирала все та же степенная горничная, входил в дом привычным движением, а кучер уезжал в ближайший трактир, чтобы вернуться за барином около 11 часов вечера.

Анна Николаевна Нерягина была еще молода и красива. Но никакие злые языки не могли сказать ничего предосудительного об ее отношениях с Корецким. Так как это кое-кого интересовало, то пускались в ход все средства домашнего сыска, вплоть до расспросов прислуги,— но приходилось увериться, что Корецкий был частым посетителем дома, и ничего более. Редко кто присутствовал на обедах у Нерягиной, большею частью за столом не было никого, кроме нее и Корецкого, но известно было, что никогда не позволял он себе по отношению к Анне никакой вольности, чего-либо большего, чем почтительный поцелуй руки. После обеда, если были в доме какие-либо посетители, пили кофе в гостиной и беседовали, но чаще Корецкий читал Анне вслух последний французский роман. Во всяком случае раньше полночи Корецкий уже был в своем клубе, где вел большую игру, и окна особняка, где жила Анна, темнели.

Молодежь больше ничего не знала о Корецком и Анне и только смеялась над забавной, идеальной связью с отцве-

тающей красавицей молодого, красивого и богатого человека, которому ни одна женщина не отказала бы в своем внимании. Но те, которым было под сорок и за сорок, могли бы рассказать немало любопытного об том, как возникли эти странные отношения.

Анна Нерягина появилась в московском обществе пятнадцать лет тому назад, когда она вышла замуж за состоятельного эксдипломата, будировавшего правительство и потому покинувшего Петербург. С первых же шагов Анна завоевала сердца всех мужчин своей красотой, своим умением блистать, смелой оригинальностью своего обращения с людьми. Вокруг нее тотчас составился широкий круг поклонников, которые твердили ей о ее красоте и о своей безумной любви. Корецкий тогда только что кончил курс Академии, начинал свою деятельность архитектора и был еще никому не известен. Он влюбился в Анну сразу́, по-юношески, но то была любовь редкая в наши дни: та, которая остается в душе на всю жизнь. Анна не оценила этого чувства, и, кажется, охотно смеялась над наивной страстью своего нового обожателя. Корецкий этого не вынес и однажды, вернувшись из дому Нерягиных, где бывал часто, выстрелил себе в грудь.

Поступок Корецкого Анну поразил. Она немедленно приехала к нему, просила у него прощения, сказала, что его не любит и не может полюбить, но предложила ему свою дружбу. Корецкий от своей раны выздоровел и с того времени сделался у Нерягиных, в лучшем смысле слова, «другом дома» и поверенным всех тайн Анны, даже тайн ее любви. По общему мнению, только ловкости Корецкого обязана Анна тем, что ее муж в течение двух лет ничего не подозревал о той благосклонности, с какой принимала она ухаживания некоторых из своих поклонников. Молва же приписывала ей одного любовника за другим и много говорила о каком-то основанном Анной обществе «гамадриад», где дамы лучшего круга, вместе с основательницей общества, предавались утонченному разврату.

Около двух лет Корецкий играл близ Анны эту роль наперсника, пока не свершилось неожиданной катастрофы. Анна влюбилась в проезжего итальянца, скрипача-виртуоза. Вся ловкость Корецкого оказалась в этом деле бесполезной, потому что Анна и не хотела скрывать своей страсти к итальянцу, но, напротив, надменно выставляла ее на вид. Когда же слухи об этом дошли, наконец, и до мужа, Анна, не задумываясь, покинула его дом и переехала к своему любовнику. Произошел, конечно, скандал, с которым немногое может сравниться в летописях московской жизни. Вскоре после того Анна вдвоем с итальянцем уехала за границу.

Никто в точности не знает, как жила Анна вне России. Уверяют, что итальянец обращался с нею дурно, всячески ее оскорблял, даже бил, обирал ее сколько мог и, в конце концов, просто прогнал. Из трех лет, что Анна провела за границей, она жила со своим любовником только несколько

первых месяцев. Потом, ослепленная любовью, она продолжала повсюду следовать за ним в его артистических поездках, писала ему умоляющие письма, все ждала, что он вернет ее к себе... Наконец, стало ясно, что надеяться более не на что. Тогда, осенью на четвертый год после своего отъезда из России, Анна вновь появилась в Москве. С мужем она к тому времени была уже в разводе.

Корецкий ни на день не терял Анну из виду. Он был с ней в постоянной переписке и много раз просил у нее позволения приехать к ней за границу, чтобы жить рядом и помогать ей в чем бы то ни было. Анна всегда отказывала. Но когда ей пришлось, наконец, порвать с итальянцем и вернуться в Москву, она не нашла никого другого, к кому обратиться, кроме Корецкого. Это Корецкий нашел для нее тот особняк, где она поселилась, и хлопотал обо всем устройстве ее нового дома. Когда же Анна окончательно устроилась в Москве, Корецкий сделался ее постоянным и почти единственным посетителем.

Надо сказать, что иные жители переулка, узнав, что особняк снят Анной Нерягиной, пришли в немалое волнение. Они даже негодовали на хозяина дома, сдавшего его такой порочной женщине, которая, конечно, не преминет всю местность опозорить своим поведением. Но уже через несколько недель после появления Анны выяснилось, что она намерена вести жизнь очень скромную. Кроме Корецкого, она почти никого у себя не принимала, отказывалась возобновить отношения даже с теми из старых знакомых, которые сами этого добивались, редко куда выезжала и вообще не давала никаких поводов говорить о себе. Лето Анна проводила в имении у тетки, отдельно от Корецкого, который всегда весной уезжал за границу.

Годы проходили за годами. Поколение, помнившее о Анне, как о надменной красавице, законодательнице мод, сходило со сцены. Стала изглаживаться и память о давнем скандальном деле, о том, как жена русского аристократа убежала с скрипачом-итальянцем, а тот ее бросил. На глазах у всех была только трогательная преданность Корецкого Анне. Корецкого жалели, над ним смеялись, но об Анне уже все говорили с уважением.

II

В тринадцатую годовщину того дня, когда Анна покинула дом своего мужа, Корецкий, по обыкновению, обедал у нее.

После обеда, за кофе, Анна спросила Корецкого:

— Вы читаете газеты?

— Вы хорошо знаете,— ответил он,— что вот уже несколько лет как я отучаю себя от этого яда. Конечно, полезно делать себе утром предохранительную прививку пошлости,— это несколько оберегает в течение дня. Но, увы! Наши га-

зеты предлагают нам пошлость в слишком больших дозах

— Тогда прочтите вот это.

Анна указала место в газете. То было известие о смерти того скрипача-виртуоза, с которым когда-то Анна уехала из России.

Прочтя заметку, Корецкий с легким поклоном возвратил газету, и разговор перешел на другие новости. После обеда Корецкий читал Анне вслух только что вышедшие пнсьма Сент-Бева. Но когда чтение кончилось и было уже время Корецкому распрощаться, он неожиданно попросил позволения затворить дверь, чтобы переговорить о важном деле. Изумлениая, Анна позволила.

Корецкий сказал:

— Анна! Пятнадцать лет тому назад вы мне объявили что ие любите меня и ие полюбите никогда. Я вам ответил что буду вас любить всегда. Я свои слова оправдал; может быть, оправдали и вы. Но разве, кроме любви, нет ничего что связывает одного человека с другим? Разве я не стал необходимой частью вашей жизни, хотя вы меня по-прежнему ие любите? Как стали бы вы жить, если бы я не приходил к вам каждый деиь и если бы в деревне вы не ждали каждый день моего письма? Вы моей преданностью связаиы со мной теснее, чем связывает страсть. Пока был жив тот человек, я не хотел говорить вам о иашей близости ни слова. У вас, может быть, еще оставалась безумная надежда, что он вновь вас захочет видеть, позовет вас... Но он умер. Прошлое все кончилось. Теперь ясно, что наша близость не нарушится до конца наших дией. Я никогда не захочу отойти от вас; а вам иекуда уйти. Хотите, Анна, утвердить этот союз? Я вам предлагаю, я вас прошу — быть моей жеиой.

Аина выслушала всю эту речь молча, потом ответила коротко:

— Я слишком дорожу нашей жизиью. Не хочу и боюсь нарушать ее чем бы то ни было. Действительно, вы бесконечио близки мне как мой друг. Я безмерно благодарна вам за вашу преданность. Но не знаю, остались ли бы мы столь же близкими как муж и жена. Итак, устраиим этот вопрос навсегда.

Корецкий, не возражая, простился и уехал.

Однако через несколько дней ои вернулся к тому же разговору.

— Вы мне запретили говорить о моей любви к вам,— сказал он.— Но с того дия, как вы сообщили мне о смерти человека, которого вы любили, я более не в силах молчать. Пока он был жив, вы были вправе мне ответнть: я люблю другого. Теперь вам нечего сказать мне. Я не прошу у вас любви — это ие в нашей власти. Я предлагаю вам принять все то же, что вы принимали от меня до сих пор, ио на правах моей жены. Я буду по-прежнему как бы ваш раб, предаиный и покорный. Вы можете быть уверены, что я не

потребую от вас ничего против вашего желания. Но неужели моя верность не заслуживает такой скромной награды, как признание ее перед нашим светом!

Анна, как и в первый раз, ответила Корецкому тихо и твердо:

— Я уже вас просила не говорить об этом.

И все же этот разговор стал возобновляться, сначала при каждом удобном случае, потом каждый день... А потом — другой темы для разговора у Корецкого и Анны не стало.

— Ваше согласие быть моей женой было бы наградой за мою преданность,— повторял Корецкий,— и оно ни к чему не обязывало бы вас.

— Я не хочу пустых форм без содержания,— возражала Анна,— я не хочу считаться вашей женой, когда не могу быть ею по совести.

Когда Корецкий продолжал настаивать, Анна говорила ему:

— Я не понимаю, как для вас может иметь какое-либо значение одно звание моего мужа? И не понимаю, как верность и преданность могут ждать какой-либо награды?

Много раз на такие вопросы Корецкий отвечал уклончиво, прибегая ко всем исхищрениям своей диалектики, но наконец сказал прямо:

— Вы правы, Анна. Я до сих пор лгал и лицемерил. Я говорил о имени вашего мужа, о награде за свою преданность, тогда как разумел другое. Дело в том, что я люблю вас так же страстно, как любил двадцатилетним юношей. Годы ничего не изменили в моем обожании вашей души, вашего тела, всего вашего существа. По-прежнему, как мальчик, я дрожу при мысли о том, что прикоснусь губами к вашим губам. Неужели этому не суждено осуществиться никогда? Я ждал пятнадцать лет. Я пятнадцать лет говорил вам «вы». Я доказал вам, что люблю вас,— всем: верностью, заботливостью, самопожертвованием... Чтобы не уступить такой любви, надо быть из камня. Или я вам так отвратителен, что вам нестерпимо мое прикосновение? Почему же вы не сказали мне этого давно? Зачем же обманывали меня, притворяясь, что расположены ко мне? Зачем же принимали мою дружбу?

В волнении Анна попыталась его успокоить:

— Не надо этого разговора! Именно потому, что вы дороги мне, что я ценю вашу верность, я и не хочу обманывать вас притворной нежностью. Я вам даю то, что могу дать искренно, от всей души. Не спрашивайте с меня большего.

Корецкий, потеряв над собой власть, бросил Анне оскорбительные слова:

— Вам тридцать шесть лет! Это возраст, когда женщина не увлекается, как девочка, но когда все ее существо требует, чтобы с нею был мужчина. Десять лет вы отказывали мне в настоящей близости. Хотите ли вы заставить меня поверить, что у вас есть кто-то другой как любовник?

Побледнев, Анна возразила:

— Я не угадывала, как много низости вы ловко умели таить в течение пятнадцати лет.

Она встала. Корецкий схватил ее за руку, пытался обнять, повторял:

— Я люблю тебя! Я хочу тебя!

Анна освободилась из его рук и вышла из комнаты.

III

Так вырвалась на волю страсть, таившаяся пятнадцать лет.

Встречи Корецкого и Анны превратились в мучительные поединки мужчины и женщины.

Внешние формы их жизни не изменились. Корецкий приезжал к Анне к обеду, оставался у нее всего несколько часов и раньше полночи появлялся в своем клубе. Как всегда, он был строго корректен, ничем не выдавал переживаемой им драмы.

Но каждый день между Корецким и Анной возобновлялась трагическая распря предыдущего дня. Тема их разговора не менялась. Корецкий требовал любви, Анна отказывала ему. С каждым днем Корецкий становился более настойчивым, более упорным. В эти часы, наедине с Анной, он терял свою обычную сдержанность.

Он становился на колени перед Анной, он обнимал ее ноги, он ее умолял, он ее убеждал, он ее проклинал. Когда она сопротивлялась, старалась освободиться, он силой добивался ее поцелуев, порой опрокидывал ее на ковер, и они боролись, лежа, стараясь не делать шума, чтобы не услышали в соседней комнате. В порыве борьбы Корецкий порой рвал платье Анны, а она ударяла его по лицу, вырываясь. Безобразные сцены происходили между этими людьми, которые в течение десяти лет избегали резкого выражения, резкого движения.

Теперь они говорили друг другу самые беспощадные, самые грубые слова.

— У тебя были десятки, сотни любовников!— говорил Корецкий Анне.— Неужели я хуже всех этих мужчин? Неужели тебе более противны мои ласки, чем какого-то итальянца, который презирал тебя!

— Да! да!— кричала ему Анна.— Ты мне противен, ты мне ненавистен! Я лучше отдамся последнему из прохожих, пойду продаваться на улицу, чем буду твоей!

Эти ожесточенные сцены не мешали им встречаться на следующий день и, словно по уговору, возобновлять спор с того места, на котором он остановился вчера.

Очень вероятно, что, если бы им представилась возможность вернуться к прежней мирной жизни, оба они, и Анна и Корецкий, схватились бы за эту возможность. Но уже нель-

зя было забыть произнесенных слов и поставленных Корецким требований. Мирная жизнь, которая в течение десяти лет баюкала все существо Анны, была безнадежно разломана. Оставалось или отказаться ото всего, что создалось за эти годы, от всего уклада жизни, от ее усыпляющего спокойствия и уюта, или уступить желаниям Корецкого. Тринадцать лет тому назад Анна нашла в себе достаточно сил и воли, чтобы переломить одно свое существование пополам и смело начать новое, но многие ли способны совершить такой подвиг в жизни дважды? Между тем, отвечая упорно «нет» на все настроения Корецкого, Анна делала и второй выход все более трудным: мечта разгоралась так пламенно, что действительность не могла ее не обмануть.

Такое положение длилось около двух месяцев. Наконец настало утомление. В словах Корецкого стало сказываться меньше страсти, в поступках меньше исступления. Так, понемногу, могла отцвесть, тихо поблекнуть и вся его любовь.

Анна вдруг решилась.

В один из их вечеров она сказала Корецкому:

— Друг мой! Пора окончить наш спор, недостойный нас. Сейчас мы безумны и не можем рассуждать здраво. Я хочу исцелить нас обоих. Сегодня я не буду сопротивляться вашим желаниям. Напротив, я прямо скажу вам, что хочу вам принадлежать. Я хочу отдаться тебе. Подойди и возьми меня.

Пораженный Корецкий спросил:

— Но ведь ты не любишь меня? Ты меня ненавидишь?

Анна ответила грустно:

— Если бы десять лет назад ты спросил у меня то же, что потребовал недавно, я уронила бы себя в твои объятия с последней радостью. Первые годы я ждала этого с тайной надеждой. Я берегла свое тело, я заботилась об нем для тебя. Потом я от своей мечты должна была отказаться. Я решила, что после всего совершившегося тебе не нужна я, как женщина. Что теперь осталось во мне? Обесцвеченная страсть и усталое тело. Я забыла, я утратила все слова любви, которые слишком часто обращала к тебе, когда оставалась одна. Я больше не найду всех движений ласки, которые столько раз простирала к тебе во сне. И я уже не хотела отдавать тебе обломков того прекрасного целого, взять которое ты не захотел... Но если ты хочешь меня — возьми.

Корецкий воскликнул:

— Так ты любишь меня! Боже мой! Ты любила меня все эти десять лет!

— Я любила тебя все десять лет,— произнесла Анна.

Корецкий слишком желал верить в то, что ему говорила Анна, чтобы он мог заподозрить правду ее слов. Призыв Анны слишком нежил его слух, чтобы он мог в ее голосе различить притворство,— даже если оно было... Корецкий стал на колени перед Анной и прижался губами к ее руке.

IV

В тот вечер Корецкий вышел от Нерягиной позже обыкновенного. Он все же поехал в клуб, играл в карты и проиграл довольно большую сумму. Это было ему досадно.

Вернувшись домой, он к своему изумлению нашел, что вместо чувства удовлетворения в душе у него какое-то растерянное сомнение. Он заставил себя думать о Анне, и поймал себя на том, что ему страшно ожидание новых с нею свиданий.

Тут в первый раз ему пришла мысль — немедленно уехать из Москвы.

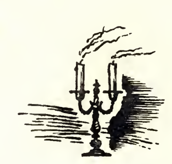
Он лег в постель и долго читал новый томик Анатоля Франса.

Утром Корецкий проснулся с твердым намерением — ехать. Он позвал своего слугу и приказал взять билет в Вену. Потом сел писать письмо к Анне. Разорвав несколько листов бумаги, Корецкий решил, что все же благороднее переговорить с Анной лично.

Было только двенадцать часов дня, но Корецкий решил ехать к Анне немедленно.

Что-то необычное поразило его в самом облике дома Анны. Он позвонил у подъезда уже со смутным беспокойством. Отворила дверь все та же степенная горничная. Лицо ее было заплакано.

В доме уже слышался унылый голос монахини, читавшей над телом Анны.





ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ

I

15 сентября

Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро.

В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! что за ряд мучительных дней предстоит!

Говорят: пришла полиция.

В тот же день

Кто только не терзал меня сегодня!

Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге...

Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это — господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.

— Сколько ваш муж хранил дома денег?

— Не знаю.

— Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?

— Не знаю.

— С кем ваш муж чаще встречался последнее время?

— Не знаю.

— Тэк-с.

Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.

Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.

Я ответила, что нет,— разве только политических врагов мужа. Виктор по убеждению был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.

Моя догадка, кажется, разумная, но следователь непристойно покачал головой в знак сомнения. Он мне дал подписать мои ответы и сказал, что еще вызовет меня к себе; в свою камеру.

После следователя приехала maman.

Входя ко мне, она почла долгом вытирать глаза платком и раскрыть мне объятия. Пришлось сделать вид, что я в эти объятия падаю.

— Ах, Nathalie, какое ужасное происшествие.

— Да, maman, ужасное.

— Страшно подумать, как мы все близки от смерти. Человек иногда не предполагает, что живет свой последний день. Еще в воскресенье я видела Виктора Валериановича живым и здоровым!

Произнеся еще должное число восклицаний, maman перешла к делу.

— Скажи мне, Nathalie, у вас должно быть хорошее состояние. Покойный зарабатывал не менее двадцати тысяч в год. Кроме того, в позапрошлом году он получил наследство от матери.

— Я ничего не знаю, maman. Я брала те деньги, которые мне давал Виктор на дом и на мои личные расходы, и больше ни во что не вмешивалась.

— Оставил покойный завещание?

— Не знаю.

— Почему же ты не спросила его? Первый долг порядочного человека — урегулировать свои денежные дела.

— Но, может быть, и завещать было нечего.

— Как так? Вы жили гораздо ниже своих средств. Куда же Виктор Валерианович мог расходовать суммы, поступавшие к нему?

— Может быть, у него была другая семья.

— Nathalie! Как можешь ты говорить так, когда тело покойного еще здесь, в доме!

Наконец, мне удалось дать понять maman, что я устала, совершенно изнемогаю. Maman опять стала вытирать глаза платком и на прощание сказала:

— Такие испытания нам посылаются небом как предостережение. О тебе дурно говорили последнее время, Nathalie. Теперь у тебя есть предлог изменить свое поведение и поставить себя в обществе иначе. Как мать, даю тебе совет воспользоваться этим.

Ах, из всего, что мне придется переживать в ближайшие дни, самое тяжкое — это визиты родственников и знакомых, которые будут являться, чтобы утешать и соболезновать. Но ведь «нельзя же нарушать установившиеся формы общежития», как сказала бы по этому поводу моя мать.

Еще в тот же день

Поздно вечером приехал Модест. Я велела никого не принимать, но он вошел почти насильно,— или Глаша не посмела не впустить его.

Модест был, видимо, взволнован, говорил много и страстно. Мне его тон не понравился, да и я без того была замучена, и мы почти что поссорились.

Началось с того, что Модест заговорил со мною на «ты». В нашем доме мы никогда «ты» друг другу не говорили. Я сказала Модесту, что так пользоваться смертью — неблагородно, что в смерти всегда есть тайна, а в тайне — святость. Потом Модест стал говорить, что теперь между нами нет более преграды и что мы можем открыто принадлежать друг другу.

Я возразила очень резко:

— Прежде всего я хочу принадлежать самой себе.

Под конец разговора Модест, совсем забывшись, стал чуть не кричать, что теперь или никогда я должна доказать свою любовь к нему, что он никогда не скрывал ненависти своей к моему мужу и многое другое, столь же ребяческое. Тогда я ему прямо напомнила, что уже поздно и что в этот день длить его визит совершенно неуместно.

Я достаточно знаю Модеста и видела, что, прощаясь со мной, он был в ярости. Щеки его были бледны, как у статуи, и это, в сочетании с пламенными глазами, делало его лицо без конца красивым. Мне хотелось расцеловать его тут же, но я сохранила строгий вид и холодно дала ему поцеловать руку.

Разумеется, наша размолвка не будет долгой; мы просто встретимся следующий раз, как если бы никакой ссоры не было. Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно привлекательное, и я не сумею лучше определить это «что-то», как словами: ледяная огненность... Крайности темпераментов причудливо сливаются в его душе.

II

18 сентября

Три дня вспоминаю, как самый тягостный кошмар.

Следователь, судебный пристав, пристав из участка, соболезнующие родственники, нотариус, похоронное бюро, поездки в банк, поездки к священнику, бессмысленные ожидания в приемных, не менее бессмысленные разговоры, чужие

лица, отсутствие своего, свободного времени,— о, как бы поскорее забыть эти три дня!

Выяснились две вещи. Во-первых, додумались, что убийство было совершено из мести, так как муж дома денег никогда не хранил (теперь и я это вспомнила). К тому же и бумажник его, бывший у него в кармане, остался цел. Но как убийца проник к нам в квартиру, в бельэтаж, понять никак не могут.

Во-вторых, стало известным, что существует духовное завещание мужа. Ко мне приезжал нотариус, чтобы сообщить это. Он намекал, что главная наследница — я, и что предстоит мне получить не мало.

Похороны, ввиду вскрытия тела, отложены. Я предоставила всеми делами распоряжаться дядюшке. Конечно, он наживет на этом деле не меньше, как тысячи полторы, но, право, это цена не дорогая за избавление от таких хлопот.

Модест не заезжал ко мне ни разу, но не обращусь же к нему я первой!

Зато я не отказала себе в маленьком развлечении и на час поехала к Володе.

Милый мальчик обрадовался мне страшно. Он стал предо мною на колени, целовал мне ноги, плакал, смеялся, лепетал.

— Я думал,— говорил он,— что я не увижу тебя много, много дней. Какая ты добрая, что пришла. Так ты любишь меня на самом деле!

Я ему клялась, что люблю, и действительно любила в ту минуту за наивность его радости, за настоящие слезы в его глазах, за то, что весь он — слабый, тонкий, гибкий, как стебель.

Что-то давно я не была у Володи, и меня удивило, как он убрал свое помещение. Все у него теперь подобрано согласно с моим вкусом. Темные портьеры, строгая мебель, нигде никаких безделушек, гравюры с Рембрандта на стенах.

— Ты переменил мебель,— сказала я.

Он ответил, краснея:

— Прошлый раз, после твоего ухода, я опять нашел сто рублей. Я ведь дал слово, что не возьму себе ни копейки твоих денег. Я истратил их все на то, чтобы тебе было хорошо у меня.

Разве это не трогательно?

Конечно, и он заговорил о перемене в моей судьбе, но робко, сам пугаясь своих слов.

— Ты теперь свободна... Может быть, мы будем встречаться чаще.

— Глупый,— возразила я,— время ли думать об этом? Мой муж еще не похоронен.

У Володи были припасены фрукты и ликер. Я села на диван, а он стал подле на колени, смотрел мне в глаза и говорил:

— Ты — прекрасна. Я не могу придумать лица красивее. Мне хочется целовать каждое твое движение. Ты пересоздала

меия. Только узнав тебя, я иаучнлся видеть. Только полюбнв тебя, я научнлся чувствовать. Я счастлив тем, что отдал себя тебе — совсем, безраздельно. Мое счастие в том, что все мон поступки, все мои мыслн н желания, самая моя жизнь — завнсят от тебя. Вне тебя — меня нет...

Такне слова нежат, как ласка любнмой кошки с пушнстой шерстью. Ои говорнл долго, я долго слушала. Детские интонацни его голоса меня гипнотизировали, убаюкнвали.

Вдруг я вспомнила, что пора ехать. Но Володя прншел в такое отчаяние, так умолял меня, так ломал руки, что я не в силах была ему отказать...

Быть может, дурио, что я нзменяю праху моего мужа. У меня в душе осталось какое-то темиое чувство неловкости. Я ннкогда ие испытывала этого, изменяя живому. Есть таинственная власть у смерти.

III

19 сентября

Люблю ли я Володю?

Вряд ли. В нем мне иравится мое создание. Какой ои был дикий, когда мы встретились с ннм в Венеции! Он ни о чем не умел нн думать, ни говорнть, кроме тех политнческих вопросов и дел, из-за которых ему пришлось укрываться за граннцей. Я в его душе угадала иной облнк, совсем как скульптор, который угадывает свою статую в иеобделаниой глыбе мрамора.

Ах, я много потрудилась над Володей! Положим, какое единственное было место для воспнтання душн: золото-мраморный лабиринт города Беллинн и Сансовино, Тнцнана и Тинторетто! Мы вместе слушалн с гондол майские «серенады», мы ездилн в «дом сумасшедших», навсегда освященный именамн Байрона и Шеллн, мы, в темных церквах, могли вволю насыщать глаза красочнымн снмфоннямн мастеров Ренессанса! А потом я читала Володе стихн Фета и Тютчева.

Говорят, можно видеть, как растет трава. Я воочню вндела, как преображалась душа юношн и в то же время преображалось его лнцо. Его чувства стаиовнлнсь сложнее, его мыслн — тоньше, но нзменнлись н его речь, и его глаза, н его голос! До меня был «товарнщ Петр» (как его звали «в партии»), иеловкий, грубый; я создала Володю, моего Володю, утонченного, красивого, похожего на юношу с портрета Ван-Днка.

А потом! Ведь он мие сознался,— да и не трудно было догадаться,— что я была первая жеищина, которой он отдался. Я взяла, я выпнла его невинность. Я для иего — снмвол женщины вообще; я для него — воплощение страсти. Любовь он может представлять лншь в моем образе. Одно мое прнближеине, веянье моих духов его опьяияет. Еслн я

ему скажу: «пойди — убей» нли «идн — умри», он исполнит, даже не думая.

Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он — мой, он — моя собственность, я его сделала и имею все права на него...

В нем я люблю опасность. Наша любовь — тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я знаю, что *может* победить *он*. Тогда я буду его рабой. Это — страшно, н это — соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.

Модест для меня загадка, я не распутала еще нитей его души, да и распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он — художник, и сильный художник,— никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.

В Володе я люблю *его* любовь ко мне. В Модесте — возможность *моей* любви к нему. Только *возможность,* потому, что я употреблю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.

IV

23 сентября

Похороны состоялись вчера. Описывать их было бы скучно. Все говорили, что в трауре я была очень эффектна.

Во время последней панихиды с Глашей сделался истерический припадок. Такая чувствительность странна. Не была ли она влюблена в Виктора, или даже не были ли они в близких отношениях? Я всегда старалась не вникать в эти дела.

Стало известно и завещание Виктора. Он был очень мил и, за исключением мелких сумм, завещанных его родственникам, отказал все мне. Выяснилось, что у него было процентными бумагами и акциями разных предприятий около 250 000 рублей. Я не предполагала, что у нас так много денег.

Признаюсь, ощущение себя женщиной если не богатой, то состоятельной было мне очень приятно. В деньгах есть сила, и, узнав размеры наследства, я испытала такое ощущение, словно некоторое войско, мне подвластное, стало на мою защиту. Как это ни смешно и даже как это ни позорно, но в душе я почувствовала прилив самоуверенности и гордости...

Перед самыми похоронами у меня было объяснение с

Модестом. Он кротко просил у меня прощения за свое нелепое поведение в день убийства и просил провести с ним целый день. По его словам, ему надо мне сказать нечто очень важное и он не в силах сделать это в обычной обстановке. Мы поедем за город.

Как могла я ему отказать? Да и мне самой, после целой недели всевозможных тягот, завершившихся бесконечным похоронным обедом, так будет сладостно иа день перенестись в другой мир! Я обещала.

В тот же день

Где есть деньги, там всегда появляются разные темные личности. Вот почему сегодняшнее посещение меня нисколько не удивило.

Глаша доложила мне, что меня, по важному делу, хочет видеть какой-то Сергей Андреевич Хмылев,— «очень добиваются». Я велела его пустить.

Вошел человечек гнусного вида, худой и низенький, с лицом безбородым, в сером обтянутом пиджаке. Поклонился он с почтительностью преувеличенной, сел на самый кончик стула и долго говорил, голосом неприятным, в нос, какую-то околесицу. Когда я уже начала терять терпение, он заговорил осмысленнее.

— Вам, сударыня, так будет покойнее. Где же вам самой хлопотать обо всем: это дело не женское. Я потому что знал еще покойного родителя вашего, всегда мне удовольствие заслужить вам. Выдадите вы мне эти двадцать тысяч, и все останется вполне благородно. Со мной, вы мне можете поверить, всякая тайна, как ко дну ключ.

Я его спросила:

— Это вам я должна дать двадцать тысяч рублей? По какой же причине?

— А насчет убийства покойного вашего мужа.

— Что же, это вы его убили?

Спросила я это нарочно, чтобы заставить собеседника прямо перейти к сути, но его мой вопрос не удивил нисколько.

— Никак нет-с, я не убивал. А только вы сами извольте знать, какое беспокойство, если затянется следствие, пойдут допросы, кто, да что, да как. Опять же, иногда и в виде меры пресечения — тюрьма-с. Наконец, если будут докапываться, мало ли до чего дознаются...

Мне надоели намеки и недомолвки, и я сказала:

— Послушайте, мне некогда. Говорите прямо, что вам нужно. Вы не хуже меня знаете, что даром денег не дают. Объясните, что вы мне предлагаете и за что я вам должна по вашему мнению, заплатить двадцать тысяч.

Или мне это показалось, или лицо Хмылева стало наглым до чрезвычайности. Он отвечал мне, смотря в сторону, но уже вполне определенно:

— Я, сударыня, предлагаю вам дело покончить. Вы ничего знать не будете, и от вас ничего не потребуется, только все будет сделано. Убийца сам объявится и повинится, и следствие будет прекращено. Так что никаких обстоятельств более не откроется. Лишнего я с вас ни копейки не спрошу. В ту сумму все включено-с, и кого надо подмазать, и что надо заплатить главному лицу, и наше вознаграждение-с...

После таких слов я встала и спросила:

— Итак, это — шантаж?

— Поверьте, сударыня,— возразил мне Хмылев,— что мне достанется самая малая толика. Мы люди маленькие. Нас тут четверо работают, и я, почитай, все должен буду другим отдать. Разве я посмел бы с вас такие деньги спрашивать? Особливо, как я честь имел вашего покойного папеньку знать...

Я позвонила и приказала Глаше:

— Проводите этого господина.

Хмылев тоже встал и без всякого смущения добавил:

— Тысчонку-другую мы, может быть, и скинули бы.

— Пойдемте, дяденька, нехорошо,— сказала Глаша.

Когда дверь за Хмылевым была заперта, я спросила Глашу:

— Вы знаете этого г. Хмылева?

— Как же-с, он мой дядя...

— Ну, извините, Глаша, не слишком хороши ваши родственники. Потрудитесь больше его никогда не допускать ко мне.

— Простите, барыня,— сказала Глаша,— он точно человек, не совсем при своей чести состоящий...

Кажется, я довольно точно записала обороты речи Хмылева. Думается мне, что он юродствовал нарочно, так как не хотел говорить прямо. Но что скрывается за его двусмысленными словами? Только ли угроза обличить мои отношения с Модестом или большее?

V

25 сентября

Надо описать мою поездку с Модестом.

Прежде всего вмешалась почему-то Лидочка.

Когда я приказала заложить лошадь и сказала, что поеду в Любимовку, Лидочка стала упрашивать взять ее с собой.

— Милая, хорошая Наташа, позволь мне ехать тоже. Мне так хочется. Я буду такая счастливая с тобой.

Я ответила, что хочу отдохнуть, хочу быть одна.

Тогда Лидочка вдруг приняла вид серьезный, сдвинула маленькие бровки, даже побледнела и сказала:

— Ты — в трауре, тебе неприлично уезжать одной на целый день из дому.

— В уме ли ты, Лидочка? Это не твое дело.

— Нет, мое! Ты — моя сестра, и я не хочу, чтобы о тебе плохо отзывались.

Конечно, я сделала Лидочке выговор за ее неуместное вмешательство, она расплакалась и ушла в свою комнату. Но, должно быть, maman была права и обо мне «дурно говорят», если это уже замечают дети...

Во всяком случае все convenances[1] были соблюдены, так как мы с Модестом ехали в разных поездах. Я два часа проскучала одна в пустом вагоне, и Модест встретил меня уже на нашей деревенской платформе. Он был в охотничьей куртке и в маленькой шапочке, что очень ему шло.

Мне, после двухчасового молчания, хотелось говорить и смеяться, и свежий воздух открытых, опустелых полей опьянил меня, как шампанское. Но Модест, как, впрочем, все последние дни, был молчалив, сдержан. Он молчал почти всю дорогу от станции до имения, и мне оставалось только любоваться осенним простором и синим, синим, синим небом.

В усадьбе Никифор встретил меня почтительно: видно, до него уже долетела весть, что я — наследница после Виктора.

Когда мы остались одни, за самоваром, Модест сказал мне:

— Мне надо сказать тебе, Талия, нечто очень важное. Самое важное изо всего, что я говорил тебе в жизни.

— Говори.

— Не здесь. После. В лесу.

После чая мы пошли в лес. День был ясный. «Тютчевский», «как бы хрустальный». В безоблачности неба была непобедимая кротость. Казалось, природа говорила подступающей зиме: распинай меня, убивай меня, приму муки покорно, умру без жалобы...

Я бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. Я пела песенки, как бывало в пятнадцать лет, гуляя с влюбленными в меня гимназистами. Увидев белку, спасшуюся от меня на самую вершину сосны, я обрадовалась, как дитя. Ах, в каждом человеке таится жажда первобытной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, когда человек бродил вместе со зверями по девственным лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах!

Мы дошли до Марьиного обрыва и сели там на скамейке над речкой. Я ждала обещанного важного разговора. Модест, против обыкновения, не находил, по-видимому, слов. Потом, как-то с трудом произнося слова, спросил:

— Ответь мне со всей откровенностью и со всей решимостью: любишь ли ты меня и любишь ли меня одного?

Эти слова были таким диссонансом в гармонии осеннего дня и моей радости! Но я давно знаю, что говорить правду мужчинам нельзя, и ответила покорно:

---

[1] приличия *(фр.)*.

— Да, Модест, я люблю тебя одного.

После нового молчания Модест опять спросил меня что-то подобное же, и я опять, не споря, дала ему условный, стереотипный ответ.

Мне казалось, что Модест не смеет сказать мне то, ради чего позвал меня сюда. Когда уже мне стало холодно и пора было уходить, Модест, как бы решившись заговорил:

— Талия! когда, в тот день, я начал говорить с тобой о перемене, произошедшей в нашей жизни, ты мне приказала замолчать. Но я должен тебе сказать, что́ я думаю, потому что от этого зависит для меня все. Я знаю, что ты любила многих до меня и что я для тебя был просто новой, интересной игрушкой. (Я хотела возразить, но Модест сделал мне знак молчать.) Но я тебя люблю не так, а по-настоящему, любовью ожесточенной и неограниченной. Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного общества, играющего в любовь. Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно. До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг все переменилось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты — моя, и моя навсегда. И если ты, как только что ты сказала, меня *любишь* (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.

— Ты мне делаешь предложение, Модест?— спросила я.

— Да, я тебе предлагаю быть моей женой.

— Не слишком ли рано, через десять дней после смерти мужа?

Модест встал и сказал сурово, жестко, почти деловым тоном:

— Если все это было игрой в любовь, скажи мне откровенно, Талия. Я уйду. Если же ты хочешь моей любви, я требую — слышишь! — требую, чтобы ты стала моей женой...

Я попыталась обратить разговор в шутку. Модест настаивал на ответе. Я попросила несколько дней на то, чтобы обдумать ответ. Модест подхватил мои слова и в выражениях формальных предложил мне месяц... Я, смеясь (но, сознаюсь, деланным смехом), согласилась.

Когда мы шли обратно к усадьбе, я сказала, стараясь шутить:

— Какая тебе корысть, Модест, что я стану твоей женой? Если я обманывала Виктора с тобой, почему я не буду обманывать тебя с другим?

— Тогда я убью тебя,— сказал Модест.

— Полно! — возразила я.— Убить может дикарь, пьяный

мужик, прежде могли рыцари и итальянские синьоры. Ты убить не способен.

— Современный человек,— ответил Модест очень серьезно,— должен все уметь делать: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать.

Больше мы не говорили ни о чем важном. Мне показалось, однако, что предложение, сделанное мне Модестом, было не все то, ради чего он звал меня провести с ним день за городом. Чего-то он так и недоговорил.

Я вернулась домой с последним поездом, ночью поздно. В дверях мелькнуло мне заплаканное и гневное личико Лидочки. Я предпочла не объясняться с ней и прямо прошла к себе.

VI

26 сентября

Поездка с Модестом оставила в моей душе неприятное впечатление. Сегодня я уже думала о том, что его требования не то дерзки, не то смешны. Я жалела, что не сказала ему это тогда же. Но мне было слишком хорошо на воле, в лесу, и я была с ним добрее, чем следовало.

Когда сегодня ко мне пришел Володя, я ему обрадовалась искренно. Насколько милее, подумала я, этот ласковый мальчик, для которого блаженство один мой поцелуй и который отдает всего себя, не требуя ничего. На что мне Модест, серьезно говорящий о том, как он убьет меня, если можно так легко, так просто быть счастливой с Володей! Трагедии прекрасны на сцене и в книгах, но в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!

Оказалось, однако, что и Володя — тоже мужчина и что все мужчины на один лад. (Давно бы пора мне в этом убедиться!)

Уже по одному тому, что Володя отважился прийти ко мне, я могла догадаться, что случилось нечто особенное При жизни мужа Володя никогда не бывал у меня в доме Когда же Володя вошел в гостиную, я увидела, что он расстроен до последнего предела. Такой он был грустный и жалкий, что я, если бы не боялась, что Лидочка подсматривает, тут же схватила бы его за подбородок и расцеловала бы в заплаканные глаза.

Сначала Володя уверял, что ничего не случилось.

— Просто я не видал тебя слишком долго (в самом деле я не была у него целую неделю!). Мне стало недоставать тебя, как в подземелье недостает воздуха. Дай мне подышать тобой.

Я постаралась так обласкать его, что он признался. Впрочем, он всегда в конце концов признавался мне во всем.

Объяснилось, что он получил анонимное письмо, написан-

ное не без грамматических ошибок (может быть, намеренных?), в котором сообщалось, что я — любовница Модеста. Передав мне конверт, Володя, конечно, начал рыдать и уверял, что сейчас же пойдет и убьет себя, так как существовать он может лишь в том случае, если я принадлежу ему одному.

— Глупый! — сказала я ему,— как же ты существовал до сих пор, пока был жив мой муж?

— Ведь ты же его не любила, ведь это была случайность, что ты его встретила раньше, чем меня.

Что было делать? Мне так хотелось, после суровости Модеста, вновь увидеть счастливое лицо Володи, услышать его детские, восторженные клятвы, что я сказала ему все то, чего он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо — вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной себе самой, что это не моя обязанность, а мое желание, и так далее, без конца...

Володя утешился быстро, поверил безусловно и робко заговорил о будущем.

— Теперь ты свободна. Почему бы нам не уехать за границу? Здесь у тебя столько дел, связей, отношений. Я понимаю, что тебе здесь невозможно открыто признаться в твоей любви ко мне. Я — еще мальчик, тебя могли бы осудить (это он сказал совершенно наивно). Но где-нибудь в Италии, где нас никто не знает, мы могли бы жить друг для друга. Наша жизнь стала бы осуществленной сказкой. День, ночь, дождь, солнце — все было бы для нас счастием...

Ах, глупый, глупый! Он очень мил, как маленькая подробность жизни, но если бы мне опять пришлось провести с ним вдвоем несколько недель, я бы зачахла от тоски и однообразия. Он бы замучил меня и своей невинностью, и своей экзальтацией. Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя блюдами, но смысл ужину придают густое нюи и замороженное ирруа.

Я отговорилась тем, что на полгода у меня хватит хлопот по наследству. Месяц — Модесту, шесть месяцев — Володе; что я отвечу, когда сроки истекут? Не брошу ли простонапросто и маленького ревнивца, и художника-дьявола? Любовь и страсть прекрасны, но свобода — лучше вдвое!

Впрочем, должна была обещать Володе, что приеду к нему нынче вечером.

В тот же день

Странная сейчас была встреча.

Я вернулась от Володи (который, право, растрогал меня своей восторженной нежностью) довольно поздно, за полночь. Мне почудилось, что дверь мне отперли с каким-то промед·

леннем н что у Глаши лицо было совсем заплакаииое. Не успела я ее спросить, что с ней, как оиа доложила:

— Модест Никандрович вас дожидаются.

Действительио, Модест встретил меия в дверях.

— Excusez-moi, mon ami,— сказала я ему,— mais jugez vous même: est ce qu'il me convient de recevoir des visites, le premier mois de veuvage, aprés minuit. Vous me mettez dans une fausse position[1].

Модест извинился и стал объяснять свое иепременное желаиие увидеть меня сегодия. К нему явнлся Хмылев, требовал деиег и угрожал сделать иам какой-то скаидал. Опасаясь, что завтра Хмылев прндет ко мие, Модест поспешнл меня предупреднть, чтобы я не поддалась на шаитаж этого мошеииика.

— Вы опоздалн,— сказала я в ответ.— Хмылев уже был у меня, н я ему указала на дверь.

— Поступилн умно, как всегда,— сказал Модест.

— Но я совершеино не понимаю, чем он грознт нам,— продолжала я.— Еще при жнзнн Виктора он мог причиинть иам разиые мелкне иеприятиостн. Но теперь...

— Коиечно, конечио! Вижу, что предупреждать вас не было надобностн. Вы все поинмаете сами.

Модест поцеловал мне руку н уехал.

Он был явио смущеи. Не потому ли ои не спросил меня, откуда я возвращалась так поздно? Вообще предлог его ночного визнта не показался мне убедительиым.

Изумнтельный человек! Все его поступкн, большне и малые, иеобъясинмы. Никогда не знаешь, зачем он делает то нлн другое. Быть его женой! да это так же страшно, как быть женой Сниeй Бороды!

VII

29 сеитября

Модест, по-вндимому, понял, что пронзвел на меня в деревие неприятное впечатлеине, и постарался его загладить. Он упросил меия приехать к нему.

В первый раз я ехала к Модесту без лжнвого предлога, прямо, только не в своем экипаже, а на нзвозчнке. При жнзнн Внктора, когда у меия было свидаине с Модестом, с Володей или еще с кем-нибудь, мне приходнлось выдумывать объяснення своего долгого отсутствня из дому. Виктор, коиечио, зиал, что я ему изменяю, и молчаливым согласнем допускал это; когда, возвращаясь, я ему говорила иной раз, что была у портннхн или доктора, он был уверен, что я го-

[1] Простите, мой друг... но судите сами: разве мне удобно прииимать посетителей в первый месяц вдовства после полуиочи. Вы ставите меня в ложиое положение *(фр.)*.

ворю неправду. Всё же мы считали нужным сохранять эту условную ложь и почувствовали бы себя очень неловко, если бы она была изобличена... Теперь же мне никому не надо было давать отчета — разве только Лидочке, которая все последнее время ревниво следит за моими поступками.

Квартира Модеста оказалась словно преображенной, только потому, что по стенам он развесил свои картины, которые раньше все были собраны в его студии, куда и меня он допускал с великой неохотой. Теперь на входящего со всех сторон глядят странные женщины, созданные Модестом: со спутанными белокурыми волосами, с глазами гизехского сфинкса, с алыми губами вампира. Они то кружатся в пляске вокруг дерева с гранатовыми плодами, то лежат, обессиленные, на мраморных ступенях гигантской лестницы, осененной кипарисами, то бесстыдные, ждут на широких, тоже бесстыдных, ложах своих жертв... И взоры этих женщин, или этих призраков (не знаю, как точнее назвать), отовсюду обращаются на посетителя, фиксируют его, гипнотизируют его.

Модест, с моего первого шага у него, окружил меня всеми проявлениями ласки и поклонения. Отворив мне дверь, он стал предо мной на колени; полушутя, он поцеловал подол моего платья. Он смотрел на меня влюбленными глазами и называл меня своей царицей. Вкрадчивым голосом он читал мне любовные стихи каких-то провансальских поэтов: смысла стихов я не понимала, но чувствовала, что все хвалы трубадуров своим дамам Модест относил ко мне.

Модест, когда хочет, умеет быть нежным, как никто другой. Его пальцы прикасаются с набожной ласковостью; его поцелуи становятся богомольно страстны; он словам, почти непристойным, придает все благоговение молитвы... Или, по крайней мере, таким он мне кажется... В конце концов я — ведь женщина, и когда мне исступленно клянутся в любви, когда меня целуют восторженно, когда кто-то предает меня страсти — я уже не могу рассуждать и анализировать. Для каждой женщины, все равно — исключительной или обыкновенной, утонченной или простой, в наши дни или десятки тысячелетий тому назад,— мужчина, обладающий ею, в минуту страсти кажется владыкою, достойным изумления и поклонения...

Модест, пока я была у него, ни разу не напомнил мне о нашем разговоре в Любимовке. Только потому, что он решительно избегал малейшего упоминания о перемене, происшедшей в моей судьбе, видно было, что в его душе ничего не изменилось с того дня. Но когда мне пора уже было уезжать, Модест достал из книжного шкафа прекрасный географический атлас и стал его перелистывать. Я с некоторым недоумением разглядывала великолепно литографированные карты...

Дойдя до карты южной Италии, Модест показал мне маленький островок, оторвавшийся от всякой земли, Устику, и сказал:

— Если через месяц ты скажешь мне, что быть со мною не хочешь, я уеду сюда и буду здесь жить до моего конца.

— Что за нелепая мысль, Модест! — возразила я.— Зачем тебе жить на какой-то Устике! Почему не на острове святой Елены, или не на Яве, или просто не в Париже?

— Я еще мальчиком читал об этой Устике, не помню уже где. Меня описание поразило, и в детстве я часто мечтал, что поеду на эту Устику. Как-то незаметно Устика стала для меня символической страной красоты и счастия, какими-то Гесперидовыми садами... После того я много раз бывал в Италии, но никогда не попадал на Устику; туристам делать там нечего, да мне и жаль было разрушать мои детские иллюзии. Но теперь, когда я подумал, что, может быть, мне придется выбирать на земном шаре одну точку, на которой доживать свою неудавшуюся жизнь,— я решил бесповоротно, что лучше Устики не найду ничего. Там, конечно, синее небо, шумный прибой, красивые скалы, стройные люди; мне ничего другого и не будет надо.

Мне показалось обидно, что Модест хочет запугать меня, как шестнадцатилетнюю барышню, и я ответила не без сухости:

— Полно, Модест! Лесть твоя изысканна, но ты не убедишь меня, будто я занимаю в твоей жизни важное место. Если в самом деле я от тебя уйду, брошу тебя, как говорится, ты очень спокойно уедешь в Париж, будешь писать свои картины и переживешь еще десяток романов. Не повторяй только своим будущим возлюбленным тех слов, что сказал мне: они не поверят им также.

Модест внезапно принял очень серьезный вид и сказал

— Милая Талия! Я человек немного не такой, как все. И я оставляю за собою право любить не так, как все. Мне надо, чтобы моя любовь к тебе получила в полном объеме все, чего она хочет. Без этого я жить не хочу и не могу. Я сожгу все мои картины, я раздам свою библиотеку, я не возьму больше кисти в руки, и если останусь жить, то лишь потому, что презираю самоубийство. Ты понимаешь сладость крупной игры, когда игрок рискует всем своим состоянием? Так вот и я на карту моей любви к тебе поставил всю свою жизнь...

Верил ли сам Модест в свои слова? Сомневаюсь. Он — человек слишком сильный, слишком многогранный, чтобы в любви видеть весь смысл жизни. Угрозами и лестью он просто думал вырвать у меня мое согласие...

Но даже если бы то, что говорил Модест, и было правдой! Неужели только затем, чтобы он не совершил над собой «художественного самоубийства» (так это придется назвать?), я должна выйти за него замуж? Боже мой! я молода, хороша собой, богата — зачем же я отдам все это в чужие руки? Почему о Модесте я должна больше думать, чем о себе самой?

Ну да, Модест мне нравится; вернее, меня восхищает в

нем редкое сочетание ума и таланта, силы и изысканности Но разве я могу быть уверенной, что он мне будет нравиться всегда, что не изменится он или не изменюсь я? Я испытала, что значит жить с мужем, который ненавистен. Но Виктор, по крайней мере, оставлял мне полную свободу, а Модест требователен, жесток, ревнив...

Я хочу сохранить себе Володю надолго, на несколько месяцев, кто знает, может быть, на несколько лет. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто еще мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса сто́ят того, чтобы ради них кому-то «отдаться».

В тот же день

Сейчас получила анонимное письмо. Неизвестный автор, подписавшийся, как это водится, «ваш доброжелатель», пишет, что ему известно, кто убил моего мужа, и предлагает мне, если я желаю «проникнуть в эту тайну», вступить с ним «в соответствующие переговоры». Адрес дан на poste-restante, на какие-то литеры. Сначала я подумала передать письмо судебному следователю, но потом предпочла разорвать и бросить в корзину. Нет сомнения, что это письмо писала та же рука, что и донос Володе.

Но странно все же, что меня лично нисколько не занимает вопрос, кто убил мужа. Виктор как-то совершенно бесследно исчез из моей души. Словно с аспидной доски тщательно стерли влажной губкой то, что было на время написано. Порой, задумавшись, я совсем забываю, что почти шесть лет жила с мужем, что у нас был ребенок, что несколько раз вдвоем ездили мы за границу, что вообще множество моих воспоминаний должно быть тесно связано с Виктором Положим, я его не любила, но каким же все-таки был он ничтожеством, если так легко оказалось вынуть его и из моего настоящего, и из памяти о прошлом, и из мечтаний о будущем! Впрочем, это ничтожество Виктора было для меня, при его жизни, благодеянием!

VIII

1 октября

Приезжала maman, чтобы, по ее словам, «серьезно говорить со мной». Объяснение вышло тяжелое и скучное, но принять его во внимание приходится.

Вот приблизительно наш разговор:

— Ты ведешь себя невозможно, Nathalie! Месяца не прошло со дня смерти твоего мужа, человека достойнейшего, который обожал тебя, а ты уже заставляешь говорить о себе

всю Москву. Тебя по целым дням не бывает дома. Ты принимаешь у себя мужчин в час ночи. Ты бог весть куда ездишь на открытом извозчике, когда у вас есть лошадь. Это все прямо неслыханно.

— Откуда вы все это знаете, maman?

— Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.

— Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я — совершеннолетняя и могу жить, как мне нравится.

— Я — мать. Предупредить тебя — это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что восстановила его против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить одним художником...

— Maman, вы касаетесь личностей, это неуместно.

— Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.

В конце концов, чтобы кончить, я сказала:

— Позвольте вам объявить, maman, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.

Maman, кажется, не притворяясь, побледнела.

— Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!

Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!

— Неужели вам больше нравится, чтобы мы жили в незаконной связи?

— Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.

Maman читала мне свои наставления часа два. Когда она, наконец, уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых maman, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.

Maman — злой гений всей нашей семьи. С раннего дет-

ства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое поверхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею назвать) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку...

Если теперь maman приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.

А для меня нет ничего столь ненавистного, как понятие — *мать*. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество — балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроенным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня, на ловлю житейского благополучия, мать!..

. . . .

А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию да и его прихватить с собой?

IX

6 октября

Почти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.

Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъявлениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искрен-

но воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин...»

Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, какие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе,— я во всем этом безнадежно запуталась. В конце концов, дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня...

По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюлля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами посматривая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длиннейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряде всех других его прегрешений!

Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени — обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни. Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой *окончательный* вывод:

За Модеста замуж я ни в каком случае не выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест — зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы *вынужденного разврата*... Что дальше делать, это будет видно.

X

7 октября

Сегодня ожидало меня объяснение совсем неожиданное.

Я давно замечала, что Лидочка как-то невесела, расстроена, бледна. Но за всеми моими делами, денежными и личными, у меня времени не было вникнуть в ее жизнь. Да и что удивительного, если девушка в 18 лет бледна и грустна: в эти годы такой быть и подобает.

Но сегодня, войдя нечаянно в комнату Лидочки, я застала ее в слезах над каким-то альбомом. Я вовсе не собиралась пользоваться своими правами старшей и, наверное, молча вышла бы из комнаты, если бы Лидочка, заметив меня, не разразилась вдруг рыданиями отчаянными, перешедшими в форменную истерику. Лидочка упала со стула, а когда я ее уложила на кушетку, билась в судорогах, смеялась и плакала вместе, и все ее лицо кривилось и перекашивалось.

Едва придя в себя, Лидочка с ужасом стала спрашивать:

— Ты прочла? Ты прочла?

— Успокойся,— возражала я,— я никогда не читаю ни чужих писем, ни чужих бумаг. Я ничего не прочла.

Лидочка твердила: «нет, ты прочла, прочла», и рыдала безнадежно. Наконец, с помощью разных капель и воды, я до какой-то степени Лидочку успокоила. Я предпочла бы ее ни о чем не расспрашивать, но всем своим поведением она как бы говорила мне: расспроси меня. Я покорилась с неохотой, настаивала против воли, а Лидочка сопротивлялась моим настояниям, хотя в глубине души ей хотелось уступить. Впрочем, я уверена, что свою роль она играла бессознательно, что ей самой в самом деле казалось, что она не хочет ничего говорить мне...

— Ты влюблена, Лидочка, не так ли?— говорю я.— Признайся мне, я твоя сестра.

— Да! да! да! — рыдает Лидочка.

— Что ж в этом страшного? Любовь всегда счастие. Если тот, кого ты любишь, также полюбит тебя — это счастие радости. Если нет,— это счастие горя. И я не знаю, которое из двух выше, прекраснее, благороднее. Второе — глубже и острее, но первое — шире и лучезарнее..

Лидочка рыдает:

— Потом тебе 18 лет, Лидочка. «Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты». Тебе не верится сейчас, что твои мечты — «легкие», тебе кажется, что они тяжелее всей вселенной и раздавят тебя. И мне так казалось, когда я любила в первый раз. Но поверь опыту жизни: всякая любовь проходит, всякое чувство сменяется другим...

Лидочка рыдает.

— Ну скажи мне, девочка моя, кого ты любишь.

Лидочка молчит.

Я отнимаю ее маленькие руки от ее заплаканных глаз, целую ее в губы и говорю, стараясь придать голосу величайшую нежность:

— Скажи мне, твоей сестре, кого ты любишь.

И вдруг Лидочка вскрикивает:

— Тебя!

И опять падает ничком на кушетку, уронив руки, как плети, и опять рыдает.

— Опомнись, Лидочка! — говорю я.— Как ты можешь

плакать от любви ко мне. Я твоя сестра, я тоже тебя люблю, нам ничто не мешает любить друг друга. О чем же твои слезы?

— Я люблю тебя иначе, иначе,— кричит Лидочка.— Я в тебя влюблена. Я без тебя жить не могу! Я хочу тебя целовать! Я не хочу, чтобы кто-нибудь владел тобою! Ты должна быть моя!

— Подумай,— говорю я, стараясь придать всему оборот шутки.— Сестрам воспрещено выходить замуж за братьев. А ты требуешь, чтобы я, твоя сестра, женилась на тебе. Так, что ли, дурочка?

Лидочка скатывается с кушетки на пол и на полу кричит:

— Ничего не знаю! Знаю только, что люблю тебя! Люблю твое лицо, твой голос, твое тело, твои ноги. Ненавижу всех, кому ты даешь себя целовать! Ненавижу Модеста! Затопчи меня на смерть, мне будет приятно. Убей меня, задуши меня, я больше не могу жить!

Лежа на полу, она хватает меня за колени, целует мои ноги сквозь чулки, плачет, кричит, бьется.

Я провозилась с Лидочкой часа два. Чтобы ее успокоить, я дала ей десяток разных клятв и обещаний, какие она с меня спрашивала. Поклялась ей, между прочим, что, по смерти Виктора, не люблю никого, и в частности не люблю Модеста.

— Он — противный, он — злой,— твердила Лидочка сквозь слезы.— Ты не должна его любить. Если ты будешь его целовать, я брошусь из окна на тротуар.

Я поклялась, что не буду целовать Модеста.

В общем, нелепое приключение! Быть предметом страсти своей родной сестры — это ситуация не из обычных. Но отвечать на такую любовь я не могу никак. Всегда связи между женщинами мне были отвратительны.

XI

11 октября

Только что вернулась из камеры следователя, куда меня вызвали повесткой. До сих пор я вся дрожу от негодования. Это был не допрос, а сплошное издевательство. Не знаю, как должно мне поступить.

Меня раньше всего раздражил самый вид этого господина следователя. Едва войдя в камеру, я почувствовала, что его ненавижу. Он так худ, что мог бы служить иллюстрацией к сказке Андерсена «Тень». Лицо у него цвета землистого и голос надтреснутый: он производит впечатление живой пародии. И при всем том он нагл и груб.

Сначала следователь добивался, чтобы я разъяснила ему характеры наших прислуг. Но, право, если я и знаю кое-

что о Глаше, о Марье Степановне, то ничего не могу сказать о черной горничной, о поварихе, о кучере; я даже их имен хорошенько не знаю.

— Скажите, у вашей горничной, Глафиры Бочаровой, есть возлюбленные?

— Спросите это у нее. Это ее частное дело, в которое я не вмешиваюсь.

— Тэк-с.

После длинного ряда таких пустых вопросов, очень меня утомивших, следователь вдруг, очевидно, чтобы поразить неожиданностью, спросил меня:

— Ска-ажите, а вам случалось принимать кого-либо у себя дома, ночью, без ведома вашего мужа?

Как говорится, кровь бросилась мне в голову от такого вопроса. Я отвечала, буквально задыхаясь:

— Не знаю, имеете ли вы право задавать мне такие вопросы. Я вам на них отвечать не буду.

Следователь стал перебирать какие-то бумаги, а в это время, не смотря на меня, говорил деловым тоном приблизительно следующее:

— Извините, сударыня. Правосудию все должно быть известно. Нам чрезвычайно важно установить, как убийца мог проникнуть в вашу квартиру. Вот тут у меня есть сведения, что в прошлом году вы были в близких отношениях с поручиком Александром Ворсинским и, во время отъезда вашего мужа в Варшаву, неоднократно принимали г. Ворсинского у себя, причем он оставался в вашем доме до позднего часа. Затем, сблизившись с свободным художником Модестом Никандровичем Илецким, вы также...

Тут я не выдержала, вскочила, кажется, даже заплакала, сказала следователю, что он не смеет так обращаться со мной, что я буду жаловаться и т. п. Он же очень хладнокровно попросил меня успокоиться, подал мне грязными руками стакан воды, которой я, конечно, не стала пить, и, переждав несколько секунд, продолжал:

— Так вот, сударыня, правосудию очень важно знать, был ли кто-либо из ваших, гм... из ваших хороших знакомых вполне ознакомлен с расположением вашей квартиры.

— Вы что же думаете, что мужа убил мой любовник? — спросила я, преодолевая отвращение.

— Мы ничего не думаем — мы ищем.

После этого он допрашивал меня еще с полчаса, но я уже не помню, что ему отвечала; больше отказывалась отвечать. По той развязности, с какой следователь задавал мне свои наглые вопросы, я вижу, что он подозревает меня если не в самом преступлении, то в соучастии. Недостает только, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму: вот будет неожиданная развязка всех моих запутанных отношений!

XII

15 октября

Последнее время Модест, или лично, или по телефону, ежедневно осведомлялся о моем здоровьи, и Глаша ежедневно отвечала ему, по моему приказу, что я не совсем здорова. Я не хотела видеть Модеста, боясь, что при личном свидании опять поддамся его влиянию. Сегодня Глаша передала мне карточку Модеста, на которой было написано:

J'ai á vous dire des choses trés importantes. Je vous supplie de m'accorder quelques minutes d'entretien. M.[1]

Я, наконец, решилась принять Модеста.

Он вошел мрачный, поцеловал мне руку, несколько времени ходил молча взад и вперед по комнате, потом сказал:

— Талия, помнишь ты, что говорит у Шекспира Антоний Клеопатре после ее бегства из сражения?

Когда я откровенно призналась, что в этом отношении моя память изменяет мне, Модест продекламировал по-английски:

I found you as a morsel, cold upon
Dead Caesar's trencher!
nay, you were a fragment
Of Gneius Pompey's![2]

Смысл этих стихов я вполне поняла только потом, когда разыскала их в Шекспире (кстати сказать: в нашей жизни не так-то много Цезарей и Помпеев!), но и тогда, по самому тону Модеста, поняла, что он меня оскорбляет. Сердце у меня забилось, я сложила руки и сказала ему:

— Говорите прямо, в чем вы меня обвиняете.

— Я всегда знал,— продолжал Модест, как бы не услыхав моего вопроса,— что истинная любовь женщине недоступна. Мужчина любви может пожертвовать всей своей жизнью, может погибнуть ради любви и будет счастлив своей гибелью. А женщина или ищет в любви забавы (и это еще самое лучшее!), или привязывается бессмысленно к человеку, служит ему, как раба, и счастлива этой своей собачьей привязанностью. Мужчина в любви — герой или жертва. Женщина в любви — или проститутка, или мать. От любви убивают себя или мужчины, настоящие мужчины, зрелые люди, понимающие, что они делают, или девчонки в шестнадцать лет, воображающие, что они влюблены. Это говорит

---

[1] Мне нужно вам сообщить очень важные вещи. Умоляю вас уделить мне несколько минут для разговора. М. (*фр.*)

[2] Я взял тебя объедком
С тарелки Цезаря, и ты была
К тому еще надкушена Помпеем.
(Пер. с англ. Б. Пастернака)

статистика самоубийств. Требовать от женщины любви так же смешно, как требовать зоркости от крота!

Я повторила свой вопрос... Модест обернулся ко мне и произнес раздельно:

— Я вас обвиняю в том, что вы — лицемерка. Вы клялись мне в любви и со мной обманывали вашего мужа. А у меня есть несомненные доказательства, что с другим вы обманывали меня. Зачем вы это делали?

Когда на меня нападают открыто, я чувствую в себе силы неодолимые и готова идти на все. На минуту мне показалось, что желанный разрыв с Модестом, разрыв, который распутает все мои отношения, близок. И гордо я сказала Модесту:

— Не хочу отвечать вам. Это было бы недостойно меня.

Еще минуту я думала, что Модест, не сказав ни слова, повернется и выйдет из комнаты. Он страшно побледнел. Но вдруг весь он изменился, как-то осунулся, опустился в кресло и заговорил совсем другим, надломленным голосом:

— Талия! Талия! Зачем ты это сделала! Я знал многих женщин, многие меня любили безумно, вот с той собачьей преданностью, о которой я только что говорил. Но только в тебе, в твоем проституированном теле, в твоей эгоистической душе (записываю слово в слово) нашел я что-то такое, без чего уже не могу жить! Талия! Я готов отдаться тебе всецело, тебе одной; только и ты отдайся мне так же! Мы уедем с тобой отсюда куда-нибудь на край света в Капштадт, в Мельбурн, на Лабрадор. Мы будем жить только друг для друга, я буду поклоняться тебе, как божеству, и буду счастлив, потому что буду с тобой.

— Модест,— возразила я,— дело ведь не только в том, чтобы был счастлив ты, но чтобы и я была счастлива.

После этих моих слов Модест ниже опустил голову и уже совсем тихим голосом договорил свою речь:

— Все кончено. Ты меня не любишь. Значит, я побежден. Ах, я слишком понадеялся на свои силы. Я думал, что все могу снести, даже разрыв с тобой! Нет! есть вещи, которые ломают меня, как ветер сухие стебли... Что ж, произноси мой приговор!

С последними словами Модест совсем уронил голову на грудь, и мне показалось, что он плачет. Так было непривычно видеть Модеста растроганным, притом до слез, что весь гнев у меня пропал. Растаяла моя твердость и обратилась в нежную снисходительность. Я села рядом с Модестом и ласковым голосом стала его успокаивать...

Так прошло то мое свидание с Модестом, которого я так боялась. Модест вошел ко мне, как судья, как господин, а уходил от меня, как ребенок, которого приласкала старшая сестра. Он даже благодарил меня за все те клятвы и обещания, какие я ему дала, не заметив, что за ними была пустота!

Уф! Я чувствую, словно какие-то вериги спали у меня

с тела! Модест плачущий, Модест, просящий у меня утешения, не страшен мне! Я победила. Я свободна. Мне хочется ликовать и петь пэан — так, кажется, называются победные песни?

XIII

16 октября

Почувствовав новую внутреннюю свободу, я поехала сегодня к Володе, которого последнее время забрасываю на целые недели. Я думала, что это мое посещение будет для него неожиданным подарком, которому он безумно обрадуется. Вышло совсем не так.

Встретил меня Володя угрюмо, сначала ничего не хотел говорить, потом плакал, еще после стал осыпать упреками, совсем как Модест. Причина? Сперва мальчик придумывал разные предлоги своего гнева, вроде того, что я румянюсь (глупый, он воображал, что мы употребляем румяна, как наши бабушки!), но, наконец, признался: он получил новое подтверждение того, что у меня связь с Модестом.

Как это скучно! Мужчины не довольствуются тем, что мы им отдаемся, и даже тем, что мы их любим. Каждому из них надобно, чтобы мы отдавались только одному ему и любили его так, как ему того хочется. Володя не понимает, что ему даже взять нечем того, что я отдаю в себе (душевно и телесно) Модесту, как и Модесту нечем взять того, что я отдаю Володе. Все твердят: я хочу тебя всю, но ни один не подумает, достаточно ли глубока и широка для того его душа!

Я очень резко сказала это все Володе,— конечно, не признаваясь в своей близости к Модесту,— и ушла от него, не сняв шляпы. Мне очень нравится этот мальчик, губы его пахнут, как земляника в июле, и всего его хочется искусать до крови, но больше я не допущу никаких уступок! Я преодолела в своей душе чувство к Модесту, преодолею и нежность к Володе. Если они оба идут к тому, чтобы я их бросила, тем лучше: я не испугаюсь остаться одна!

От Володи я заехала к Вере. Ее все называют моей подругой, и я, правда, люблю ее больше других. Мне только не нравится, что одевается она слишком дорого и крикливо — в этом дурной вкус. Я думала, что этот визит меня успокоит, но совсем напротив.

Прежде всего Вера опять облепила меня изъявлениями пошлых соболезнований, словно бумажками от конфет. Потом повела меня смотреть своего сына, показывала мне его новые игрушки и весьма искренно радовалась, когда я безразлично хвалила и игрушки и сына. Еще после, за кофе, она пересказала мне все сплетни за то время, что я не бывала в нашем «свете». Я узнала, какие из наших дам пере-

менили любовников, но так как действующие лица все одни и те же, то можно заранее вычислить по формуле, которую мы учили в алгебре, число возможных combinaisons[1] из данного числа мужчин и женщин.

Наконец, Вера перешла к интимным признаниям и рассказала мне, как ее бросил ее француз, о чем я знала только смутно. При этом рассказе лицо Веры перекосилось, она стала некрасивой, слова стала выбирать грубые и вообще произвела на меня впечатление отвратительное. Говоря о Лидочке Веретеневой, которая оказалась ее счастливой соперницей, она сказала мне буквально следующее:

— Знаешь, Nathalie, я не могу ручаться за себя, что когда-нибудь в театре, в фойэ, не кинусь на нее и не изобью ее, как простая прачка.

Я уверена, что она говорила искренно. О, ревность! «чудовище с зелеными глазами», сказал Шекспир. Нет, слепой зверь!

XIV

18 октября. Поздно ночью

Уверяют, что бывают решения бессознательные. Наш мозг, незаметно для нас самих, вырабатывает суждения, которые руководят нашими поступками. Конечно, сегодня я подчинялась такому бессознательному решению.

Самой мне казалось, что я просто хочу вечером пройтись по улицам. Но почему я оделась как можно проще, надела свой старый, вышедший из моды, костюм, прошлогоднюю шляпку, опустила на лицо белую вуаль, позаботилась, чтобы меня не узнали? Лидочка, видя, что я ухожу вечером, выбежала ко мне с испуганными, широко открытыми глазами: должно быть, она подумала, что я собираюсь к Модесту.

— Милая девочка, я устала, хочу пройтись.

— Возьми меня с собой.

— Нет, мне хочется быть одной.

— Позволь заложить коляску.

— Не надо.

Я вышла. Был час сумерек. Зажигали фонари. На улице было серо, страшно, неприютно. Люди проходили мимо, торопливо, занятые.

Я шла без цели, вернее, без сознательной цели, и незаметно вышла на бульвары.

Ко мне «пристал» какой-то старичок, предлагая «прокатиться». Он был низенький и противный. Я перешла на другой тротуар.

Потом заговаривало со мной еще несколько уличных завсегдатаев, из которых один соблазнял меня пятью рублями. Я отмалчивалась, они отставали.

[1] комбинаций *(фр.)*.

Так я прошла до самого храма Христа Спасителя. Устала страшно. Около храма было прнчудлнво. Каменное строение, прозрачно-белое, среди теней, казалось призрачным. А качающиеся тени электрических фонарей казались реальными н живымн.

Я постояла у каменного парапета сада; потом пошла назад. Минутами мне хотелось взять извозчика н ехать домой. Четверть часа спустя я, конечно, так н поступила бы.

На уровне Никитского бульвара меня догнал какой-то молодой человек. Он был в шляпе с большими полями и одет хорошо. Явно он был пьян.

Он мне сказал:

— Мадонна! позвольте мне быть вашим пажом.

Я посмотрела на его лицо с рыжеватой бородкой и ответила:

— Для пажа вы слишком стары.

— Тогда вашим рыцарем.

— А посвящены ли вы в рыцари?

— Меня посвятил славный рыцарь дон-Кихот Ламанчский.

Все это было глупо, но разве можно рассчитывать, что повстречаешь на улице Помпея или Цезаря.

Я покорно шла рядом с незнакомцем, а он продолжал пьяную болтовню:

— Мадонна! На эту ночь я избираю вас дамой своего сердца. И своего портмоне, если вам угодно. Разве чувство измеряется фунтами и аршинами? Я буду вам верен одну ночь, но моя верность будет тверже, чем рыцаря Тогенбурга. У меня не будет времени вызвать на бой для прославления вашего имени великанов и волшебников, но я вызываю сон, всепобедный сон, и всяческую усталость и клянусь вам сражать этих демонов дотоле, доколе вам будет угодно делить со мной ваши часы. Для прославления вашего имени, сказал я, но я еще его не знаю.

— Как и я вашего.

— Меня зовут дон Хуан Фердинанд Кортец, маркиз делла Валле Оахаки. Я — новое воплощение завоевателя Мексики. Если же имя мое кажется вам слишком длинным, вы можете называть меня просто Хуаном.

— Позвольте называть вас Жуаном, потому что мое имя донна Анна.

— О, мадонна! Едем на наш пир, и да явится в свой час к нам статуя твоего покойного мужа. Командор! Приглашаю тебя, приди и стань на страже у дверей нашей спальни.

— Вам приходится передавать приглашение лично за неимением Лепорелло?

— Лепорелло ждет нас. Но, подобно божественной Дульцинее, превращенной в Альдонсу, злыми чарами обращен он в ресторанного официанта. Едем, и вы его увидите!

Незнакомец сделал знак лихачу и предложил мне садиться в пролетку. Я повиновалась. Мы полетели вдоль бульвара продолжая шутливый разговор

Через несколько минут мы были в отдельной комнате гостнннцы. На столе стояло шампанское. Так как оказалось, что мой спутник одет изысканио и, по всему судя, принадлежит к высшим слоям общества, я стала бояться, что впоследствин он меня где-ннбудь встретит и узнает. Я усердно наливала ему вина, и он пьянел.

Был страшный соблазн в том, что мы не знали друг друга, что мы, однн для другого, вышли из тайны и должны былн вернуться в тайну.

Незнакомец стал на коленн передо мной и стал говорить:

— Донна Анна! Ты — прекрасна. Ты — прекраснее всех женщнн, каких я вндел на свете. Хочешь, я с сегодняшнего вечера порву свою жизнь пополам н отныне останусь с тобой навсегда. Буду твонм рыцарем, твоим пажом, твонм служителем. Мы уедем на твою истинную роднну, в Севилью, нли куда хочешь. Брось свою жнзнь, отдайся мне, и я буду поклоняться тебе, как божеству.

В словах незнакомца было столько совпадений с речамн Модеста, что мне стало жутко. Я постаралась стряхнуть с себя этот кошмар и повернуть наше свидание в другую сторону. Сделать это было не трудно...

Но когда незнакомец, немного спустя, восторженно целовал мне колени, жуткое чувство вторично овладело мной: мне представилось, что меня целует Володя.

Мы расстались под утро. Незнакомец настойчиво требовал, чтобы я дала ему свой адрес. Я назвала какие-то фиктнвные буквы, предложив писать poste-restante.

Но я более никогда в жизни не хочу увндеть моего Дон-Жуана.

Прощаясь, он, не без колебания, вложил мне в руку бумажку в двадцать пять рублей. Я взяла. Вот первая плата, которую я получила за продажу своего тела. Впрочем, нет: раньше мне за то же платнл мой муж.

XV

19 октября

У меня голова кружнтся от тех открытий, которые я сделала. В первый раз в жизни я боюсь окончательных выводов. Мне страшно мыслнть.

Сегодня я проснулась поздно н медлила вставать. Сознаюсь, мне страшно было встретиться с Лндочкой. Лидочка знала, что я вернулась домой поздно ночью, и могла думать, что ночь я провела у Модеста.

Вот почему мне стало очень не по себе, когда в столовой, где я пила кофе, ко мне подошла Лидочка.

— Наташа, мне надо говорить с тобой.

— После, моя девочка, я утомлена очень, у меня голова болнт.

— Нет, иет, теперь.

Допивая кофе, я рассматривала Лидочку. Лнцо ее было бледно, без следов слез, выраженне глаз какое-то сухое н решительное.

Мы перешли в маленькую гостнную, н Лндочка здесь спросила меня:

— Знаешь, кто здесь был вчера?

— Где здесь?

— У нас.

— Кто же?

— Модест Никаидровнч.

— Что ж такого. Он не застал меия дома. Прнедет другой раз.

Мне пришло в голову, ие хочет лн Лидочка дать мне понять, что Модест, не застав меия дома, так сказать, улнчнл меия в иевериостн себе. Но Лидочка, с расчетом на свое торжество, продолжала, прямо глядя мне в лнцо:

— Ои был ие у тебя. Он был у нас в доме тайно.

— Ты говоришь глупостн. У кого же ои был?

— У Глаши.

Это было абсурдио. Я стала расспрашнвать. Лидочка рассказала, что она давио подметила какие-то страиные отношения между Модестом и Глашей. Вчера, когда меня не было дома, Лндочка по разным прнзнакам догадалась, что Глаша в своей комнате не одна. Лндочка стала следить и около полуиочн вндела, как Глаша черным ходом выпускала Модеста. Оба они что-то говорилн очень ожнвленно, но вполголоса, и, уходя, Модест поцеловал Глашу в губы.

— Вндншь,— с усилием сказала Лндочка,— ты его любншь... а он... обманывает тебя... с твоей горннчной.

Рассказ Лндочкн взволновал мёня снльно, так что сердце начало у меня в грудн колотнться, как соскочившее с пружииы. Кое-как успоконв Лндочку, я ее отослала н позвала к себе Глашу.

С Глашей говорнть прншлось недолго. Оиа после первых вопросов созналась и, по какому-то атавнстнческому влечению, повалнлась мне в ногн.

Да, она любовница Модеста. Он ее уверил, что любнт ее, а за мной ухаживает из честн (как не стыдно ему было повторять молчалннские слова!). Он обещал взять ее жнть к себе и делал ей дорогне подарки. Вознл ее кататься за город, и понл шампаискнм, и потом «пользовался ее слабостью н доверчивостью». А я ничего не зиала н не замечала!

Но вот что самое важное. Модест был у Глаши в ночь иа 15 сентября, т. е. *в ночь убийства*. Правда, она сама проводнла Модеста н закрыла за ним дверь еще раньше полиочи н, возвращаясь к себе, слышала шагн Внктора Валерьяновича, который ходил взад и вперед по кабниету. Следовательно, убийство совершилось *после того*, как Модест вышел нз нашей квартнры. Но разве ие мог он переждать несколько временн на лестнице н вернуться с помощью за-

ранее подобранного ключа? Эта мысль сразу явилась мне и засела у меня в мозгу, словно отравленная стрела.

«Современный человек должен уметь все: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и *убивать*»,— припомнились мне слова Модеста, записанные в этом дневнике.

Что до Глаши, то ей, кажется, такие подозрения не приходили в голову. Но, по ее словам, Модест был очень напуган, узнав об убийстве, тотчас вызвал ее и строго запретил ей говорить кому бы то ни было о том, что был у нее накануне... Глаша исполнила его требование, но совесть ее мучит, и ей хочется пойти все «открыть» следователю.

Разумеется, Глаша рассказывала мне все это длинно и сбивчиво, прерывая слова всхлипываниями и рыданиями. Я поняла теперь, почему Глаша все время, со дня убийства, ходит расстроенной и подавленной. Чтобы хранить большую тайну, надо иметь душу воспитанную: простым существам это не под силу.

Что я могла ответить Глаше? Я ей сказала, что доносить на Модеста, конечно, не надо. Что он поступил дурно, соблазнив бедную девушку, но к убийству, во всяком случае, не причастен, и было бы зло впутывать его в это дело. В заключение я обещала Глаше, что поговорю об ней с Модестом и заставлю его позаботиться об ней как должно.

С Глашей мы расстались друзьями.

О Модесте мне еще надо будет думать, и много думать. Но чего же теперь стоят все его слова о верности и об изменах? Как негодовал он на то, что я ему «изменяю». Ах, люди!

> Кто жил и мыслил, тот не может
> В душе не презирать людей!

XVI

21 октября

Я получила ужасное письмо от Володи. Было в его словах столько отчаянья, что я поехала к нему тотчас. Но последнее время все мои свидания кончаются плохо.

Неудачи начали меня преследовать еще на улице.

Я, разумеется, не могла взять нашей лошади и вышла пешком. Через несколько шагов догнал меня какой-то человечек и стал, кланяясь, что-то говорить.

— Я вас не знаю,— сказала я,— что вам надо?

— Помилуйте-с,— возразил человечек,— я дяденька горничной вашей, Глаши, Сергей Хмылев, изволили припомнить?

Узнав, с кем я имею дело, я сказала твердо:

— Я вас прошу меня оставить. Если вы не отстанете, я позову городового.

— К чему тут полиция,— возразил Хмылев,— это дело деликатное, его надо без посторонних свидетелей проводить.

я чувствовала, что в руках этого человека конец нити из запутанного клубка событий. Многое ли ему известно, я не знала, но была убеждена, что что-то известно. Я медленно шла по тротуару, а Хмылев семенил за мной и говорил:

— Напрасно вы нами презираете, Наталья Глебовна. Мы люди маленькие, но на маленьких людях мир стоит. Что я у вас прошу: позволения явиться и представить некоторые документики и соображения,— всего только. Вы то и другое рассмотрите и решите, стоит ли оно, чтобы заплатить следуемую нам сумму.

— Один раз я уже отказала вам наотрез,— произнесла я отрывочно.— Почему же вы не представили ваших документов в другое место? Видно, они не многого стоят!

— Эх, барыня! Представить документики не долго. И будет то, может быть, кому-нибудь и очень неприятно. Но ведь *мне-то* никакой из того прибыли не будет или самая малая... А что я с вас прошу? При вашем капитале двадцать тысяч для вас грошн-с, не заметите, если отдадите...

Я сказала медленно:

— Хорошо, я подумаю. Приходите через неделю.

— Нет-с,— возразил Хмылев,— через неделю поздно-с будет. Дольше трех дней ждать никакой возможности не имею.

— Как угодно,— сказала я.

Тотчас я села в пролетку ближайшего извозчика и приказала ехать, не слушая, что́ мне еще говорил Хмылев. Но в душе я досадовала сама на себя и не знала, хорошо ли я поступила, отказав Хмылеву. Может быть, следовало рассмотреть его «документики». Я, впрочем, надеялась, что он еще раз явится ко мне.

Вдруг на повороте из Настасьинского переулка какой-то человек прыгнул с тротуара, замахал руками и остановил моего извозчика. Я узнала своего рыжего дон-Жуана.

— Донна Анна! Донна Анна! — восклицал он.— Я брошусь под колеса, если вы не отзоветесь. Я помешался с того дня, как встретил вас. Я не могу без вас жить.

Редкие прохожие останавливались и смотрели на скандальную сцену.

— Etez-vous fou, monsieur, je ne vous connais pas[1],— сказала я почему-то по-французски.

Извозчик хлестнул лошадь. Незнакомец минуты две еще бежал за моей пролеткой, потом отстал.

Настроение мое окончательно испортилось. То была уже не досада, а какая-то злоба на себя и на весь мир...

В тот же день

Приезжала Вера, прервала меня, сидела час, говорила глупости. Продолжаю.

Володю я нашла в состоянии крайнего возбуждения. Он

---

[1] Вы с ума сошли, сударь, я вас не знаю *(фр.)*.

исхудал, словно после жестокой болезни. С горящими зрачками он имел вид маленького пророка.

В чем дело? Ах, он узнал все, и окончательно, о моих отношениях к Модесту; ему даже передали мое письмо к Модесту, которое тот ухитрился где-то потерять.

На этот раз сведения Володи оказались столь точными, что мне осталось только удивляться, кто мог ему сообщить их. Одно я могу предположить, это — что в доносе участвовал сам Модест. Чтобы избавиться от соперника, он известил его о самом себе и сам подослал ему одно из моих писем (не могу я поверить, что Модест «потерял» его!). Такой дьявольский план достоин черной души Модеста.

Во всяком случае, отпираться было невозможно. Я сказала Володе прямо, что он мне нравится, но что мне его маленькой души мало. Что слишком многого во мне он не может понять. Что во многом он не может быть моим сотоварищем. Он нежен, робок, правдив, добродетелен. Это все мне нравится. Но, кроме того, я люблю мужскую силу, люблю страсть, люблю изощренность и изысканность чувств. Если он хочет ставить точки на i, я — развратна. Такой меня создал бог или жизнь, и я хочу оставаться сама собой. Мне, как спутник, как друг, как любовник, нужен человек, который был бы способен меня понимать всю, отвечать на все запросы моей души. Если нет такого одного, мне нужно двоих, троих, пятерых, почем я знаю сколько! Пусть он, Владимир, усложняет и возвышает свою душу, пусть он дорастает до меня, пусть он одолеет меня в поединке любви — и я буду рада оказаться побежденной. Но поддаваться или притворяться побежденной я не хочу.

Приблизительно так я говорила Володе. Он тихо рыдал. Мне было его очень жалко и хотелось поцеловать в его темную голову, в милый, любимый мною затылок. Но я себя преодолела, решив высказать всю правду.

— Итак, вы играли мною,— сказал между рыданиями Володя,— играли, как дети играют плюшевым медведем...

— Я любила тебя, мальчик!

Едва я это сказала, как с Володей сделался настоящий припадок исступления. Он вскочил и стал кричать мне:

— Лжешь! Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова! Вы обратили любовь в какую-то игру в бирюльки. Вы постоянно твердите о любви, только и делаете, что рассматриваете свое чувство, но все это у вас в голове, а не в сердце! Для вас любовь или разврат, или математическая задача. А любви как любви, как чувства одного человека к другому вы не знаете.

— Твои слова,— сказала я холодно, но мягко,— только доказывают мне еще раз, как ты от меня далек. Как же ты требуешь, чтобы я всю себя отдала тебе, когда ты меня даже не понимаешь? А если я столь низменна, как ты говоришь, зачем ты от меня требуешь, чтобы я тебя любила?

Я старалась говорить сдержанно и вообще за все время свидания не позволила себе ни одного резкого или жестокого слова. Но Володей решительно владел какой-то демон, потому что, не слушая моих доводов, он вновь стал кричать на меня. Должно быть, он многое передумал в одиночестве последних дней, и теперь все эти думы беспорядочным потоком вырывались из его души.

— У меня было свое дело,— продолжал Володя.— Я был маленьким колесиком, но в великом механизме, который работал на благо целого народа и всего человечества. Я был счастлив своей работой, и у меня было удовлетворение в сознании, что жизнь моя нужна на что-то. Ты меня вырвала из этого мира, ты меня, как сирена, зачаровала своим голосом и заставила сойти с моего корабля. Что же ты мне дала взамен? Жизнь, которая любовь ставит в центр мира как божество, а потом самую эту любовь подменивает лицемерием, фальшью, притворством! Ты научила меня жить одним чувством, а сама вместо чувства давала мне искусную ложь! Ты постепенно коварством и ласками довела меня до того, что я стал твоим альфонсом. Мне страшно встречаться с прежними друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своих рук!

Володя кричал долго, беснуясь. Я пыталась возражать, он не давал мне вымолвить слова. Я сложила руки и молча смотрела на него. Наконец, в слепой ярости, Володя схватил с этажерки томик Тютчева, бросил его на пол и стал топтать. Мне удалось сказать:

— Научись тому, что первый признак культурного человека — уважение к книге.

— Проклинаю ваши книги,— закричал в ответ Володя.— Все вы книжные, и чувства ваши книжные, и поступки книжные, и говорите так, словно читаете книгу. Не хочу я вас больше! Хочу на волю, к жизни, к делу!

Конечно, в том, что говорил Володя, было немало правды (потому-то я и записываю здесь его слова), но я не могла уступить ему.

Надо было раз навсегда отстоять свою свободу. Я сказала Володе все с прежней холодностью:

— Ты молод. У тебя вся жизнь впереди. Вернись к своим друзьям-революционерам. Вероятно, они примут вновь в партию заблудшего товарища.

Поправив шляпу, я пошла к выходу.

Видя, что я ухожу, Володя побледнел смертельно, загородил мне дорогу, стал на колени. Задыхаясь, не договаривая слов, он начал умолять меня не покидать его. Он просил прощения во всем, что говорил, и назвал себя безумцем.

Я готова была заключить мир. Но когда понемногу между нами начали устанавливаться добрые отношения, Володя вдруг поставил такое требование:

— Но ты поклянешься мне, что отныне будешь принадлежать мне одному? ты тому пошлешь тотчас письмо, что все между вами кончено?

— Ты опять сумасшествуешь,— сказала я.

— Я требую,— повторил Володя, вновь побледнев.

Тогда я ответила решительно:

— Своими поступками я хочу распоряжаться сама. Не могу допустить, чтобы кто-либо с меня что-либо требовал. Бери меня такой, какова я, или ты меня не получишь вовсе.

Я вновь направилась к двери. Володя вновь загородил мне дорогу. Весь бледный, он стоял, простерев руки, словно распятый.

— Ты не уйдешь,— проговорил не он, а его губы.

Покачав головой, я попыталась отстранить его от двери. Володя упал на пол и охватил мои ноги.

— Если ты уйдешь, я убью себя.

Я с силой растворила дверь и вышла.

Что́ удивительного, что после такого вечера я сегодня показалась Вере неинтересной. То есть она мне сказала, что́ я выгляжу нездоровой. Но я знаю, что значит это слово в устах женщины.

XVII

23 октября

Итак, свершилось.

Моя судьба решена, и решена неожиданно.

Всю ночь меня преследовал образ юноши, распятого у двери. Я просыпалась от кошмаров, и мне слышались слова Володи: «Если ты уйдешь, я убью себя». Утром я встала в такой тоске, сносить которую не было сил.

— Да ведь это же любовь! — вдруг сказала я самой себе.— Ты любишь этого мальчика, гибкого, как былинка. Зачем же ты отказываешься от любви: разве в этом свобода?

Едва я это подумала, как мне показалось, что все решается очень легко. Я тотчас села к столу и без помарок, сразу, написала два письма: Володе и Модесту.

Володю прежде всего я просила простить меня. Я писала ему, что отказалась вчера послать то письмо, которое он требовал, только ради отвлеченного принципа, чтобы сохранить свою свободу. Но что на деле я вполне и окончательно порвала все с «тем другим» (т. е. с Модестом). Я писала еще, что твердо решила в самом скором времени уехать надолго, на несколько лет в Италию и хочу, чтобы он, Володя, ехал со мной...

Модесту письмо я написала гораздо более короткое и сухое, всего несколько фраз. Я напоминала, что Модест дал мне месяц сроку, чтобы ответить на его предложение. Но, говорила я, уже теперь мой ответ мне вполне известен, и я могу ему сказать, что никогда его женой я не буду. В заключение я писала, что, согласно со словами Модеста, считаю, после моего письма, все наши отношения конченными

и прошу более не пытаться видеться со мной. Хотела было я прибавить просьбу — возвратить мои письма, которыми Модест, по-видимому, не дорожит, так как они попадают в чужие руки, но это показалось мне слишком банальным.

Сначала я думала послать оба письма одновременно, но какой-то инстинкт предосторожности удержал меня. Я отправила только одно письмо — Модесту.

Тотчас же я получила и ответ. Модест преклонялся перед моей волей, но просил последней милости: приехать к нему проститься. После некоторого колебания я согласилась.

Все, что случилось на этом свидании, было для меня и непредвиденно и чудесно. И чувства, которые я пережила за эти часы, проведенные с Модестом, принадлежат к числу самых сильных, какие я испытывала когда-либо.

Непредвиденное ждало меня тотчас за дверью квартиры Модеста. Он встретил меня не в своем обычном костюме, но в странной восточной хламиде, расшитой золотом. Обстановке комнат тоже был придан восточный, древнехалдейский характер. Картины со стен были сняты.

Я вспомнила слова *maman*, что Модест сумасшедший, и испугалась.

— Модест, ты не помешался?— спросила я.

— Нет, царица! Но эти священные часы нашего с тобой прощания я хочу провести вне ненавистной и нестерпимой стихии современности. Тебя, как и меня, равно мучит пошлость нашей жизни, и я не хочу, чтобы в наши последние воспоминания врывалось что-нибудь из нее: звонки телефона или свистки автомобиля. Я хочу на несколько часов погрузить тебя и себя в более благородную атмосферу.

Комнаты Модеста оказались преображенными: они были все убраны в древнеассирийском стиле. Модест откуда-то достал множество статуй и барельефов, изображающих ассирийских богов и царей, увесил стены странным, древним оружием, лампочки превратил в факелы, весь воздух наполнил какими-то сильными, пряными духами и курениями. Я себя чувствовала не то в музее, не то в храме, мне было странно и не по себе, но действительность как-то отошла от меня, и я почти забыла, зачем я здесь.

Модест долгое время ни словом не напоминал ни о моем, ни о своем письме. Он совершенно серьезным тоном, словно только за этим приглашал меня, рассказывал мне мифы о герое Издубаре и о схождении богини Истар в Ад. На какой-то странной дудке он играл мне простую, но своеобразную мелодию, которую назвал гимном Луне. Потом он шептал мне нежные признания в своей любви, превращая их почти в псалмы, говоря каданснрованной прозой, употребляя пышные, чисто восточные выражения.

От аромата курений у меня кружилась голова. Одно время я плохо сознавала, что я делаю и говорю. И о цели своего приезда я почти совсем забыла. Мне было хорошо с Модестом, и я не спешила уезжать.

Мы перешли в спальню. Вместо постели в ней было сооружено высокое ложе, поставленное на изображении четырех крылатых львов. В глубине комнаты на треножнике курились легким дымом какие-то сильно пахнущие снадобья.

— Может быть, ты хочешь меня усыпить и убить?— спросила я.

— Нет, моя царица,— возразил Модест,— я хочу убить воспоминания только Это жертва бескровная. И еще я хочу молить древних богов, чтобы они послали нам ту полноту страсти и то самозабвение, какое знали люди их времен. Хочу молить, чтобы меня поддержал герой Мардук, а тебе дала силы богиня Эа.

Без малейшей черты шутки или игры Модест бросил на жаровню какие-то зерна и пал ниц. Длинная его одежда распростерлась на полу, и черная его голова коснулась самого пола. Ему так шла эта жреческая поза, что я почти почувствовала себя в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла... Я на время забыла все свои мучительные мысли и самую свою жизнь, помнила только, что я наедине с *ним*, с мужчиной, с тем, кому я должна принадлежать...

Обычно я во все минуты, даже в самые интимные, сохраняю полное обладание своим сознанием. Но этот раз час, прошедший на ассирийском ложе, в полутемной комнате, в запахе пряных курений, показался мне каким-то слиянием яви и сна, чем-то, стоящим на границе действительности и мечты. Я говорила что-то, слушала какие-то речи, но не сумела бы записать их здесь, пером по бумаге, в грамматически правильных предложениях: то было нечто иное...

Понемногу словно из редеющего тумана стали выступать передо мной слова Модеста:

— Все же я тебя любил, царица, любил всей полнотой чувства, не знающего предела и не хотящего границ. Что бы ни совершала ты, что бы ни совершал я, отвечала ли ты мне на любовь или оскорбляла меня, отваживался ли я на великий подвиг или на низкое преступление, эта любовь оставалась неизменной. И что ни ждет нас в будущем, жизнь или смерть, существование или небытие, в этом мире и в других мирах, я буду любить тебя. Уеду ли я на свой далекий итальянский остров или направлю себе прямо в сердце ассирийский клинок, я буду любить тебя. Буду изнемогать от ненужной жизни, благословляя твое имя, и в минуту смерти позову тебя, потому что, кроме любви к тебе, нет, не было и не будет у меня божества!

Долго я слушала эти ласкательные речи, полузакрыв глаза, убаюкиваясь нежными словами, как милой музыкой, но вдруг села на ложе и, смотря Модесту в лицо, спросила:

— Модест, это ты убил моего мужа, Виктора?

Никогда не видела я, чтобы люди так бледнели, как побледнел Модест при моем вопросе. При слабом свете завуа-

лированных электрических лампочек, изображавших факелы, лицо Модеста показалось мне белее белого цвета. Его глаза остановились на мне с тем выражением ужаса, какое можно видеть лишь на картинках. Должно быть, с полминуты длилось молчание, и в этой комнате, похожей на склеп, стояла такая тишина, что треск пламени на треножинке производил впечатление страшного грохота.

Медленно Модест также сел рядом со мной и произнес тихо:

— Я.

И снова мы молчали сколько-то времени. Потом я опять спросила:

— Зачем ты это сделал?

— Я люблю тебя,— ответил Модест.

— Неправда,— грубо возразила я,— ты все требовал, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты хотел тех денег, которые достались мне после мужа!

С сильным подъемом Модест ответил мне:

— Клянусь тебе всеми святынями, которые мы с тобой признаем, клянусь Искусством, клянусь Любовью, клянусь Смертью (эти большие буквы были в его голосе) — это неправда! Я совершил свой поступок, чтобы обладать тобой безраздельно. Если ты знаешь мою душу, ты должна понять, что деньги сами по себе не могут быть для меня соблазном. Да, я — убил. Убил затем, чтобы в своей любви пройти до последнего предела. Убил затем, чтобы сознавать, что из любви к тебе я пожертвовал всем: своим именем, своей жизнью, своей совестью. Я хотел убедиться в своей силе и узнать, достоин ли я обладать тобой. И вот я побежден, увидел, что я бессилен, как все другие, увидел, что тебя я недостоин, и ты отвергла меня — и я покорно принимаю свой приговор. Теперь казни меня — ты имеешь на то право, но не оскорбляй подозрениями, которых я не заслужил.

Модест, произнося эту речь, был прекрасен. С обнаженной грудью и шеей он был похож на ассирийского героя. И вдруг какое-то совершенно новое чувство выросло в моей душе, сразу, в одну минуту, как, говорят, вырастает чудесное деревцо в руке факиров. Вдруг Модест предстал предо мной во весь свой рост, и я, наконец, поняла, какая таится в нем сила, схватила его за плечи, наклонила свое лицо к его лицу и воскликнула с последней искренностью:

— Нет, Модест, нет! Не называй себя побежденным! Все, что я говорила и писала тебе,— неправда. Я тебя люблю, и я буду твоей — твоей женой, рабой, чем хочешь. И ты будешь жить, и мы будем счастливы!

Модест смотрел на меня, словно не понимая моих слов, потом проговорил угрюмо:

— Итак, ты меня прощаешь... Но знаешь ли ты, что я сам не могу простить себе? Больше мне ничего не должно таить от тебя, и я тебе сознаюсь: мне страшно того, что́ я совершил. Я думал, что моя душа выдержит испытание, что

она — иная, чем у других. Что же! я мучусь, как самый обыкновенный преступник, чуть ли не угрызениями совести! Мне бывает страшно оставаться одному ночью в комнате! Вот почему я говорю, что я побежден. И ты должна оставить меня, Талия, потому что я оказался недостоин тебя... Ты была права в своем письме...

Но во мне уже было только одно чувство — безмерный, неодолимый восторг перед этим человеком, который посмел совершить и совершил то, на что современный человек не смеет отважиться. В ту минуту Модест мне казался истинным «übermensch»[1], и я хотела лишь одного — спасти его. Я ему сказала:

— Полно, Модест! Твои страхи — временное расстройство нервов, которое ты сумеешь одолеть. Иди же до конца, если ты уже совершил решительный шаг. Теперь тебе говорить об отступлении, о бегстве — стыдно. Будь тем, каким я тебя хочу видеть,— и в награду я тебе отдаю себя, всю, вполне, как ты этого всегда хотел.

Я не лгала, я именно так чувствовала в те минуты. Я ободряла Модеста, я напоминала ему его прежние слова, я обращалась к его уму и к его гордости... Понемногу мрачное выражение сошло с лица Модеста, он поддался моему влиянию, он вновь стал самим собой, сильным, решительным...

И вот исчезли два любовника, которые за полчаса перед тем были в этой комнате: на их месте оказались два сообщника. Мы бросили все споры о любви и свободе в любви, которые еще так недавно казались нам важнее всего на свете. Мы стали говорить деловым тоном о том, что́ должно теперь делать.

Я доказала Модесту, что он напрасно так полагается на свою безопасность. Слишком много людей замешано в это дело. Я ему напомнила о Глаше и рассказала о последней моей встрече с Хмылевым. Рассказала, каким образом сама разгадала страшную тайну. Теперь одного неосторожного слова достаточно, чтобы поселить в ком не следует подозрение...

В конце концов мы порешили, что Модест должен не медля выехать за границу и жить там под чужим именем. Я же должна дождаться своего утверждения в правах наследства и тотчас обратить все свое состояние в наличные деньги. После этого я присоединюсь к Модесту, и на несколько лет мы уедем куда-нибудь далеко, хотя бы в Буенос-Айрес...

От Модеста я вышла рано: не надо подавать повода к лишним толкам. Вернувшись домой, я разорвала письмо, написанное Володе.

Боже мой! а что если эти строки попадут кому-нибудь на глаза? Что из того, что я храню свой дневник в тайном ящике. Есть руки, которые проникают всюду.

Эти страницы надо вырезать.

[1] «сверхчеловеком» *(нем.)*.

XVIII

24 октября

После того, как я записала здесь признание Модеста, я решаюсь взять этот дневник в руки, только заперев дверь комнаты. Но я *должна* сохранить для самой себя то, что пережила сегодня.

Утром я получила письмо от Володи. Он прощался со мной и писал, что не может более жить после того, как я, его святыня, для него осквернена... Я тотчас поехала к нему, но было уже поздно. Письмо он велел отнести мне только утром, а сам в полночь выстрелил себе в сердце. Его повезли в больницу, но по дороге, в карете «скорой помощи», он умер.

Смотреть тело Володи я не поехала: это было бы слишком жестокое испытание для моих нервов.

Несмотря на то, облик Володи преследует меня, как кошмар. Везде вижу его бледное лицо, какой он был, когда, распятый, преграждал мне дорогу к двери. Этот лик мерещится мне и на подушке, и на белой стене, и в раскрытой книге. Его губы скривлены, словно он хочет проклясть меня. Надо овладеть собой, преодолеть волнение, иначе я помешаюсь...

Его последние слова ко мне были: «Если ты уйдешь, я убью себя». Но сколько раз прежде он говорил мне, что убьет себя. Я тоже уходила, не слушая его угроз, и он не стрелял в себя из револьвера. Могу ли я, по совести, принять его кровь на свою душу?

И все же, если бы я не ушла, если бы еще раз успокоила его нежностью и лаской, еще раз обманула его обещаниями и клятвами...

Что же! это только отсрочило бы события...

А если бы я совсем не становилась на пути его жизни, не смущала его наивной души, не вовлекала его в мир страстей, для бурь которого оказался он слишком слабым, слишком хрупким?

Господи! Разве я виновата, если люблю и если меня любят! Никогда я не требовала любви. Я искала лишь одного: чтобы те, кто мне нравится, пожелали провести со мной столько-то часов или дней, или недель. Если мне отказывали, я покорялась, не добиваясь более. Всем я предоставляла свободу любить меня или нет, быть мне верными или покидать меня. Почему же мне не дают такой же свободы, требуют, чтобы я непременно любила такого-то, любила именно так, как ему угодно, и столько времени, сколько ему угодно, т. е. вечно? А если я отказываюсь, он убивает себя, и мне весь мир кричит: ты — убийца!

Я хочу свободы в любви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете никому. Я хочу любить или не любить, или разлюбить по своей воле или пусть по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова предоставить то же право, какое спрашиваю себе.

Мне говорят, что я красива и что красота обязывает. Но я и не таю своей красоты, как скупец, как скряга. Любуйтесь мною, берите мою красоту! Кому я отказывала из тех, кто искренно добивался обладать мною? Но зачем же вы хотите сделать меня своей собственностью и мою красоту присвоить себе? Когда же я вырываюсь из цепей, вы называете меня проституткой и, как последний довод, стреляете себе в сердце!

Или я безнадежно глупа, или сошла с ума, или это — величайшая несправедливость в мире, проходящая сквозь века. Все мужчины тянут руки к женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей больше, иначе ты преступница. И каждый уверен, что у него все права на каждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя!

Володя, любимый мой Володя, милый мальчик, сошедший с портрета Ван-Дика! Как мне хорошо было с тобой, в черной гондоле, на канале, где-нибудь около Джованни и Паоло, слушать венецианские серенады и смотреть в твои скромные глаза под большими ресницами! Как мне хорошо было с тобой в нашей комнате, которую потом ты убрал гравюрами с Рембрандта, где ты проводил дни и недели, ожидая моего прихода! Какие у тебя были ласковые губы, пахнущие, как земляника в июле, какие нежные плечи, как у девочки, которые хотелось искусать в кровь, как умел ты лепетать слова наивные и страстные вместе... Никогда больше я тебя не поцелую, не обниму, не увижу, мой мальчик!

Прости меня, Володя, хотя я и не виновата в твоей смерти. Я отдавала тебе все, что могла, а может быть, и больше. То, чего ты требовал, я отдать не могла.

Но не надо думать, не надо, а то я помешаюсь. Одолеть волнение, овладеть собой, забыть этот облик распятого у двери юноши! А, как тяжело мне сегодня!

XIX

Около года спустя

С отвращением беру я в руки эту тетрадь. Мысль, что чужие пальцы перелистывали эти страницы, что чужие глаза читали мои самые интимные признания, делают ее для меня ненавистной. Но, просто и коротко, все же запишу я о последних событиях в моей жизни, чтобы повесть, начатая здесь, не осталась без окончания.

Через день после самоубийства Володи Модеста арестовали. Арестовали на вокзале, когда он уже готов был ехать в Финляндию, а оттуда за границу. Оказалось, что его подозревали уже давно, только старались собрать больше улик и потому до времени оставляли на свободе. Затем арестовали и меня, так что несколько недель я провела в самой настоящей тюрьме, пока дядя не взял меня на поруки, под залог.

Мой дневник сначала попал в руки полиции, которая, производя у меня обыск, ухитрилась отыскать его в потайном ящике моего письменного стола. Однако дяде Платону, как моему доверенному лицу, удалось добиться, что этот дневник был ему возвращен среди разных «ничтожных» бумаг, а не передан следователю и не приобщен к числу «вещественных доказательств». Иначе были бы все улики для обвинения меня если не в соучастии, то в «недонесении» на преступника, который был мне известен. Всего вероятнее, что присяжные меня оправдали бы, но мне пришлось бы пережить все унижения суда. Теперь же предварительное следствие выяснило мою «непричастность» к преступлению, и мне не пришлось садиться на «скамью» подсудимых, под лорнеты моих прежних подруг...

Так, по крайней мере, изъяснял мне ход дела мой дядя Платон, который взял с меня за хлопоты десять тысяч. Эти деньги, по его словам, пошли на «подмазку» кого следует... Я не очень-то доверяю всему этому рассказу и скорее склонна думать, что мой дневник если был у кого в руках, то не у полицейских, а только у самого дядюшки, и что десять тысяч рублей целиком остались в его карманах. Но, право, не таково было мое положение, чтобы торговаться или спорить, и я с удовольствием отдала бы впятеро больше, только бы избавиться от позора.

Против Модеста улики были подавляющие. Глаша рассказала все и еще припомнила, что после одного посещения Модеста пропал ключ от черного хода, так что пришлось сделать новый. Среди предметов, найденных в комнате мужа после убийства, оказалась пуговица с рукава костюма Модеста: Виктор, защищаясь, схватил Модеста за рукав и оборвал ее. Выяснили определенно, что в ночь убийства Модест вернулся к себе лишь под утро, и т. д.

Впрочем, Модест и не спорил с очевидностью. Когда он увидел, что обстоятельства обличают его, он сознался и рассказал подробно, как совершил свое преступление. При этом он со всей твердостью стоял на том, что мне ничего не было известно, ни до убийства, ни после, что никогда, ни одним словом, не давал он мне понять, что убийца — он. Говорят, что эта твердость оказала мне большую услугу. Если бы Модест обмолвился, что признавался мне в своем поступке, не миновать бы мне скамьи с жандармами...

Газетные писаки хорошо поживились около этого скандального дела. Сначала, когда я читала все, что писалось в «прессе» о Модесте, обо мне и моем муже, со мной делались припадки ярости от сознания своего бессилия перед наглыми оскорбителями. Хотелось куда-то побежать, кому-то плюнуть в лицо... Потом — потом я перестала читать газеты и вдруг поняла, что все написанное в них не имеет ровно никакого значения.

Мотивом своего преступления Модест объявил ревность. По его словам, он был ослеплен своей любовью ко мне и не

мог переносить мысли, что кто-то другой со мной близок. Модест рассказывал, что, проникнув ночью в кабннет к Виктору, он потребовал, чтобы Виктор дал мне добровольно развод. Когда Виктор отказался, Модест в раздражении, ие помня себя, схватил лежавшую на этажерке гирю и убнл соперника... Конечно, этот рассказ никому не мог показаться правдоподобным, потому что непонятным оставалось, зачем Модесту понадобилось являться к Виктору тайно, ночью, с помощью украденного ключа... Модест объяснял это прнчудой своей художественной душн, но никто не склонен считать позволительным для человека нашнх дней то, что нас пленяет в Бенвенуто Челлини илн Караваджо.

На суде Модест держал себя с достоннством. Так мне рассказывали, так как сама я ие присутствовала. Я была вызвана только как свндетельннца, но перед судом, от всего пережитого, я заболела нервным расстройством, н иайдено было возможиым слушать дело без меня. Защитинк, *по требованию Модеста*, всю свою речь осиовал иа том, что обвиняемый был ослеплеи аффектом ревности. Это не могло разжалобнть прнсяжных. Модеста приговорили иа десять лет в каторжные работы. Ужасно.

Что до меня, я убеждена, что Модест — одна нз замечательиейшнх лнчностей нашего времени. Он прообраз тех людей, которые будут жить в будущнх веках н соедннят в себе утонченность поздией культуры с силой воли н решимостью первобытиого человека. Я убеждена также, что Модест — велнкнй художннк н что, прн другнх условиях жнзнн, его имя было бы вписано в золотую книгу человечества и всемн повторялось бы с трепетом восхищення. Но что́ до этого «среднему» присяжному, серому, международному вершителю человеческнх судеб, безликому голосоподавателю, когда-то прнговорившему Сократа к чаше с омегой н иедавно Уайльда к Рэднигской тюрьме!

В своем «последнем слове» Модест проснл передать его картнны в однн нз художественных музеев. Вряд ли его просьба будет уважеиа.

Я до конца не могла уехать из Россин: сначала была связана подпиской о невыезде, а потом была больна. Модест, перед тем как его отправляли из Москвы, проснл меня увидеться с иим. Я не решилась отказать ему, хотя н считала, что это свндание должно быть излишней пыткой н для него и для меия.

Лицом Модест нзмеиился мало, ио арестантскнй халат обезображивал его страшно. Я вспомнила его в мантни ассирийского жреца и зарыдала. Модест поцеловал мне руку и сказал только:

— Освобождаю тебя от всех твоих клятв.

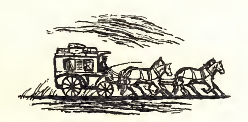
Не помию, что́ я ему говорила: вероятно, какой-то незначащнй вздор.

Через несколько дней я уезжаю на юг Францнн. Я не в снлах жить в Россин, где мое нмя стало сннонимом всего

постыдного. Я не смею показаться в общественном месте, потому что на меня будут показывать пальцами. Я боюсь встречать на улице знакомых, так как не знаю, захотят ли они поклониться мне. Никто из моих бывших подруг не приехал ко мне, чтобы выразить мне свое сочувствие. А теперь мне были бы дороги даже их утешения!

Управление своими делами я передаю дяде Платону и maman. Оба они весьма этим довольны и, конечно, поживятся около моих денег.

Лидочка едет со мной. Ее преданность, ее ласковость, ее любовь — последняя радость в моем существовании. О, я очень нуждаюсь в нежном прикосновении женских рук и женских губ





СЕМЬ ЗЕМНЫХ СОБЛАЗНОВ

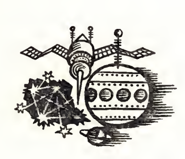
РОМАН ИЗ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

От автора

Весьма трудно определить эпоху, в которую происходят описываемые мною события. Многие стороны жизни представляют, по-видимому, культуру, стоящую на более высокой ступени, нежели современная. Другие явления, напротив, указывают на низший уровень развития человечества. Кроме того, общая картина жизни той эпохи ни в каком случае не соответствует тем формам, в какие она должна отлиться, если будет продолжаться последовательное развитие тех начал, на которых зиждется наша «европейская» цивилизация. Приходится предположить, что между эпохой, изображенной в романе, и современной произошла какая-то страшная катастрофа, аналогичная той, которая уничтожила античную цивилизацию. Затем следовал период нового, многовекового развития, в результате которого человечество достигло вновь приблизительно того же уровня внешней культуры, на котором оно стоит в наши дни. Вновь, частью как следствие новых изобретений и открытий, частью под влиянием сохранившихся сведений о славном прошлом, были найдены и возобновлены все те приспособления и ухищрения, которые составляют характерную особенность быта цивилизованных народов XX века. Вновь возникли многомиллионные города с домами-небоскребами, электрический свет вновь залил их улицы и их жилища, вновь пересекли всю землю рельсы железных дорог, вновь зашумели по всем путям автомобили, а в воздухе показались вновь дирижабли и аэропланы, страны соединились вновь телеграфами и телефонами, быстроходные стимеры возобновили свои рейсы через океаны, и скоропечатные машины по-прежнему стали выбрасывать в миллионах экземпляров газетные листы. Согласно с этим опять заработали биржи и парламенты, напряженная умственная жизнь возродилась в университетах и в различных

научных институтах, опять встали перед людьми все тягостные вопросы современности, в том числе вопрос об организации труда; и строение общества, сходное с тем, какое мы наблюдаем в наше время, привело к тем же решениям этого вопроса, какие предлагаются и современными нам теоретиками... Впрочем, аналогию эту не должно проводить слишком далеко, так как мы видим, что во многих отношениях эпоха, изображенная в романе, резко отличается от нашей современности, что многое в ней организовано на иных началах и что к разрешению многих задач она подходит по иным путям, нежели мы. Во всяком случае мы встречаем в романе мир, стоящий на высокой ступени внешней культуры, но таящий в своем организме губительные язвы, грозящие самому его существованию.

В. Б.



ИЗ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Богатство

Из главы первой

...В Столицу приехал я поздно вечером. После мрака и однообразия бесконечного тоннеля, по которому подземная железная дорога пробегает восьмую часть земной параллели, огни и движение главной станции, ее сутолка, гул и блеск меня ошеломили. Пятнадцать часов я просидел неподвижно, ни с кем не обменявшись ни единым словом, и, встав с дивана, первую минуту не мог ни действовать, ни мыслить: словно все пружины моего существа заржавели и окостенели.

Машинально, двигаясь за людьми, я поднялся, неся в одной руке свой скромный чемодан, на поверхность земли, вышел на подъезд Большого вокзала и сразу оказался в центре мировой сумятицы. Со ступеней широкой лестницы, ведущей к вокзалу, я видел перед собой громадную площадь, обставленную сорокаэтажными небоскребами; как реки в море, в нее вливались ярко освещенные улицы; за громадами домов высились зубчатые и темные громады других стен; в высоте, словно оторванные от земли, сняли станции воздушных дорог. От светов бесчисленных фонарей, радиоактивных, электрических, газовых и иных, что смешивались и скрещивались, получалось странное, слепительное и переменчивое освещение. Движение толпы, экипажей, вагонов, разбег автомобилей и ровное стремление трамваев образовывали непрерывное мелькание, беспорядочную смену видений. Визг электрических дорог, хрипение и грохот моторов, стук лошадиных копыт, щелканье бичей, выкрики газетчиков и продавцов сливались с тысячеустым говором народа в один грозный, не лишенный гармонии, гул. И время от времени в темной вышине то вырастали огни плавно плывущего дирижабля, пыхтящего, как сказочный змей, своей могучей машиной, то загорались огненные топки кружащегося аэроплана и слышалось победное жужжание его пропеллера. И картина этой исступленной, этой ожесточенной жизни, это смешение звуков, образов и светов, столь обычные для жителя Столицы, меня, бедного провинциала, привыкшего к затишью маленького городка, потрясли, опьянили, почти лишили разума, так что долго стоял я на площадке лестницы в каком-то полумистическом страхе.

Десятки комиссионеров, видя мое смущение, наперебой предлагали мне свои услуги, тянули меня за рукава, совали мне в руки объявления, но, вдруг решившись, я оттолкнул их от себя, сбежал с лестницы и уверенно зашагал вперед, как человек, который хорошо знает, куда он идет. Так я пересек Площадь Мира, прошел до конца всю Большую улицу, заглядывая с любопытством провинциала на пышные выставки магазинов, которые за зеркальными окнами расставляют

целые музеи всего, что изобретает современная роскошь, потом свернул на какую-то боковую улицу, сделал наугад еще несколько поворотов и, наконец, оказался на набережной. Здесь я остановился, почувствовав усталость и голод, и несколько минут стоял, опершись на парапет, смотря на темную зыбь реки, на фонари бороздящих ее моторов, на силуэт другого берега, сумрачный, строгий, с торжественным профилем Собора. Водная прохлада освежила мой смятенный ум, сравнительная тишина того места успокоила взволнованные чувства, и перспектива заречной части Столицы подсказала мне, что надо делать. Я понял, что нас — двое: город и я, один — громадный, страшный, всемогущий и беспощадный, другой — малый, бесприютный, слабый, но решившийся на борьбу. «Будьте мудры, как змии»,— вспомнилось мне древнее изречение, и я подумал, что прежде всего должно мне смешаться с этим городом, раствориться в нем, стать «как все».

Я огляделся. Кругом было почти пустынно. Освещение было скудное; углы крылись во мраке. Изредка появлялись прохожие; они пробегали торопливо. Гул города доносился издалека, как шум дальнего моря. Простор над рекой давал видеть небо, но сквозь туман, стоявший над столицей, звезды были тусклы и малы. У меня было такое ощущение, словно в своем быстром и бесцельном беге я дошел до края мира, где расположились последние становья жизни. «Здесь мне и должно поселиться»,— тогда сказал я себе.

На одном из ближних домов, под слабо колеблемым керосиновым фонарем, я прочел вывеску: «Синяя Сирена. Комнаты для приезжих». Вид этой гостиницы был достаточно скромен, чтобы не смутить даже меня, при всей скудости моего кошелька. Я подошел к двери, позвонил. На этот звонок появился служитель с всклокоченной бородой, более пригодный для усмирения пьяных драк, чем для услуг постояльцам. Он сначала внимательно оглядел меня, мало слушая, что я его спрашиваю, потом, по-видимому, счел меня подходящим для своего учреждения, распахнул шире дверь и знаком указал мне, что я могу войти.

Скоро я оказался временным обладателем узенькой комнаты с засаленными обоями, с старомодным комодом, на котором под стеклянным колпаком красовались бронзовые, давно стоящие на одной цифре часы, и с широкой кроватью, рассчитанной на случайную чету, а не на усталого путешественника. Наскоро умывшись, я прошел в столовую, так как ничего не ел с раннего утра, и спросил себе ужинать. В грязной комнате, изображавшей ресторан «Синей Сирены», среди посетителей, в которых, по их голосам и ухваткам, легко было признать мелких служащих и рабочих, я почувствовал себя свободно, как человек, попавший в общество ниже себя. Здесь впервые за весь день я освободился от той робости, какую внушала мне Столица, не боялся сделать неуместный жест или сказать неподходящее слово. И я был рад отдохнуть от того напряжения, в каком провел почти сутки, и в вагоне

подземной дороги, среди незнакомых мне важных господ, и на улицах города, в пышной и самоуверенной столичной толпе. То было в первый раз в жизни, что я должен был распоряжаться в ресторане самостоятельно, но я постарался вести себя так, чтобы во мне нельзя было угадать подростка, привыкшего всюду появляться вместе с матерью.

Я уже кончал свой ужин, причем все время избегал чем бы то ни было вмешиваться в общее оживление, гудевшее кругом, когда вдруг к моему столу приблизился, немного пошатываясь, старик в потертом сюртуке, с большим фальшивым бриллиантом в галстуке. Нахмурившись, я опустил глаза в чашку, чтобы выразить свое нежелание знакомиться, но старик, не смущаясь, заговорил со мной. Голос у него был сиплый и неприятный.

— Я вижу,— сказал он,— что вы, молодой человек, приезжий. Позвольте предложить вам распить со мной бутылку пива.

— Благодарю вас, я не пью пива,— ответил я.

— Вы предпочитаете вино? Что ж, я угощу вас пол-литром доброго вина! — возразил старик самоуверенно и спокойно сел за мой стол.

Я был еще столь неопытен во всем житейском, что совершенно не сумел защититься от такого посягательства на мою волю. Через минуту перед нами появилась бутылка с громким этикетом, стаканы были налиты, а старик, как бы не замечая, что я молчу недружелюбно, продолжал говорить беспрерывно:

— Я заработал сейчас сто франков. Да-с! иногда и я могу получать изрядные куши! Я — богат и вправе доставить себе удовольствие — угостить хорошего человека. Итак, позвольте представиться: старый Тобби,— так зовут меня все приятели, а впрочем, и неприятели. Другого имени у меня нет, не осталось — было, но не осталось. Я сразу догадался, что вы в первый раз в столице, и мой долг, как старика, предостеречь вас против тех опасностей, какие ждут здесь новичка. У меня есть сын, в ваших годах, я не видал его лет десять, жена моя не считает меня того достойным, но я, позвольте сказать вам это, люблю своего сына, именно как отец, и мне приятно оказать услугу юноше его возраста. Я буду говорить с вами как с сыном, и я откровенно скажу вам, какие встретятся вам подводные камни, как сказал бы своему Гарри, потому, что моего сына зовут Гарри, как, может быть, и вас, милый юноша...

Мне, наконец, удалось вставить несколько слов, и я сказал, насколько мог суше, что благодарю за доброе желание, но в советах не нуждаюсь.

— О молодость! — воскликнул старик.— Узнаю тебя! Закрыв глаза, ты веришь в свои силы, хватаешься за всякий рычаг и думаешь, что именно им перевернешь мир! Я сам думал так же, когда мне было двадцать лет, и так же презирал брюзжанье стариков, так как уверен был, что знаю

все лучше их! Я дорого заплатил за свою отвагу, как вы видите, потому что мог бы быть царем биржи и бросать министрам, как подачку, миллионы, а вместо этого я — маленький, темный делец, который хвастает, когда выработает сто франков! Ах, юноша, моя жизнь — это эпопея, возвышенная эпопея скорби и ужаса, и вы содрогнулись бы, если бы я приподнял пред вами краешек того покрывала, которым покрыто мое прошлое... Да, вы содрогнулись бы, а кое-кто, может быть, затрепетал бы по-другому, если бы я вздумал во всеуслышание рассказать все, что видел и что знаю. Потому что жизнь моя, как это ни покажется вам странным, связана крепкими нитями со многими из тех, кого называют сейчас сильными мира. Но вы не подумайте, что с вами говорит пустой хвастун или, еще хуже того, сумасшедший: нет! я только человек, которому Рок судил изведать все превратности судьбы и с вершины почестей пасть в грязь и позор — не нравственный позор, юноша, ибо честь моя не запятнана ни единой брызгой, но в унижение бедности и безвестности. Да, я не совсем то, чем кажусь с первого взгляда! Я ныне — старый Тобби, и ничего больше, но когда-то меня знали под другим именем, и звучало оно по-другому, и произносили люди его иначе.

Старик говорил долго, сопровождая восклицания жестами, пил и заставлял пить меня. Сначала я только неохотно подавал реплики, но понемногу заинтересовался странным обликом своего собеседника, стал подробнее отвечать на его вопросы и даже сам спрашивать. В конце концов, может быть не без влияния выпитого вина, я уже не мог не рассказать, кто я и зачем приехал в столицу. Когда я назвал имя своего дяди, старик с немного преувеличенным изумлением привскочил на стуле.

— Вы шутите, дитя мое,— пролепетал он.

Мне доставило наивное удовольствие это его удивление, и я сказал не без самодовольства:

— Нисколько не шучу. Моя покойная мать была родной сестрой Питера Варстрема. С братом она была в ссоре, и они не видались больше двадцати лет. Но, умирая, она потребовала, чтобы я поехал в Столицу к дяде и попросил его меня устроить. Она написала к брату письмо, и это письмо я везу с собой.

— Но, дитя мое! — с какой-то нежностью воскликнул старик.— Вы знаете, что такое Питер Варстрем?

— Знаю: человек очень богатый, владелец одного из величайших в мире банков.

— Очень богатый! Он говорит: очень богатый! Питер Варстрем миллиардер и даже архимиллиардер! Он может купить всю Европу, и у него останется достаточно денег, чтобы построить себе дворец на вершине Монблана и содержать двор в тысячу человек! Он может тратить по полмиллиона ежедневно и будет проживать только свои доходы! Питер Варстрем — король мира, потому что правительства всех стран — его должники и готовы повиноваться его малейшему

жесту. Если он скажет сегодня: хочу, чтобы Азия пошла войной на Европу,— завтра все железные дороги с Востока на Запад будут заполнены желтокожими, и через месяц во всех столицах Европы будут править манджурские губернаторы! И этого человека вы называете своим дядей! Да нет! Вы надо мной смеетесь или заблуждаетесь сами. Не может племянник Питера Варстрема сидеть в трактире «Синей Сирены» и пить вино, которым его угощает старый Тобби!

— Повторяю вам,— возразил я уже строго,— что здесь нет ни насмешки, ни ошибки. Я точно племянник того человека, которого вы величаете королем мира. Но действительно, в то время, как он властвовал над правительствами всех стран и замышлял дворцы на вершине Монблана, его сестра, а моя мать, бедствовала в маленьком городке на Дунае, зарабатывала гроши стенографией и умерла если не с голоду, то все же от разных лишений, расстроивших ее здоровье. Ведь сказали же вы о себе: я не совсем то, чем кажусь с первого взгляда. Так и я: я тоже не совсем то, чем сначала вам показался.

Тогда старый Тобби торжественно встал, поднял стакан с остатками вина и произнес очень серьезно:

— Если так, молодой человек, не окажитесь неблагодарным. Вспомните, когда будете в славе и в силе, что старый, пьяный и грязный старик однажды, не зная, кто вы такой, первый подошел к вам, угостил вас вином и от души предложил вам свою помощь. Пью за ваш успех, господин Варстрем, за ваше примирение с дядей, за ваше будущее превращение, пью за то, чтобы вы скорее приняли тот образ, какой вам подобает! Будьте здоровы, помните мое имя: старый Тобби, а я сумею найти вас.

Старик протянул мне руку. У меня не было никаких причин отказать ему в своей. Мы расстались, как хорошие друзья. И через десять минут я уже был в своей комнате, тщательно запер дверь, наскоро сбросил платье и кинулся в постель с несвежим бельем, измученный, как человек, который пережил за один день больше, чем за всю предшествующую жизнь.

. . . .

Из главы второй

. . . .

Кажется, все было сделано, чтобы здание Международного банка производило впечатление наиболее сильное.

Дом был поставлен на широкой площади, где перекрещивались линии разных трамваев. Десятиэтажный, он, как гигантская декорация, служил фоном для беспрерывных сцен, которые разыгрывала на площади жизнь Столицы. Приливали и отливали волны народа, как громадные ящеры стремительно сползали и убегали прочь вагоны, грузовые автомобили порой наводняли все свободное место, но пестрая, из разноцветного камня, достаточно безвкусная стена продолжала закрывать даль. Эти десять рядов окон, эти нестройные фаль-

шивые колонии, этот неуместно прихотливый изгиб крыши с мозаичной картиной под ним стояли здесь, как судьба. Здание подавляло собой все кругом, и только гигантские трубы городской электрической станции, торжествуя над его вышиной, выдвигались сзади, уходя в сырой туман неба.

По мере того, как я приближался по улицам к банку, мое волнение все усиливалось. Сердце начало биться так, что я едва мог дышать. Мне показалось, что, войдя в дверь, я не в силах буду произнести ни слова. Я стыдился этого волнения, но не мог его преодолеть. Я начал медленно ходить взад и вперед по тротуару, чтобы дать себе успокоиться.

Наконец, я решился переступить порог. Из вестибюля вело три громадных стеклянных двери. Я выбрал ту из них, на которой было написано «Канцелярия». В несообразно большой комнате, которая по размерам могла бы служить тронной залой в ассирийском дворце, за десятками столов сидело несколько десятков служащих, не обративших на мое появление никакого внимания. После долгого колебания я заговорил с ближайшим:

— Извините, пожалуйста, как мне передать письмо Питеру Варстрему?

Теперь я понимаю всю несообразность такого вопроса, но тогда, по своей наивности, искренно воображал, что дядя может немедленно принять меня.

Тот, кому я задал свой вопрос, поднял на меня глаза, несколько мгновений смотрел на меня, вероятно, с насмешкой или с презрением, потом бросил коротко:

— В отделение прошений.

— Но я вовсе не с прошением...

— Извините, мне некогда.

С этого начались мои томительные попытки вручить моему дяде письмо моей матери. То, что у нас в городе казалось просто и естественно, оказалось в Столице делом сложным и затруднительным. Я переходил из одной канцелярии в другую, из одного этажа в другой, ждал подолгу в приемных, выслушивал отказы и оскорбительные ответы, и в конце концов мне везде говорили одно и то же: я должен передать свое письмо в отделение прошений, где его прочтет особый секретарь, который и решит, должно ли его представить дяде.

— Но это письмо частное, личное...

— У г. Варстрема нет личной переписки.

— Это письмо его сестры, его родной сестры!

— Секретарь это рассмотрит.

— Мне надо лично видеть г. Варстрема.

— Г. директор не принимает никого.

Я испытывал негодование при одной мысли, что письмо моей матери, в котором она, ради своего сына, ради меня, может быть, унижается перед братом, что это дорогое, священное для меня письмо будут читать равнодушные и наглые глаза какого-то секретаря. Я попросил себе бумаги и написал дяде другое письмо, уже от себя лично, в котором

объяснил, кто я и почему добиваюсь его видеть. Это письмо я и передал в «отделение прошений».

— За ответом зайдите дня через четыре...

Из Международного банка я вышел с таким ощущением, словно меня только что подвергли унизительному наказанию. Как часто, в следующие месяцы, пришлось мне вновь сознавать в душе то же чувство, выходя из гигантских стеклянных дверей этого учреждения! И до сих пор это торжественное здание, долгие годы попиравшее надменно центр Столицы, вспоминается мне, как пышный застенок, где на тысячи разнообразных ладов нравственно пытали и всячески оскорбляли тех несчастливцев, что попадали в лапы миллионнорукого спрута, голову которого именовали Питер Варстрем.

Когда мое «прошение» поступило, наконец, по назначению и я получил на него официальную квитанцию, было уже далеко за полдень. Но мне не хотелось возвращаться в «Синюю Сирену», уже по одному тому, что мне было бы неприятно давать какие-нибудь объяснения старому Тобби. Я пошел бесцельно бродить по улицам, присматриваясь к движению Столицы, где для меня, провинциала, на каждом повороте открывались новые неожиданности и новые приманки. Я чувствовал себя как бы в необъятном музее, с той только разницей, что то был музей — живой, не восковые слепки с чуждой, неизвестной жизни, но самая эта жизнь, увлекательная по своей непосредственности и непринужденности.

Так смотрел я на дам, пролетавших мимо меня в колясках и автомобилях, и эти дамы, одетые в изысканные костюмы, с лицами, выхоленными в разных «Институтах красоты», казались мне недоступными существами иного мира, и я внутренно смеялся над собой, воображая то смущение, какое испытал бы, если бы мне пришлось заговорить с одной из них. Я останавливался перед зеркальными окнами магазинов, изучая эталажи ювелиров, парфюмеров, модных мастерских, гастрономической и винной торговли, кондитерских, табачных; всюду виднелись сотни вещей, самые назначения которых мне были неизвестны, которые соблазняли мое любопытство и дразнили мое воображение. Я входил в пассажи и универсальные магазины, чтобы насладиться скорбным и жгучим чувством своего страшного одиночества в бессчетной толпе, нарядной, суетливой, вечно сменявшейся и с поразительным бесстрастием не обращавшей на меня никакого внимания. Я упивался зрелищем самого каменного остова этого великого города, уничтожившего землю и небо и создавшего вместо них свой мир из кирпича, гранита, мрамора, стекла, стали, железа, который казался мне несокрушимым, назначенным жить сотни тысячелетий, стать сверстником человечества, как становятся сверстниками два старика, хотя бы их разделяло двадцать или тридцать лет жизни.

Уже вечерело, когда я вошел в один из музеев, около которого случайно оказался. То был мало посещаемый, почитаемый «скучным», «Социологический музей». На стенах висе-

ли диаграммы, наглядно показывающие накопление богатства в руках немногих, сравнительные бюджеты рабочих разных стран, распределение населения по роду труда и т. под. В витринах были выставлены образцы домиков для рабочих, выстроенных разными фабрикантами-благотворителями, модели машин и орудий производства, изображения обычной обстановки жизни разных классов общества, впрочем исключительно неимущих. Было там еще несколько портретов, которые должны были увековечить черты знаменитых «друзей человечества», боровшихся с вековой «социальной неправдой»: лица умные, благородные, но как-то странно чужие, не сроднившиеся с нашим воображением так, как лица иных поэтов, путешественников или полководцев.

Я был в таком настроении, что на меня этот музей произвел впечатление громадное. После того как я только что рассматривал городские дворцы столичных богачей, любовался на одетых в шелк и золото красавиц, гадал о назначении тысячи предметов утонченной роскоши — это воспроизведение подробностей рабочей жизни было контрастом разительным. Я вдруг представил себе миллионы людей, которые, поколение за поколением, роются в шахтах, льют расплавленный чугун, присматривают за ткацкими и прядильными машинами, шлифуют алмазы, набирают книги, работают в сотнях других производств, все это лишь затем, чтобы сколько-то тысяч счастливцев, по прихоти рока родившихся в иных условиях, могли всячески услаждать свое тело и свой дух. И как ни банальны были эти соображения, как ни обычны были все эти противоположения, даже для меня, юноши и провинциала, но вдруг я понял всю их силу, весь их смысл, всю их неопровержимую правду. Великая утонченность столичной жизни, радость бытия для взысканных судьбой — и великое рабство всего остального населения земли, страдания и унижения для пасынков судьбы: почему?

Мне вспомнились все споры, которые велись на эти темы у нас, в старших классах коллежа. Но в ту минуту все доводы защитников современного строя мне показались бессильными и ничтожными. Пусть там, на вершинах, куются культурные ценности, пусть досуг, дарованный «избранным», позволяет им двигать вперед науку и искусство, пусть эти «избранные» являются истинными представителями планеты земли во вселенском состязании миров — но разве же это оправдывает телесную и духовную гибель миллионов других? Разве, по древнему изречению, «цель оправдывает средства»? И не должно ли узнать у этих погибающих, хотят ли они служить тем черноземом, на котором вырастают красивые цветы земной культуры? И если спросили бы меня тогда, что же делать, как все это поправить, неужели лучше рисковать гибелью этой самой культуры, я бы ответил: что делают, когда видят несправедливость? когда на ваших глазах взрослый, пользуясь своей силой, истязает ребенка? — не спрашивают, но, подчиняясь голосу чувства, спешат помочь слабому. Пусть будет,

что будет, но этот голос чувства кричит нам, что совершается несправедливость. Пусть же рушится великая Столица, пусть обращаются в прах каменно-стальные дворцы, пусть гибнут библиотеки и музеи, исчезают памятники искусства, горят кострами книги ученых и поэтов, пусть даже совершается тысяча новых несправедливостей, только бы освободиться от этой, которая, как чудовищный кошмар, давит мир тысячелетие за тысячелетием!

...Звон, означающий, что музей запирается, заставил меня вновь выйти на улицу. Уже загорались фонари, начиналось новое, характерно вечернее движение, везде мелькали крикливо одетые, намеренно ярко подкрашенные женщины, в свете электричества город казался преображенным, потерял свою суровость и приобрел что-то вкрадчиво-соблазнительное. Каждая улица казалась маленьким миром, и не было впечатления одного громадного, безмерного чудовища, уместившего в своей утробе миллионы живых существ.

У двери одного из домов, в каком-то переулке, меня окликнула женщина, стоявшая там без шляпки, в маскарадном костюме.

— Молодой человек, зайдите к нам выпить вина!

Я догадался, что здесь публичный дом. Любопытство, желание увидеть все облики города, заставило меня войти. Женщина весело побежала по лестнице, показывая мне дорогу; я, не без колебания, следовал за ней...

. . . .

Из главы четвертой

. . . .

Пока подъемная машина подымалась наверх, я употреблял все усилия, чтобы преодолеть смущение, и рукой сжимал сердце, которое продолжало колотиться в груди. Я чувствовал, что бледен, как смертельно раненный. Нарочно, чтобы только приучить свой голос произносить слова, я спросил что-то служителя, управлявшего машиной.

В самом верхнем этаже мы остановились. Здесь мы были отрезаны от мира. Сюда не было никаких лестниц. Проникнуть в этот этаж можно было только по подъемнику. Если бы кто-нибудь покусился на жизнь «короля мира», преступник оказался бы в западне: ему невозможно было бы бежать с десятого этажа.

Небольшой коридор привел нас в приемную. Здесь меня опять попросили подождать. На стенах висели совершенно не подходившие к этому месту наивные литографии, изображавшие какие-то мирные сельские виды. Я стал рассматривать изображение какого-то лесочка, когда растворилась дверь приемной и из нее вышел мой предшественник по аудиенции. Это был пожилой господин, по-видимому, делец; лицо его было багровым — он даже не скрывал своего крайнего волнения. Мне показалось, что он шатается. В ту же минуту кто-то,— я не успел рассмотреть кто,— сказал мне:

— Пожалуйте, господин директор ждет вас.

И я вошел в заветную комнату.

Небольшой, удлиненный кабинет, просто обставленный. Несколько телефонов на стене. Шкафы с книгами и бумагами. Мраморный бюст Наполеона. В глубине, за длинным столом, трое секретарей: около одного из них телеграфный аппарат. На первом месте, посереди комнаты, другой массивный письменный стол, почти пустой, на котором отчетливо выделяется мраморная доска с целой системой кнопок от электрических звонков; за этим столом — не старый еще человек, с окладистой бородкой, с лицом ничем не замечательным: мой дядя, главный директор и владелец Международного банка, Питер Варстрем.

Я стою неподвижно, приблизившись к столу. Я не знаю, что должен сделать: броситься в объятия дяди? ждать, что он мне протянет руку? поклониться почтительно? или даже, как древнему рабу пред ликом царя, пасть ниц?

— У вас есть ко мне письмо?

Он не добавил: «от моей сестры». Голос у дяди спокойный, уверенный. Так говорят люди, которые знают, что каждое их слово будет повторено, станет историческим.

— Да, моя мать, умирая, потребовала от меня, чтобы я передал вам вот это письмо.

Я с легким поклоном, заботясь об том, чтобы не быть подобострастным, подаю конверт. Дядя берет его из моих рук, вскрывает, читает. Лицо его как маска: на нем нет ни малейшего выражения, ни горя, ни любопытства, ни даже снисходительной любезности.

Письмо прочтено. Дядя положил его на стол и смотрит прямо на меня. Я не опускаю глаз. Длится жестокое молчание. Нервно застучал телеграф.

Наконец, дядя начинает говорить:

— Сестра меня просит принять участие в вашей судьбе и поручает мне вас. Она хочет, чтобы я был вашим опекуном. Когда я расставался с сестрой, двадцать пять лет назад, мы оба были богаты одинаково, вернее, одинаково бедны. Я избрал одни принципы жизни, она — другие. Я знаю, что она меня осуждала. Теперь, посылая вас ко мне, она тем самым сознается, что была не права. Но понимала ли она и понимаете ли вы, что вы можете искать у меня? Вы, может быть, представляли себе мою жизнь как вечный праздник. Думали, что я провожу дни в постоянных удовольствиях. И вы ждали, может быть, что я уделю вам как родственнику хоть малую долю этих радостей. Все, кто меня знают, вам скажут, что моя жизнь не такова. Мое глубокое убеждение, что в мире есть лишь одна сила — работа. Достичь чего-либо можно только работой. Удача, случай, счастие — ничто: все дает нам лишь труд. Этим принципам должны следовать все, кто рассчитывает на мою поддержку, и я первый всегда им верен. В течение двадцати пяти лет каждое утро, в шесть часов, я уже за этим столом. Я завтракаю здесь же и выхожу отсюда,

чтобы пообедать, на один час. Очень часто я остаюсь в этой комнате до поздней ночи. Я признаю своей честью подавать пример служащим, и им известно, что я работаю не меньше, чем они, но больше. Им я оставляю свободными праздники, меня же некому освободить, и редко мне не приходится здесь же сидеть и в праздничные дни. Так я работал, когда создавал свое дело. Теперь, когда оно создано, я считаю, что обязан работать вдвое. Мое дело уже переросло меня самого, теперь не я им владею, но оно властвует мною. Мой священный долг — дать ему вполне развить все скрытые в нем возможности. В наши дни не правительства отдельных государств делают историю, но банкиры. На мне лежит ответственность за ход мировых событий, и это обязывает. Моему делу я отдаю все свое время, все свои силы и охотно отдам жизнь. Вы пришли просить у меня помощи: я могу дать вам возможность участвовать в моей работе. Подумайте серьезно, этого ли вы искали.

— Вот здесь,— продолжал дядя,— ваши бумаги: я вижу из них, что вы знаете. Здесь также отзыв директора вашего лицея: я попросил доставить мне этот отзыв по телеграфу. Директор сообщает, что у вас характер мечтательный. Это не порок в двадцать лет, но с годами человек рассудительный должен от этого избавиться. Я тоже был мечтателем. Но вы, если хотите моей поддержки, должны усвоить себе те начала, о которых сейчас я вам говорил. Вы должны при этом помнить, что нет труда неблагородного и что человек имеет право лишь на то, что заработал сам. Итак, если вы готовы трудиться, я отдам приказание, чтобы вас приняли в наш дом. Вы своевременно получите извещение, когда начинать службу. И какова бы ни была ваша должность, я надеюсь, вы будете исполнять ее добросовестно. В живом деле все, и великое и малое, служит единой цели. Машина может работать правильно лишь в том случае, если в ней исправны даже самые маленькие колесики. Работая честно, вы можете быть уверены, что, в память сестры, я слежу за вашей судьбой. У меня не будет времени лично видеться с вами, но вы не должны будете думать, что я вас забыл. Мне надо испытать ваш характер, вашу волю и ваши способности, и я позову вас, может быть, в тот час, когда вы этого всего менее будете ожидать. Разумеется, я не имею права удерживать вас у себя насильно. Вы свободны оставить мой дом, когда вам будет угодно. Но знайте, что, если вы покинете мою службу, я буду считать, что все наши отношения кончены. После этого я попрошу вас не обращаться ко мне ни с какими просьбами: они останутся без ответа. Вот все, что я должен был вам сказать. Прощайте. Надеюсь, что мне придется быть довольным своим сегодняшним поступком. И мое последнее слово к вам: трудитесь!

Дядя, говоря заключительную фразу, чуть-чуть наклонил голову, давая знак, что аудиенция окончена. Я искал слов хотя бы простой вежливой благодарности, но не мог найти ни одного выражения: с такой холодной отчужденностью была

произиесеиа вся речь. Было такое ощущение, что я н дядя — ие два живых человека, правда, разделеииых бескоиечиым числом ступеней социальной лестиицы, ио два мертвых олицетворения: владыки мира н случайиой едииицы из миллиоиов живущнх. С большим трудом я заставил себя пробормотать:

— Поверьте, сэр, что я употреблю все усилия, чтобы оправдать ваше доверие н быть достойным вашего вниманиия...

Мне сейчас же стало стыдио этнх бессодержательных слов, ио дядя, кажется, и не расслышал нх. Одни нз секретарей уже был около меня, чтобы показать мие дорогу к подъемнику. И, выходя, я расслышал, как дядя, обращаясь к другому секретарю, сказал ему:

— Этот разговор вы можете опублнковать...

. . . .

На другой деиь, в одной нз самых больших утренних газет, я прочел такую заметку:

«Мы счастливы, что нмеем возможиость привестн небольшую речь, произиесениую по одному частному поводу нашим известным фииаисовым деятелем, м-ром Пнтером Варстремом. Принимая иа службу в своей банк одиого дальиего родственинка, он обратился к нему с таким, глубоко замечательиыми словами, характерзующнмн в то же время нзумнтельную, неутомнмую деятельиость и возвышенные, стойкие прннципы знаменнтого и высокочтимого учредителя и владельца Междуиародиого баика».

Далее следовала, почти целиком, та речь, которую дядя произнес передо миой. Очевидно, он приготовнл ее зараиее. Впрочем, иекоторые интимные подробностн, все, что относилось лнчио ко мне, было пропущено.

После воспроизведения речн в газете стояло: «Пользуемся случаем привести несколько цифр, знакомящнх с деятельностью Международнего баика». Из длниного перечия, следовавшего далее, можно было узиать, что бюджет баика равнялся бюджету первостепениого государства, что банк имеет иесколько сот отделеиий в разлнчных городах всех частей света, что в одном центральном отделеини, иаходящемся в Столнце, в баике занято несколько тысяч человек, и т. д. Прнбавлеио было н иесколько анекдотнческнх цнфр, вроде того, что стонмость чериил, нстребляемых в банке ежегодио, превышает стоимость броиеиосца, что бумагой, которую нзводнт банк каждый год, можио было бы обериуть земиой шар, что только для обрезаиня купоиов у процеитиых бумаг баик нмеет особый штат из сотни служащнх, работающнх безостановочно, с утра до вечера, н т. под.

Я должеи призиаться, что эта рекламиая статейка заставнла меня задуматься. Для меня начало ясиее вырнсовываться зиачение того учреждеиия, к которому я уже прниадлежал. И образ моего дяди, к которому я прнвык, по рассказам матери, относнться свысока, стал прииимать в моем воображенни размеры тнтаннческие. Мие уже не показалось страииым, что в его кабинете стоял мраморный бюст великого корсиканца.

Из главы пятой

. . . .

Когда первый порыв негодования несколько улегся, я вновь получил способность рассуждать. Я по-прежнему чувствовал себя оскорбленным, униженным до последней степени, но уже мог найти некоторые успокоительные доводы.

Не было никакого сомнения, что та должность, какую мне поручили, была ниже меня. Мое образование нельзя было назвать блистательным, но все же я окончил курс коллежа и слушал лекции в университете. И дяде это было известно. Я ничем не проявил своих способностей и дарований, но ведь естественно было допустить, что я способен на большее, чем быть механическим счетчиком, заменять собою машину, так как порученную мне работу бесспорно мог бы выполнять искусно приспособленный аппарат. Наконец, в самых условиях моей работы было крайнее унижение, нечто такое, с чем не могла мириться примитивная человеческая гордость, что оскорбляло самое элементарное чувство собственного достоинства. В этих условиях было основное недоверие к моей честности, ими я прямо определялся как мошенник, как человек, способный на воровство, которого надо всеми средствами лишить возможности проявить свою злую волю. Одним словом — условия моей работы были позорными.

С другой стороны, я говорил себе, что это назначение могло быть простым испытанием. Я напоминал себе заключительные фразы из речи дяди. Он ими как будто уже намекал на ожидавшее меня. «Вы должны помнить, что нет труда неблагородного»,— говорил он. «Я должен испытать ваш характер»,— добавлял он. Зная немного Питера Варстрема, легко было предположить, что он нарочно приказал мне дать сначала самую унизительную должность, чтобы убедиться, что я готов повиноваться ему слепо. «Вы можете быть уверены, что я слежу за вашей судьбой»,— сказал он. «Я позову вас, может быть, в тот час, когда вы этого всего менее будете ожидать». В этих словах заключалась надежда. Неужели же у меня не достанет силы воли, чтобы заставить себя перенести посланное мне унижение ради тех преимуществ, которые могут меня ждать в будущем?

И все же, после всех этих доводов, я не мог преодолеть чувства беспредельного, мучительного стыда при одном воспоминании о первом дне моей службы. При мысли, что то же самое должно возобновиться завтра, и послезавтра, и будет повторяться каждый день, неизвестно сколько времени, я испытывал желание все бросить, отказаться от всякой поддержки могущественного родственника, терпеть нужду, самые крайние лишения, даже погибнуть, только бы не идти еще раз на поругание. Внутренний голос говорил мне, что я не имею права, не смею унижать себя ни ради каких благ. Есть средства, которые не оправдываются никакой целью.

Эту первую ночь после поступления на службу в Международный банк я провел, как преступник, приговоренный к

смертной казни. Я не мог спать, я мучился до утра размышлениями, как мне должно поступить. Много раз я давал себе клятву, что на другой же день пошлю дяде свой решительный отказ. Но потом доводы благоразумия брали верх, и я отрекался вновь от своей клятвы.

Моим последним соображением было то, что к дяде меня послала мать. Она взяла с меня слово, что я буду просить его устроить мою жизнь. Я это обещал матери, и было бы нечестно не исполнить своего обещания, по крайней мере не попытаться его исполнить. В конце концов я порешил на том, что буду подчиняться воле дяди в течение шести недель. Если должность, которую он мне назначил, только испытание,— он будет иметь время за полтора месяца убедиться и в моих способностях и в моей готовности ему повиноваться. В продолжение шести недель я постараюсь исполнять свои обязанности, сколько могу добросовестно. Если же по прошествии этого срока ничего в моей судьбе не изменится, мне останется лишь одно: покинуть дом Питера Варстрема и пролагать себе путь в жизни собственными силами.

С таким решением я отправился на следующий день в банк, чтобы вновь приняться за свое дело счетчика. В тот же день я должен был переехать жить в особый отель, построенный Питером Варстремом специально для служащих его банка.

. . . .

Начались дни моей службы.

Каждое утро, к 7 часам я, среди своих сотоварищей, уже был в «сборной» — маленькой комнатке, где мы перед работой уныло шутили и курили утренние папиросы.

По звонку мы раздевались, вешая свое платье в особые нумерованные шкапы с запором. Как я говорил, работать мы должны были совершенно обнаженными. В прежних государствах так работали преступники на монетных дворах.

Наша рабочая комната была огромным залом с широкими окнами, завешанными палевыми гардинами. У каждого из нас был свой мраморный стол, за которым он и проводил весь день. Мой стол был за № 26, и сам я был уже не человеком, не лицом, но таким же № 26.

Подъемные машины беспрерывно поднимали из нижнего этажа запечатанные ящики с монетами. Распорядитель высыпал их на стол. Наше дело было просматривать эти монеты, откладывать негодные или неполновесные, сортировать и считать хорошие и закатывать их в бумагу столбиками, на определенную сумму. На грифельной доске мы отмечали сумму сосчитанных монет, и редкий день итог каждого из нас не превышал миллиона франков...

От постоянного блеска золота утомлялись глаза; от однообразных движений изнемогали руки; ум тупел от машинального складывания цифр. Ненавистная работа казалась еще ненавистней из-за того, что орудием ее были деньги, громадные суммы денег, безмерные богатства, проливавшиеся сквозь

наши пальцы, чтобы дать нам право в конце месяца на ничтожные гроши вознаграждения. Мы были умирающие от жажды, которые должны были ежедневно пропускать через шлюзы моря, океаны прекрасной, свежей воды, пить которую будут другие!

Работа длилась девять часов. Между полднем и двумя часами дня у нас был отдых для обеда, который подавался нам в особой столовой. Мои товарищи умели веселиться за эти часы, смеялись, рассказывали анекдоты, но мне было стыдно смотреть в глаза тем, кто только что были свидетелями моего унижения. Я обычно молчал, уклоняясь от всех разговоров, и не намекал, конечно, и полусловом на свое родство с нашим «директором». Среди товарищей я, с самых первых дней, прослыл нелюдимом, мизантропом. Кажется, меня не любили...

В шесть часов вновь звонил колокол: трудовой день был кончен. Но мы не освобождались из-под смертельных чар Спрута-банка. «Король» Варстрем не хотел отказаться от власти над своими подданными и после того, как они выполнили принятые на себя обязанности. Он желал купить не только нашу работу, но и нашу жизнь.

Под предлогом дать своим служащим дешевые и удобные квартиры Варстрем построил особый отель, в котором должны были жить все служащие в его банке. За цену, действительно очень недорогую, они получали там помещение и постель[1]. Женатым и занимающим более значительные должности предоставлялись целые квартиры, одиноким и мелким служащим — отдельные комнаты. Отель был обставлен со всеми удобствами, даже не без роскоши; в нем были ванны и курительные комнаты, своя прачечная, своя парикмахерская, своя аптека; при отеле состояли особый врач и юрист для консультации; были в отеле библиотека и читальня, зал для разных видов спорта, гимнастики и фехтования, сцена для любительских спектаклей, гостиные для больших приемов. Но жизнь в отеле была обставлена длинным рядом стеснительных правил, предусматривавших чуть ли не каждый наш шаг. Мы должны были возвращаться домой к определенному часу или брать особые отпуски, мы не имели права пить вино в своей комнате, нам было запрещено принимать у себя гостей позже полуночи, в случае болезни мы были обязаны обращаться к нашему врачу и т. д. Все это обращало отель в комфортабельную тюрьму, и, конечно, многие, если не все, предпочли бы пышной клетке самую жалкую обстановку, только бы чувствовать себя «у себя», на воле, в своем доме, где можешь распоряжаться по-своему.

И направляясь, после девятичасовой работы, в «отель Варстрема», мы ощущали все, что от одной формы рабства переходим к другой, и не было у нас беззаботной веселости

[1] В тексте Брюсова, видимо, незамеченная описка: «отель» *(прим сост.)*.

обычного труженика, отработавшего урочные часы и идущего отдыхать «домой», в круг семьи, где он сам себе господин и где уже нет над ним «директора».

Из главы седьмой

. . . .

С Анни я встречался каждый день, так как она служила в том же Международном банке, в бухгалтерском отделении. С первых же дней службы я заметил ее нежное лицо с большими ресницами и бледным, скорбно изогнутым ртом. В толпе женщин, выходивших вместе с нами после шести часов из стеклянных дверей банка, она отличалась особой стройностью движений и какой-то не то скромной, не то гордой отчужденностью от всех... Или, может быть, так это мне казалось, так как юношам моих лет всегда свойственно видеть нечто особое в женщинах, занимающих их воображение.

Нам было не трудно познакомиться, так как этому представлялось слишком много случаев: на пути в отель, за обедом, в читальне, на вечерах «отеля». Мы оба были молоды, неопытны, одиноки, и оба с одинаковой застенчивостью проходили обычные ступени влюбленности, ведущие к близости. Замедленные рукопожатья, робкие намеки, волнующие самую глубину души, бессознательное влечение быть вдвоем, наконец, условленные, но вполне целомудренные свидания — все это вновь открылось нам, как что-то новое и неожиданное, как открывалось и будет открываться тысячам и тысячам других юных сердец. Древнюю сказку любви мы еще раз в мире разыграли в лицах, и роковая сила заставляла нас произносить те самые признания, совершать те самые поступки, волноваться теми же радостями и печалями, как это вписано в золотой книге Любви, на разных языках, но без перемены единого слова, читаемой во всех странах, во всех веках, в Египте фараонов, как в эпоху Возрождения, юношами Эллады, как полудикими девушками еще не поделенной Африки, везде и всегда. И по странному затмению, которое тоже неизменно овладевает умами всех в эту пору, мы, играя свои роли, уже не помнили об том, чем должна окончиться эта поистине «божественная» комедия, не помнили ее предустановленной развязки, хотя столько раз читали ее в книгах любимых поэтов.

Наша любовь развивалась медленно, и вместе с тем медленно весь мир менялся для меня. По мере того, как я начинал сознавать, как близка мне Анни, по мере того, как узнавал, что и я близок и дорог ей, все ненавистное в жизни становилось постепенно милее и желаннее, чтобы стать в конце концов прекрасным. Как для тех влюбленных, которым судьба судила сжать губы в первом поцелуе в росистом поле или в старом парке, кажутся особенно яркими звезды и особенно прозрачной луна,— нам, осужденным на тесные улицы и склепы комнат, представлялись пленительными то дальние городские перспективы в озарении электрического света, то

ночная тишь, таинственно сменяющая дневной гул, то причудливость той же сельской луны, вдруг встающей мутно-красным диском над плоскостями крыш, в прорезе между двумя слепыми стенами двух домов-гигантов. Мы находили неожиданную прелесть в лицах встречающихся с нами людей, радовались на их приветные слова, в которых слышалось нам сердечное доброжелательство нашему восходящему счастию, восхищались самыми обычными предметами повседневной обстановки, были готовы любоваться забытым на столе стаканом, преломлявшим в своих гранях луч уличного фонаря, или рыночным узором скатерти, внезапно становившимся многозначительным символом нашей судьбы, нашего сближения.

Дни проходили, но для нас были только свидания. Мы жили памятью вчерашней встречи и ожиданием встречи сегодняшней. Мы жили, когда были вместе, и сладко обмирали в те часы, когда были разлучены. Но свидания возобновлялись каждый день, и все дни, вся жизнь скоро стала одной беспрерывной радостью.

. . . .

Обычно я встречался с Анни после нашего обеда. Она была столь же одинока в жизни, как я, никому не должна была давать отчет, и я приходил к ней, в ее маленькую комнатку, на женской половине «отеля». Иногда мы читали вместе, так как обоим нам нравились одни и те же поэты, оба интересовались одними и теми же книгами. Иногда целый вечер вели тихим голосом те разговоры, которые кажутся влюбленным бесконечно значительными, но оказались бы, вероятно, странным повторением одного и того же, будь они записаны фонографически. Но чаще всего, пользуясь теплой, солнечной осенью, мы уходили бродить по городу или уезжали в ближайшие окрестности. Мы были бедны, театры и концерты были нам недоступны, но Столица была достаточно щедра, чтобы по крайней мере «зрелища» обеспечить всем своим детям и рабам.

Чаще всего мы уходили в Зоологический сад, так как в него не надо было ехать по железной дороге. Теперь, когда, после страшной катастрофы недавних лет, Столицы более нет, когда, по слову апостола, на месте прежних дворцов свищут змеи, селятся волки и стадятся лани,— я думаю, не я один, а многие с грустью вспоминают это удивительное учреждение. Как известно, столичный Зоологический сад занимал площадь в несколько тысяч кв. метров. Его хотелось скорее назвать не парком, но особой страной, населенной зверями всего земного шара. И каждый из них мог жить в тех же условиях, как у себя на родине: иные, может быть, даже не замечали своего рабства.

Мы с Анни особенно любили наблюдать за пантерами, помещенными в гигантской клетке, построенной прихотливыми изгибами, так что посетители могли входить как бы в самую ее глубину. Эта клетка вмещала в себя и скалы

с пещерами, где звери спали ночью, и целые заросли диких кустарников, где они укрывались летом от зноя, и широкие луговины, где они могли вволю бегать, прыгать и кататься, играя друг с другом. Мы находили бесконечное очарование в вольной гибкости их движений, в напряженности мускулов, готовящихся к скачку, в хищном оскале пасти зверя, ожидающего привычного корма. Там была одна черная пантера, которую я готов был назвать воплощением животной красоты. Скелет ее был совершеннейшей из машин, изобретенных умом человеческим или нечеловеческим, в нем все было рассчитано на то, чтобы с наименьшей затратой сил достигать результата наибольшего, и это придавало ей стройность необыкновенную. Черная шкура ее отливала попеременно всеми красками, как самая прихотливая шерстяная материя, но никакая фабрика в мире не могла бы достичь той же глубины цвета, и когда животное двигалось, казалось, что идет олицетворенная мечта. Это было такое совершенство форм, все в этой черной пантере так отвечало отвлеченной идее о «звере», каждая черта ее была так необходима, что можно было часами любоваться на ее свободные прогулки по полянам клетки, на ее ленивый сон на краю утеса или на ее стремительные прыжки, словно подчиненные мощной пружине.

От пантер мы проходили к белым медведям, у которых был и свой ледяной грот, где во все времена года было холодно, как зимой, и свое искусственное ледяное поле, и громадный водоем, где они могли плавать и ловить рыбу. По особой лестнице, винтом уходившей в толщу скалы, можно было спуститься к самой глубине их берлоги и наблюдать, незаметно для них, их тайную семейную жизнь в те минуты, когда они почитали себя укрывшимися от людских докучных взглядов. Тут подглядывали мы сцены дикой нежности двух громадных белошерстых туш, похожих более на грубые, неумелые изваяния, чем на живых существ, подглядывали их громоздкие ласки, подслушивали их любовные стоны, напоминавшие рев паровоза, видели исступление их страсти, заставлявшее думать о сладострастных забавах допотопных плиозавров.

Мы наблюдали потом вольный разбег верблюдов; мудрое раздумье слонов; отвратительное человекоподобие обезьян; пресыщенность силою львов; угрюмое безразличие носорога и чудовищное безобразие левиафана-бегемота; наблюдали гнусно-наглых гиен, бесшерстых, дрожащих лаией, козлов с привешенной головой диавола, широкозадых зебр, хитрых, завернутых в шубу росомах, рысей, которых немецкая сказка метко почитала переодетыми лесными царями, тигров с бородой, на которой должна бы запекаться кровь, тупых буйволов и лукавых барсуков — наблюдали весь этот мир земных тварей, из которых каждая выражала ту или иную сущность человеческой души, которые все кажутся примерами, начертанными Великим Учителем на поучение человеку в старой «книге природы». А после ждали нас еще громадные клетки птиц, слепивших стоцветными оперениями, то легких, как летающие

пушинки, то тяжких, как окрыленные глыбы гранита, поющих нежно, кричащих страшно, свистящих злобно и насмешливо, длинноносых, широколапых, извивающихся, как переменчивая выпь, или угрюмо-гордых, как серые грифы, или давно ставших неживыми символами, как белые чайки. И, еще после, можно было сойти в подземелье, где за громадными стеклами открывалось население рек и моря, где плавали, свивались, скользили, ныряли, парили недвижно, мелькали стада и единицы столь же разноцветных рыб, с переливчатой чешуей, с глазами всегда изумленными, с всегда испуганно дышащими жабрами. Там можно было содрогаться, глядя на червеобразных муреи, упиваться несообразностью рыб-телескопов, отворачиваться от мерзостных скатов и часами высматривать метаморфозы наводящего ужас, омерзение, но тайно соблазняющего осминога, который то лежал, как бесформенный кусок слизи, то вытягивался, как фантастическое вещество не нашего мира, то вдруг превращался в ловкого и хищного зверя, стремительно и самоуверенно бросающегося на добычу.

В зрелище этих живых существ, которые и в неволе сохранили какую-то долю дикой свободы, в их отважной повадке, в их надменных движениях, чуждых унижения, в красоте их форм, в самом блеске их твердых зрачков было для нас двоих, проводящих день в покорном рабстве, нечто неодолимо пленительное, нечто наполнявшее нас невыразимой и утешительной тоской. Видя, как барс грызет прутья клетки, или как орел еще раз, с клекотом, пытается взлететь выше своего гигантского куполообразного храма, или как лиса вольно шныряет по тропинкам отведенного ей сада,— мы обретали в наших душах почти онемевшую жажду воли и буйного произвола: инстинкты далеких тысячелетий пробуждались в нас. И подсматривая любовные схватки предоставленных своим страстям зверей, мы переставали стыдиться своего темного чувства, влекшего нас друг к другу,— и мне не стыдно признаться, что именно после того, как на наших глазах рыжая львица, глухо стеня, предавалась торжествующему, машущему гривой льву, мы впервые решились сблизить губы в поцелуе...

. . . .

Из главы восьмой

. . . .

Проходили и дни и недели. Давно миновал полуторамесячный срок, который я себе назначил. Ничего не изменилось в моем положении, и, несмотря на предупреждение дяди, я не мог не думать, что он обо мне позабыл. День за днем являлся я в ненавистное здание Международного банка, чтобы продолжать свое ненавистое и унизительное дело.

Гордость говорила мне, что мне давно пора освободиться от позорного положения. Я сознавал, что выполняемая мною работа убивает во мне все умственные силы, подавляет мои способности, разрушает мое нравственное существо. Окру-

женный людьми ничтожными, исполияя труд механическнй, каждый день подвергаясь постыдному обряду обнажения, я спускался на какую-то низшую ступень существования. Иногда с ужасом я спрашивал себя, не потерял ли я свою душу уже невозвратимо, незаметно для самого себя? Тот самый факт, что я продолжал свою службу, не был ли он признаком моего последнего падення, утраты внутренней силы.

Но расстаться с домом Варстрема значнло отойти, отдалиться от Анни, и эта мысль приковывала меня к моему месту самыми крепкими цепями. Работая в банке, живя с ней в одном доме, я мог встречаться с ней каждый день. А разве это не было блаженством, ради которого можно было согласиться на все, даже на унижения?

. . . .

В отеле Варстрема женская половина была отделена от мужской. После одиннадцати часов вечера переход из одной в другую не дозволяется. Хотя все мы были люди взрослые и самостоятельные, приходилось подчнняться этим правилам лицемерного благоприличия, как всем другим измышлениям нашей, во все желавшей вмешиваться, дирекции.

Конечно, мы находили способ обойти постановления отеля. Те из обитателей «мужской» половины, кто хотел остаться с любимой женщиной дольше установленного срока, просто не возвращался к себе в ту ночь: он оставался в запертой части отеля до утра.

Так как нам с Аннн всегда мало было назначенных по правилам часов, то очень скоро я привык проводить с ней время до зари. Наши свидания растянулись на всю ночь.

Большею частью, вернувшись после прогулки, мы спрашнвалн себе кофе и располагались у окна, которое в комнате Анни выходило на широкое авеню, так что внизу, под нами, в глубоком десятиэтажном колодце всегда волновалась жизнь столицы. Анни садилась в кресло, а я у ее ног на пол. Я брал в руки ее тонкие пальцы, видел над собой ее тихие глаза, и мы говорили бесконечно, о нашем прошлом, о прочнтанном в книгах, о вечных вопросах жизни и любвн. Очень редко говорили мы о нашем настоящем н никогда о будущем.

Анни была из строго-религиозной семьи, хотя не прннадлежала ни к какой из существующих церквей. Ее отец был проповедник, основатель маленькой христианской секты, впрочем распавшейся по его смерти. Мать, тоже умершая уже несколько лет назад, не покидала правоверного католичества, но как-то умела ценить и чтить идеи мужа. От них у Аннн осталась вера в промысл божий, желание и способность молиться н наивная боязнь греха. Как маленькая девочка, она готова была на коленах замаливать свое преступленне, когда впервые мы обменялись поцелуем...

Аннн не была образованна, но у нее был острый ум, открывавший ей во всех вещах и событиях самое существен-

ное. Ее характеристики были чудом меткости и обобщения. Она часто говорила афоризмами, сама того не замечая, не добиваясь этого. Кроме того, у нее была чудесная память, сохранявшая все, что ей случалось читать, слышать, видеть. Она все понимала с намека, и говорить с ней было наслаждение. И я думаю, что эти мои слова — объективная правда, а не преувеличения влюбленного.

Само собой понятно, что наши ночные беседы очень быстро привели нас к той черте, за которой дружеские встречи обращаются в любовные свидания. Ночная полумгла, тишина спящего дома, долгая близость двух, воздух, напитанный запахом тела,— все это против нашей воли толкало нас в объятия друг к другу. Сам того не желая, я касался ее колен, и меня влекло ощутить прикосновение ее кожи. И я замечал, что она бессознательно, безвольно, теснее прижималась ко мне, давала мне прильнуть к ней ближе.

Когда после долгого разговора о Данте, о бессмертных радостях Паоло и Франчески в аду я, подчиняясь неодолимому порыву, обнял крепко и, сжимая ее стан, сказал ей:

— Вот так разве страшно было бы в аду?

Она ответила задыхаясь:

— Да, страшно, уже только потому, что в душе жило бы томление о недоступном рае...

Потом, освободившись из моих рук, она добавила:

— Люди, которые весь смысл жизни видят в любви, мне кажутся похожими на скульптора, который заботится только о выборе хорошего мрамора. Любовь сама по себе, должно быть, прекрасное чувство, но оно становится истинно прекрасным только тогда, когда входит в душу, подготовленную к ней. Из любви, как из куска мрамора, можно сделать все: бога и демона, совершенную статую и безобразный обрубок.

Меня огорчило, что Анни могла рассуждать о любви так хладнокровно.

— Ты говоришь «должно быть»,— сказал я,— значит, ты меня не любишь!

(Мы уже давно обменялись клятвами любви.)

Анни опустила голову и прошептала тихо:

— Иногда...

. . . .

Разумеется, то, что должно было совершиться с неизбежностью, совершилось. Мы отдались друг другу, потому что были молоды, одиноки, несчастны, потому что обоим нам хотелось ласки и нежности, хотелось чувствовать себя близким кому-то...

Случилось это как-то невольно, незаметно, как могли бы упасть в пропасть дети, игравшие неосторожно на ее краю.

Как ни влекло нас оставатся вдвоем, но мы не могли преодолевать усталость после трудового дня. Первое время мы проводили часто всю ночь без сна, прижавшись один к другому, перед ночным окном, следя переходы ночи в зеленоватый рассвет и янтарную зарю. Утром, истомленные долгим

бодрствованием, бледные, бессильные, с истомой в костях, мы в последний раз сжимали друг друга в скромных объятиях, сдавливали губы в прощальном поцелуе и шли на новую работу... Потом мы все чаще и чаще стали засыпать около этого окна, засыпать на полуслове, на ласковом восклицании, и, вдруг просыпаясь утром, виновато и изумленно, мы говорили друг другу не то «здравствуй», не то «прощай». Еще позже, видя, как истомлена Анни, я уговаривал ее лечь в постель, а сам садился у ее ног и дремал, прислонившись спиной к стене... Это была опасная игра детей на краю пропасти...

Было все, что бывает в таких случаях, и страдальное «не надо!» женщины, которая ищет последних сил, чтобы отказаться от того, к чему властно влечется все ее существо, и унизительное насилие мужчины, который стыдится показаться слишком робким и уступчивым, и все безобразие неловких, неумелых движений, о которых после нельзя вспоминать без мучительного чувства стыда. Была беспощадность страсти и безудержность отчаянья, были горестные слезы, жалостная дрожь, томительное «оставь меня», и были бесполезные, условные утешения, слова, которые говорятся всеми и не нужны никому. Так, однажды утром, мы расстались, как любовники. Наши товарищи, которые не могли не знать о наших ночных свиданиях, были убеждены, что все это случилось гораздо раньше, и мы были избавлены по крайней мере от нескромных взглядов других...

С того дня моя жизнь изменилась. В нее вошло благостное присутствие страсти. Все события и все чувства озарились изнутри пламенным огнем чувственности. Новое опьянение задернуло передо мной действительность прозрачно-пламенным туманом, сквозь который все казалось прекраснее и торжественнее. Жизнь перестала быть пресной, но получила вкус смертельного и сладостного яда.

Теперь Анни, прощаясь со мной по утрам, говорила мне своим тихим, осторожным голосом:

— Прощай, Артюр! Помни весь день, что у меня более нет ничего, нет, кроме тебя. Как евангельская вдовица, я отдала тебе свои две лепты: это немного, но большего у меня не было.

И сознание, что во всем мире у Анни один защитник — я, наполняло меня гордостью и уверенностью в своих силах

Из главы двенадцатой

. . . .

Мы только что принялись вновь, после обеденного отдыха за работу, как наш «старший», переговорив по телефону, объявил нам, что сейчас посетит нас г-жа Варстрем, супруга главного директора, осматривающая все учреждения банка.

Без исключения все мы смутились. Раздались с разных сторон вопросы, должно ли нам одеться.

— Нет. Г-жа Варстрем желает видеть самый ход работ, как он совершается обыкновенно.

Женщина — в нашем мужском монастыре! Это было так необычно, что мы чувствовали себя потрясенными. Думаю, что многим, как и мне, хотелось убежать куда-то. Это посещение казалось пределом оскорбления: нас словно не считали людьми. Так древние римляики не стыдились смотреть на обнаженных рабов, так мы не стыдимся смотреть на не одетых животных...

Может быть, наш глухой протест принял бы более определенные формы, но у нас не было времени. Тотчас за заявлением «старшего» послышался скрип подъемной машины. Еще через минуту отворилась дверь, которая открывалась только для работающих в счетном отделении, и в нее вошла женщина.

Г-жа Варстрем была моложе мужа лет на десять. Но заботы о теле и искусство массажистов и институтов красоты придавали ей вид двадцатипятилетней девушки. Цвет ее лица был безукоризненный; шея — как бы из белого, чуть-чуть розоватого атласа; ее тело, стройно обтянутое модной юбкой, напомнило мне грацией движений мою любимую черную пантеру.

Она вошла одна, потому что вход в счетное отделение посторонним был строго воспрещен. Среди мраморных столов, заваленных грудами желтого золота, среди обнаженных тел работающих мужчин, в палевом свете дня, слабо проникавшем сквозь плотные занавески, она была в своем простом, но пышном платье, в своей причудливой прическе выходцем иного мира. Словно живой человек, новый Дант во образе женщины, сошел в один из кругов ада.

Проходя между столами, г-жа Варстрем обращалась к нам с расспросами, которые сама, конечно, считала милостивыми. Одного она спрашивала, утомляется ли он, другого, не слишком ли жарко в комнате, третьего, есть ли у него родные и т. д. Сознаюсь, что большинство отвечало ей совсем неприветливо. Чувствовалось подавленное раздражение в душах всех. Казалось, что нарастает мятеж, готовый каждую минуту разразиться, как удар грозы.

Г-жа Варстрем делала вид, что не замечает этого настроения залы. Она осматривала обнаженные тела с любопытством, которое доходило до непристойности. Я не сомневался, что ее привело к нам темное желание подразнить свое утомленное сладострастие. То, что я слышал о нравах этой женщины, которую называли Мессалиной, утверждало меня в моем предположении. Мне казалось, что я подмечал, как ее ноздри раздувались и как румянец волнения проступал сквозь искусственную краску ее щек.

Приблизившись ко мне, г-жа Варстрем спросила мое имя. Я ответил.

— Так вы — мой племянник,— сказала она,— очень рада узнать вас.

Она протянула мне руку. Но я сделал вид, что не замечаю этого движения, и сказал резко:

— Не знаю, мистрисс. Ваш муж действительно состоял в каком-то родстве с моей матерью. Но я полагаю, что в моем положении я не имею права считаться с этим родством.

Мои товарищи изумленно посмотрели на меня, так как я никогда не говорил им о своем родстве с директором. А г-жа Варстрем, тоже сделав вид, что не заметила моей грубости, продолжала:

— Напротив, мы должны это родство восстановить и познакомиться ближе. Пожалуйста, приходите ко мне завтра вечером, в 8 часов. Я с удовольствием узнаю вас получше. Помнится, муж мне даже говорил о вас и очень хвалил вас.

Я холодно поклонился, тут же дав себе слово, что не воспользуюсь приглашением.

Г-жа Варстрем, не рискнув вторично протянуть мне руку, пошла дальше. Но после одного ответа, особенно резкого, она поняла, что оставаться ей дольше среди нас не безопасно. Любезно поклонившись нам, она попросила «старшего» освободить нас сегодня на час раньше.

— Ваше приказание, миледи, закон! — отвечал тот.

Шурша шелковыми юбками, г-жа Варстрем удалилась. Дверь закрылась за ней, и мы вновь остались одни, угрюмые, подавленные, не смея выразить свое мнение в присутствии «старшего». Работа продолжалась, но как-то вяло, тяжело...

Когда мы одевались в нашей «раздевальной», товарищи обратились ко мне с язвительными намеками:

— Однако у вас видные родственники, г. Грайсвольд! Что же вы скрывали от нас до сих пор, что метите в начальники к нам?

— Господа,— возразил я,— вы знаете, как я работаю изо дня в день. Вы видите, что из этого пресловутого родства я не извлекаю никаких выгод. И не думаю, чтобы когда-нибудь мне пришлось им воспользоваться. Во всяком случае вы не можете упрекнуть меня, чтобы в чем-либо я поступил не по-товарищески. Что же касается приглашения директрисы, то я не собираюсь идти к ней на поклон,— и этого, кажется, довольно.

Я видел, однако, что вовсе не все были удовлетворены моими объяснениями. Какое-то отчуждение уже возникло между мною и товарищами по работе.

. . . .

Обдумав, как мне лучше поступить с приглашением г-жи Варстрем, я решил, что самое лучшее — написать ей извинительное письмо и послать его просто по почте: дойдет оно до нее или нет, это уж не мое дело. Так я и поступил, составив письмо в самых почтительных выражениях.

Однако за полчаса до срока, назначенного г-жой Варстрем, когда я собрался идти к Анни, я был вызван по телефону в контору отеля. Оказалось, что за мной прислана карета от «супруги главного директора», как подобострастно сообщил мне заведующий конторой.

— Я уже извинился перед г-жой Варстрем,— сказал я.— Я сегодня не могу поехать к ней.

Заведующий посмотрел на меня, как на человека, лишившегося ума.

— Вас желает видеть г-жа Варстрем,— повторил он раздельно.

— К сожалению, у меня нет сегодня свободного времени.

Заведующий сначала растерялся, потом стал мне грозить, потом уговаривать меня. Он говорил с таким убеждением, словно дело касалось лично его.

— Вы будете всю жизнь жалеть о своем решении,— говорил он мне.

Потому ли, что я был молод и неопытен, потому ли, что в тайне души я был согласен с доводами заведующего, но незаметно я дал себя уговорить. Я опомнился только тогда, когда уже сидел в карете. Меня охватило негодование на самого себя, на свою слабость. Я готов был выпрыгнуть на мостовую. Но карета продолжала катиться, и я побоялся показаться смешным.

Мы остановились около частного отеля Варстрема, на уединенной улице предместья. Это был небольшой, сравнительно, домик в античном вкусе. Лакей отворил дверцы. Проклиная себя, стыдясь своего скромного костюма, я вошел в вестибюль.

— Миледи приказала проводить вас...

Лакей провел меня через ряд неосвещенных зал, украшенных стенной живописью; потом следовали две или три гостиные с мягкой мебелью; здесь лакей поручил меня горничной.

— Идите прямо,— сказала она мне,— и поверните направо, где драпри.

Я повиновался. Отодвинув драпри, я оказался в небольшой комнате, едва освещенной розоватым светом. Комната была заставлена прихотливыми диванами, креслами, пуфами, маленькими столиками, этажерками с безделушками. На стенах смутно вырисовывались картины с нескромным содержанием. В одном углу белела мраморная группа сатира, бесстыдно целующего изнемогающую нимфу.

И посредине комнаты, на широком, покрытом тигровой шкурой, диване, выступая на желто-черном фоне белым телом, на которое свет бросал розовые блики, лежала неподвижно, с надменной улыбкой на губах,— совершенно обнаженная г-жа Варстрем.

Я остановился на пороге, думая в первую минуту, что ошибся дверью. Голое женское тело было единственное, что я видел в этом пышном салоне. Голое женское тело плыло в моих глазах, как в каком-то хаосе вещей.

Г-жа Варстрем тихо рассмеялась и сказала мне полунасмешливо:

— Подойдите же, племянник. Или вы совсем не хотите со мной познакомиться ближе?

Я с трудом сделал два шага. Г-жа Варстрем продолжала:

— Я получила ваше письмо. Как нехорошо отказываться

от такого любезного приглашения, как мое. Мне искренно хочется узнать вас и быть вам полезной. Не бойтесь меня: я не такая страшная, как обо мне говорят.

Я приблизился еще на несколько шагов.

Г-жа Варстрем встала, выпрямляя свои античные члены, нежно сверкая своим телом в искусственном полусвете. Она была похожа на ожившую раскрашенную статую.

— Что же вы молчите? — спросила она.— Вы всегда такой нелюдимый?

Я что-то пробомотал. Она весело рассмеялась.

— Я научу вас быть развязнее. Вы просто не привыкли к обществу. Но знаете, милый мальчик, вчера вы были красивее. Вам не идет эта темная куртка. Снимите ее. Без одежды вы — словно маленький Дионис, а в одежде вы — как все. Долой ее.

Я невольно сделал движение, чтобы защититься. Но она уже расстегивала пуговицы моей рабочей куртки, в которой я приехал к ней, так как у меня не было времени переодеться.

— Не возражайте,— говорила мне она,— ведь не стесняюсь же я быть перед вами раздетой. Чего же стесняться вам!

Она сама раздевала меня, и у меня не было сил сопротивляться. Я был поражен неожиданностью и быстротой всего происшедшего. Я был в ее руках, словно безвольная кукла, которой она забавлялась.

Через несколько минут я стоял перед ней, в залитой розовым светом гостиной, на мягком пушистом ковре из шкуры лабрадорского быка, столь же обнаженный, как она сама... Мраморный фавн насмешливо смотрел на нас, крепкой рукой обнимая чресла обессиленной нимфы, которая падала от страха и стыда. . . . .

. . . .





ЗА СЕБЯ ИЛИ ЗА ДРУГУЮ?

I

— Она! Нет, коиечно, она! — сказал сам себе Петр Андреевнч Басманов, когда дама, обратившая иа себя его виимание, пятый илн шестой раз прошла мимо его столика.

Ои ие сомневался более, что это Елнзавета. Конечно, оии не видались уже почти двеиадцать лет, н за этот срок лнцо жеищнины не могло не нзменнться. Черты, прежде тонкне н острые, иесколько располнели, взгляд, прежде по-детски доверчнвый, стал холодным и строгнм, в выраженнн всего лнца появилась самоувереииость, которой ие было раньше. Но разве это не те же самые глаза, которые Басмаиов любил сравинвать с огнямн св. Эльма, не тот же овал, который успокаивал волиеиия одной чистотой своих очертаиий, ие те же малеиькне ушн, которые так сладко было целовать! Это — Елизавета, потому что ие может быть двух жеищин тождествеиных, как тождественны два отражеиия в двух смежиых зеркалах!

Быстро окннул Басмаиов умственным взором нсторию своей любвн к Елизавете. Ах, ои ие в первый раз делал этот обзор, потому что из всех его воспомнианий не было более дорогого, более священного, чем эта любовь. Молодой, вступающий в жнзиь адвокат, ои встретил жеищиину иесколько старше себя, которая полюбила его со всем ослеплением страстн, безумной, яростиой, нсступленной. В эту любовь Елнзавета вложнла всю свою душу, и ей стало ие иужным все в мире, кроме одиого: обладать своим возлюблеииым, предаваться ему, поклоияться ему. Елизавета готова была пожертвовать всемн условиостямн нх «света», умоляла Басманова позволить ей бросить мужа и прийти к нему; в обществе не только не стыдилась своей связи, которая, коиечио, была замечеиа, но как бы горднлась ею. Никогда после ие встречал Басмаиов любвн столь самозабвенной, столь готовой иа жертвы, н он не мог сомиевать-

ся, что если бы, в свое время, потребовал от Елизаветы, чтобы она умерла, она исполнила бы приказание с тихим, покорным восторгом.

Как же он, Басманов, воспользовался этой, один раз посылаемой нам в жизни, любовью? Он испугался ее, испугался ее громадности и ее силы. Он понял, что там, где приносятся безмерные жертвы, невольно ставятся и смелые требования. Он побоялся взять эту любовь, потому что взамен надо было что-то дать, а он чувствовал себя духовно нищим. И еще он побоялся взять эту любовь, чтобы не затруднить своей карьеры, которая тогда начиналась не неудачно... Как вор, Басманов украл полгода любви, которая не принадлежала бы ему, если бы он сразу показал истинный свой облик, и потом воспользовался первым вздорным предлогом, чтобы «порвать связь».

Ах, и теперь ему стыдно вспоминать последние свидания перед разлукой. Елизавета, ослепленная своей любовью, ничего не понимала, не видела того, что ее возлюбленный слишком низок, чтобы перед ним унижаться, и на коленях умоляла его не покидать ее. Он помнит, как, рыдая, она обнимала его ноги, волочилась за ним по полу, билась в отчаянии головой об стены. Ему стало потом известно, что, брошенная им, Елизавета едва не помешалась от горя, что одно время она хотела пойти в монастырь, что позже она овдовела и уехала за границу. Здесь Басманов потерял следы Елизаветы.

Неужели же он встретил ее теперь вновь, двенадцать лет спустя после их разрыва, здесь, в Интерлакене, спокойную, строгую, все еще прекрасную и для него необъяснимо очаровательную, по мучительно-сладостным воспоминаниям прошлого? Басманов, сидя за столиком кафе, смотрел, как мимо него медленно проходила высокая дама в большой парижской шляпе, и все существо его томительно горело образами и ощущениями прошлого, всплывавшими и в памяти ума, и в памяти тела. Она, она, Елизавета, которой он не дал любить себя с той полнотой, как она того ждала, и которую сам он не посмел любить с той полнотой, с какой мог бы и желал бы! Она, лучшая часть его уже почти прожитой жизни, ожившая, живая, она — воплощенная возможность воскресить то, что было, дополнить его, исправить его.

У Басманова, несмотря на все его самообладание, закружилась голова. Он расплатился за мороженое, встал и пошел по той же аллее, по которой гуляла высокая дама.

II

Когда Басманов и высокая дама повстречались, он, почтительно сняв шляпу, поклонился ей. Дама посмотрела на него так, как смотрят на незнакомых. Басманов спросил ее по-русски:

— Неужели вы не узнаете меня, Елизавета Васильевна?

После некоторого колебания дама отвечала, также по-русски, хотя и с небольшим акцентом:

— Простите, но вы, вероятно, ошиблись: мы с вами не знакомы.

— Елизавета Васильевна! — воскликнул Басманов, раненный больно таким ответом.— Неужели вы можете меня не узнать! Я — Петр Андреевич Басманов.

— Я это имя слышу в первый раз,— сказала дама,— и вас совершенно не знаю.

Несколько мгновений Басманов смотрел на говорившую с ним даму, задавая себе вопрос, точно, не ошибся ли он. Но сходство было до такой степени несомненно, он так определенно узнавал Елизавету, что, загораживая дорогу этой даме в большой парижской шляпе, он с настойчивостью повторил ей:

— Я вас узнал, Елизавета Васильевна! Я понимаю, что у вас могут быть причины к тому, чтобы скрывать свое настоящее имя. Я понимаю, что вы можете не желать встречи с прежними знакомыми. Но поймите и вы, что мне необходимо сказать вам несколько слов! После того, как мы расстались, я пережил слишком многое! Я должен оправдаться перед вами! Я не хочу, чтобы вы презирали меня!

Басманов сам не вполне сознавал, что он говорит. Он хотел лишь одного, чтобы Елизавета призналась, что это она. Он боялся, что она уйдет и не вернется, и исчезнет уже навсегда, и эта встреча окажется виденьем сна.

Дама тихо обошла Басманова и бросила ему несколько слов по-французски:

— Monsieur, laissez-moi passer s'il vous plait! Je ne vous connais pas [1].

Дама не обнаружила никакого волнения и нисколько не изменилась в лице от слов Басманова. Но он все-таки не хотел оставить ее в покое, а последовал за ней, говоря:

— Елизавета! Проклини меня, назови меня последним негодяем, скажи мне, что ты не хочешь более меня знать,— я все приму с покорностью, как должное. Но не делай вида, что ты не знаешь меня, этого я не в силах стерпеть! Так оскорблять меня ты не смеешь, не должна!

— Уверяю вас,— проговорила дама уже более строгим голосом,— что вы меня принимаете за другую. Вы меня называете Елизаветой Васильевной, но меня зовут иначе. Я — Екатерина Владимировна Садикова, девичья моя фамилия — Арманд. Достаточно ли с вас этих сведений, и не дадите ли вы мне теперь возможность гулять так, как я хочу?

— Но почему же,— воскликнул, делая последнюю попытку, Басманов,— почему же вы так долго сносите мои приставания? Если я вам человек совершенно посторонний, почему вы не прикажете мне немедленно замолчать и не позовете себе на помощь полицейского? Разве обращаются так мягко, как вы, с уличными нахалами?

[1] Сударь, позвольте мне пройти! Я вас не знаю *(фр.)*.

— Я очень хорошо вижу,— ответила дама,— что вы не уличный нахал и что ничего лишнего вы себе не позволите. Вы просто ошиблись, введены в заблуждение моим сходством с какой-нибудь вашей знакомой. Это не преступление, и мне незачем звать полицию. Но теперь все разъяснилось, прощайте.

Басманов не решился настаивать далее. Он остановился, и дама медленно прошла мимо. Но весь этот разговор, тон голоса незнакомой дамы, ее походка, все — только подтверждало Басманову, что это — Елизавета.

Потрясенный, взволнованный, пошел он к себе в отель. За луговиной, как исполинский призрак, сияли вечные снега Юнгфрау. Она казалась близкой, но была безмерно далеко отсюда. Не то же ли Елизавета, которая казалась воскресшей и вот снова ушла в неведомую даль.

Не стоило большого труда Басманову узнать, где живет встреченная им дама. После некоторого колебания он написал ей письмо. Он писал в нем, что не хочет спорить с очевидностью; что он явно ошибся, приняв незнакомую даму за старую знакомую; но что эта краткая встреча его поразила глубоко и он просит позволения раскланиваться на прогулках, в память случайного знакомства. Письмо было написано в выражениях крайне осторожных и почтительных. Когда на другой день Басманов встретился на Höheweg с дамой, которая назвала себя Садиковой, она первая поклонилась ему и первая заговорила с ним. Так началось их знакомство.

III

Садикова ничем не выдавала, что была знакома с Басмановым раньше. Напротив, она держала себя с ним, как с совершенно незнакомым человеком. Они говорили о безразличных новостях, преимущественно курортной жизни. Разговор Садиковой был интересен, остроумен, она обнаружила большую начитанность. Но когда Басманов пытался перейти к вопросам более острым, более жгучим, его собеседница легко и умело уклонялась от них.

Все убеждало Басманова, что перед ним Елизавета. Он узнавал ее голос, ее любимые обороты фраз, узнавал то неуловимое нечто, что образует индивидуальность человека, но что трудно определить словами. Басманов мог бы поклясться, что он прав.

Правда, были и маленькие отличия, но разве нельзя было объяснить их промежутком времени в двенадцать лет? Естественно, что испытания жизни из пламенной страстности Елизаветы выковали стальную холодность. Естественно, что, живя много лет за границей, Елизавета несколько разучилась родному языку и говорит с акцентом. Естественно, наконец, что в манере держать себя, в жестах, в смехе появились новые черты, которых не было прежде...

Впрочем, иногда Басманова охватывало сомнение, и тогда он начинал мысленно замечать сотни маленьких особенностей, отличающих Екатерину от Елизаветы. Но достаточно ему было вновь взглянуть в лицо Садиковой, услышать ее речь, чтобы все сомнения рассеивались, как туман. Он ощущал, он чуял душой, что это та, которую он любил когда-то!

Разумеется, Басманов делал все, что только мог, чтобы распутать эту тайну. Он пытался сбивать Садикову нечаянными вопросами: она всегда была настороже и без труда ускользала изо всех ловушек. Он пытался расспрашивать о Садиковой окружающих: никто об ней ничего не знал. Он дошел до того, что перехватил одно письмо к Садиковой: оно оказалось из Парижа и все состояло из безличных французских фраз.

Однажды вечером, когда Басманов был с Садиковой в ресторане на Гардере, он не выдержал постоянного напряжения и вдруг воскликнул:

— Зачем мы играем в эту мучительную игру! Ты — Елизавета, я это знаю. Ты не могла забыть, как ты меня любила. И, конечно, ты не могла забыть, как подло я тебя бросил. Теперь я приношу тебе все раскаянье моей души. Я презираю себя за свой прежний поступок. Я предлагаю тебе: возьми меня на всю жизнь, если можешь простить меня. Но я говорю это Елизавете, я ей отдаю себя, а не другой женщине!

Садикова молча выслушала этот маленький монолог, выходящий за рамки светского разговора, и ответила спокойно:

— Милый Петр Андреевич! Если бы вы обратились ко мне, я может быть, что-нибудь и ответила бы вам на ваши слова. Но так как вы предупредили, что говорите к Елизавете, мне остается промолчать.

В величайшем волнении Басманов встал и спросил:

— Вы хотите утверждать, что вы не Елизавета Васильевна Свиблова? Повторите это мне решительно, и я уеду, немедленно скроюсь с ваших глаз, исчезну из жизни. Тогда мне больше незачем жить.

Садикова мило засмеялась и сказала:

— Вам так хочется, чтобы я была Елизаветой. Ну, хорошо, я буду Елизаветой.

IV

Началась вторая игра, быть может, еще более жестокая, чем первая. Садикова называла себя Елизаветой и держала себя с Басмановым, как со старым знакомым. Когда он говорил о прошлом, она делала вид, что вспоминает лица и события. Когда он, весь дрожа, напоминал ей о любви к нему, она, смеясь, соглашалась, что любила его, но намекала, что с годами эта любовь погасла, как гаснет всякое пламя.

Чтобы добросовестно играть свою роль, Садикова сама заговаривала о событиях прошлого времени, но при этом пута-

ла годы, упоминала невпопад имена, выдумывала то, чего никогда не было. Особенно мучительно было то, что, говоря о любви своей к Басманову, она изображала ее как легкое увлечение, как случайную забаву светской дамы. Это Басманову казалось оскорблением святыни, и он, почти со стоном, просил Садикову в таких случаях замолчать.

Но этого мало. Неприметно, подвигаясь вперед шаг за шагом, Садикова вносила отраву в самые заветные воспоминания Басманова. Своими намеками она развенчивала все прекраснейшие факты прошлого. Она давала понять, что многое из того, что Басманов считал проявлением ее самозабвенной любви, было лишь притворством и игрой.

— Елизавета! — спросил как-то раз Басманов.— Неужели же я могу поверить, что твои безумные клятвы, твои рыдания, твое отчаянье, когда ты бросалась, не помня себя, на пол,— что все это было притворством? Так не сумеет играть лучшая драматическая артистка! Ты клевещешь на самое себя.

Садикова, отвечая от имени Елизаветы, как она всегда говорила последнее время, сказала с улыбкой:

— Как различить, где кончается притворство и начинается искренность? Мне хотелось тогда чувствовать сильно, и вот я позволяла себе делать вид, что я в отчаяньи и безумии. Если бы на твоем месте был не ты, а кто-либо другой, я поступала бы точно так же. Но в то же время мне ничего не стоило овладеть собой и не рыдать вовсе. Ведь мы все в жизни — актеры, и не столько живем, сколько изображаем жизнь.

— Неправда,— воскликнул Басманов,— ты это говоришь потому, что не знаешь, как любила Елизавета. Та не сказала бы этого! Ведь ты только играешь ее роль! Ведь ты — не она, ты — Екатерина.

Садикова засмеялась и сказала другим тоном:

— Как вам будет угодно, Петр Андреевич. Я ведь только для вашего удовольствия взяла на себя эту роль. Хотите, и я снова стану сама собой, Екатериной Владимировной Садиковой.

— Почем же я знаю, где ты настоящая! — сквозь зубы прошептал Басманов.

Ему начинало казаться, что он сходит с ума. Вымысел и действительность для него сливались, смешивались. Минутами он терял понимание, кто он сам.

Между тем Садикова, встав, предложила ему пройтись на Руген и снова заговорила с ним от имени Елизаветы.

V

Дни проходили. Сезон в Интерлакене кончался.

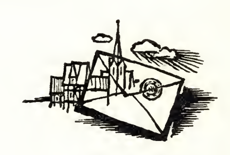
Басманов, прикованный к своей таинственной незнакомке, позабыл, зачем он здесь, позабыл все свои дела, не отвечал на письма из России, жил какой-то безумной жизнью. Слов-

но маинак, он думал об одиом: как разгадать тайиу Свибловой-Садиковой.

Был лн он влюблен в эту жеищнну — этого он не сумел бы сказать. Она влекла его к себе, как пропасть, как ужас, как то место, где можно погибнуть. Моглн бы проходнть месяцы и годы, а он был бы рад длить этот поедииок мысли и иаходчивостн, эту борьбу двух умов, нз которых один стремится сохраинть свою тайиу, а другой усиливается ее вырвать.

Но неожиданно, в первых числах октября, Садикова уехала. Уехала, не простнвшись с Басмановым, ие предупреднв его. Однако на другой деиь он получнл по почте пнсьмо, посланное из Бериа.

«Я ие лишу вас удовольствня гадать, кто я такая,— писала Садикова,— решенне этого вопроса я оставлю вашему остроумию. Но если вы устали от догадок н хотите простейшего решення, я вам подскажу его. Предположите, что я была совершенио незнакома с вамн, но, узиав нз вашнх взволнованных рассказов, как жестоко вы обошлись когда-то с иекоей Елнзаветой, я решилась отомстить вам за иее. Мне кажется, я своего достигла, н мщеиие мое состоялось: вы иикогда ие забудете этих мучнтельных иедель в Интерлакеие. А за кого я мстила, за себя нлн за другую, в конце концов, ие все лн равно. Прощайте, больше вы меня ие увнднте ннкогда. Елнзавета-Екатерина».





ОБРУЧЕНИЕ ДАШИ

ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ 60-х ГОДОВ

I

Пятьдесят лет назад торговая часть Москвы, ее «город», еще сохраняла свой старинный характер, тот, вероятно, какой имела она и «до француза». Там, где теперь узкие переулки обставлены величественными зданиями «из стали и стекла», где непрерывными рядами, заполняя весь проезд, тянутся рессорные подводы, извозчики на резиновых шинах и автомобили, где сквозь зеркальные окна видны одетые по последней моде солидные служащие больших «торговых домов»,— полвека назад, в низеньких, местами одноэтажных, домишках и на бессчетных проходных дворах ютились полутемные «лавки» и «амбары», у дверей которых останавливались жалкие московские «ваньки» и первобытные «полки», а в глубине которых дюжие «молодцы» или «ребята» в картузах и поддевках поджидали покупателей, как охотники зверя. По большей части купцы, торговавшие «в городе», делали в год оборот на сотни тысяч, но продолжали жить «по старине», довольствуясь сырыми и грязными помещениями, держа своих приказчиков в «черном теле» и охотно посещая привычные душные трактиры с любимыми хриплыми «машинами». Допустить какое-нибудь новшество, хотя бы только переменить закопченную, потемневшую вывеску, хозяевам казалось делом опасным: как бы от того не произошла заминка в торговле и не сократились барыши.

Все же в те часы, когда торговля шла полным ходом, вся местность между Белой стеной и Москвой-рекой имела вид оживления величайшего. На Никольской, Ильинке, Варварке, в переулках, соединяющих эти улицы, на Старой площади, в рядах — движение, шум, говор не прекращались ни на минуту. Тянулись тяжело нагруженные возы; суетился и толкался всякий люд; рабочие тащили кули и ящики; возчики,

ругаясь немилосердно, нагружали и разгружали полки; разносчики с лотками выкрикивали свои товары; хлопали двери менял; из лавок в трактиры шныряли мальчишки то с чайниками, то с судками; степенно проходили, все в черном, монашенки, собирающие «на обитель» и «на построение храма»; мелькали какие-то странные личности в поношенном пальто, пробирающиеся к знакомому «степенству» — посидеть в тепле, выпить стакан чаю и, при удаче, выклянчить «трешницу» или хоть «рубль-целковый». Сцены ежеминутно менялись, как фигуры в калейдоскопе. Брань ломовиков, звонкие крики торгующих вразнос, ропот тысячи голосов, грохот тяжелых колес по скверной мостовой, какой-то скрип, какой-то стук, треск, лязг, визг — все смешивалось в непрерывный гул, который, если бы его услышать издалека, должен был напоминать жужжание огромного улья. А над всем этим миром, застывший и неизменный, стоял характерный, острый, неопределимый точнее запах, в котором словно воплощалась самая сущность местной жизни,— запах дегтя, кожи, рогожи, веревок, свежей мануфактуры, сырости и гниения.

Жизнь в «городе» начиналась рано. Еще до семи часов утра у растворов лавок собирались молодцы и артельщики в ожидании, когда придет хозяин — «отпираться». С его появлением скрипели ржавые замки, раскрывались обитые войлоком двери, снимались с окон деревянные ставни. Хозяин, наскоро перекрестясь перед закоптелой иконой, посылал мальчишку за утренним чаем; более грамотные читали порой «Ведомости», другие, став за старинную, пузатую, всю залитую чернилами конторку, прямо начинали пересматривать вчерашние счета и распоряжаться отправкой заказанного товара. «Настоящие» покупатели приходили именно по утрам; с ними приходилось вести длинные переговоры, показывать им образцы, долго торговаться о каждой копейке. Завершались сделки, конечно, в трактире, за неизбежным чаем. Если же идти в трактир с покупателем не предстояло, около полудня мальчишка снаряжался с судками за обедом: приносил щи и битки или, когда день был постный, уху с расстегайчиком и рыбу на конопляном масле. Обед съедался в комнатке при лавке, маленькой, полутемной, с запыленным и заклеенным бумагой окном. Молодцы полдничали где-нибудь в сторонке под кипами товара, бо́льшею частью всухомятку. Впрочем, и среди хозяев были такие, которые на обеды из трактира смотрели, как на баловство: в лавке они закусывали тем «что бог послал», в ожидании домашнего обеда — традиционных щей и каши.

После обеда наступало для обитателей «города» самое блаженное время — чаепития и полуотдыха, потому что в эти часы покупатель не ходил. То было время, когда появлялись в лавках всякие темные знакомцы: люди без определенных занятий, согласные играть роль шутов при их степенствах, дельцы, предлагающие выгодно учесть вексель или ловко стребовать деньги с неплатящего должника; случайные приня-

тели из мелких актеров или литераторов, сообщающие политические новости и новости городские; наконец, разного рода просители. С этим народом не особенно церемонились: им говорили «ты», их оставляли часами сидеть в комнатке при лавке, пока хозяин не вернется из трактира или просто заблагорассудит заговорить с ними, при случае и прямо объявляли им: «Ну, ты что-то слишком часто стал шляться, приходи завтра, нонче мне недосуг». Но все же эти люди вносили разнообразие в одноцветную жизнь, в которой каждый новый день был похож на предыдущий, развлекали, забавляли, порой приносили нужные вести, и за это их поили чаем, иногда угощали водкой, а в исключительных случаях, когда хозяин был в особо благодушном настроении после выгодной сделки, ссужали и деньгами.

За полдневным отдыхом наступала пора вечерней работы. Опять заходили покупатели, опять отсчитывался товар и упаковывался для отсылки, приказчики бегали по соседству получить маленький должок, писались письма, фактуры, счета. Потом подходило время подсчета дневной выручки по торговле в розницу, подводились итоги дня, деньги из ящика конторки, заменявшей кассу, переходили в толстый бумажник хозяина. Медленно, но ощутимо за окнами утихал дневной гул. Вот бьет семь часов. Молодцы давно уже ждут «запорки», но «сам» все медлит; не то, чтобы он надеялся поторговать еще, просто ему приятно показать свою власть; пусть подождут, ведь я же сижу. Наконец, произносится давно желанное: «Ну, оно, пожалуй, и запирать пора». Молодцы поспешно надевают картузы или шапки, на окна наставляются ставни, в лавке сразу наступает темнота. Местная артель, оберегающая ночью амбары, запирает выходную дверь и накладывает на замок печать. Опять крестятся, прощаются, расходятся, чтобы вернуться завтра.

Скоро тишина наступает во всем «городе». «Ряды», улицы и переулки замирают, смолкают, погружаются в сон. На всех дверях и растворах висят большие старомодные замки; ставнями с сердечками задвинуты окна. Узкие тротуары опустели совсем: некому и незачем идти сюда. Кое-где видны будочники и сторожа; порой боязливо пробежит исхудалая собака; больше — нигде никого. И если извозчик, выбирая более короткий путь в Замоскворечье, случайно завезет сюда москвича, тому покажется, что он попал в сказочный город из «Спящей красавицы»: все кругом создано для жизни — дома, дворы, улицы,— и нигде нет людей, камень и железо царят безраздельно, луна смотрит в узкий просвет между крышами на городскую пустыню, и странно дребезжание пролетки в этом царстве безмолвия.

II

В привычном лязге и грохоте торгового дня, в привычной атмосфере, пропитанной характерным запахом «города», в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье по-

колене торгует бечевой, веревками, канатом, вязкой, Кузьме мечталось легко и привольно. Он стоял за конторкой, тоже пузатой, как большинство таких конторок, высокой, неуклюжей, с ободранной клеенкой, и делал вид, что проверяет товарную книгу, но на самом деле сладостно перебирал в воспоминаниях подробности вчерашнего вечера и вчерашнего знакомства. У приятеля, Лаврентия Петровича Рыбникова, который теперь служит у соседнего менялы, вчера была вечеринка. Кроме «своих», из «города» и Замоскворечья, были студенты и ученые барышни: Лаврентий мечтал о самообразовании и водил знакомство с «интеллигенцией». На вечеринке Кузьма познакомился с двумя подругами, Фанной Васильевной Кукулиной и Еленой Демидовной Оржанской, девушками лет по двадцати, и теперь старался вспомнить каждое сказанное ими слово, каждую черту их лица, особенно первой — Фанны.

«Девушки интеллигентные,— говорил себе Кузьма, охотно выговаривая мысленно это, еще новое тогда слово,— много читали, интересуются научными вопросами, мыслят самостоятельно. Недавно приехали из провинции, а так осведомлены обо всем. Нет, Россия явно пробуждается, общество стряхивает с себя спячку, наступает новая пора. Женщина тоже становится равноправным членом общества. Недаром раздавались голоса Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева».

Кузьма опять испытал чувство досады, когда еще раз припомнил, как он был неловок и ненаходчив в разговоре. Фанна спросила его, читал ли он «Отцы и дети» Тургенева. Ну, разумеется, читал и много думал о романе, но сразу не нашел, что сказать. Начал говорить так сбивчиво, что, наверное, Фанна подумала, не хвастает ли он, никогда Тургенева не читав. Даже имени Базарова Кузьма не сумел назвать, а сколько раз спорил о Базарове и базаровщине с тем же Лаврентием!

«Да и то сказать: откуда мне взять развязности?— думал Кузьма.— С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме «жития святых» да старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе, понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все: «Ты, Кузьма,— дурак, твое дело — бечева, а не книги!» Дяденька, Пров Терентьевич, хоть и пообразованнее будет, да тоже весь его разговор о Николае Павловиче или о монастырях; а если о политике заведет речь, так Французскую империю республикой назовет. Только и свет я увидел, что через Лаврентия, а особливо через Аркадия. От них кое-какие книжки получил, кое с какими людьми встретился, да издавна ли? — едва год. Раньше, бывало, с одною Дашей душу отводил. Где же было мне к свободному разговору приучиться?»

Напротив, с завистью вспоминал Кузьма статную фигуру Аркадия Липецкого, не то поэта, не то художника, не то актера, а впрочем, служившего пока в купеческом банке. Высокий, красивый, с нафабренными и завитыми усами, оде-

тый по моде, Аркадий казался Кузьме образцом изящества. Как умел Аркадий занимать дам! Говорил комплименты и парадоксы, рассказывал чуть-чуть неприличные анекдоты, декламировал стихи своего сочинения, был находчив, остроумен и вместе с тем всегда немного грустен и загадочен. Аркадий намекал, что в его жизни была какая-то тайна: не то несчастная любовь, не то важное политическое дело, только он должен был отказаться от открывавшейся перед ним блестящей карьеры и замуровать себя в должности мелкого служащего в банке. «Да, это — натура талантливая,— в сотый раз повторял про себя Кузьма свое мнение об Аркадии,— и он, разумеется, не на своем месте: он из тех, которые могли бы первенствовать, вести других за собою, но в нашей России еще много сил обречено на то, чтобы пропадать даром, среда еще неблагоприятна для развития дарований, пора более свободной жизни едва начинается». Впрочем, думая так, Кузьма только повторял мысленно слова, сказанные ему однажды самим Аркадием.

Потом мысли Кузьмы перешли на приглашение Фаины. Прощаясь, она позвала его заходить к ним. «Вы мне симпатичны,— сказала она,— и я буду рада познакомиться с вами поближе. Приходите, например, в этот четверг: будут и ваши знакомые, Лаврентий Петрович, Аркадий Семенович, еще кое-кто. Мы справляем новоселье». Кузьма спросил, много ли будет народа, думая о том, что надеть, не сюртук ли (большой спор пришлось ему выдержать с отцом, чтобы добиться позволения заказать себе сюртук: «нам это не к лицу»,— упрямо повторял отец). Фаина ответила, что будут «все свои». «Поговорим, поспорим,— добавила она,— может быть, станцуем, мы не против танцев».— «Да, станцуем,— думал по этому поводу Кузьма,— а ежели я танцевать не умею... Стыдно, беспременно надобно пойти к танцевальному учителю. Коли бываешь в обществе, нельзя не уметь танцевать». Он представил себе, как было бы приятно обнять стройную фигуру Фаины и закружиться с ней в каком-нибудь таком вальсе... Да, необходимо выучиться танцам, ну, хоть самым обыкновенным: кадриль, лансье, полька, вальс.

Мысли Кузьмы были прерваны окриком отца:

— Что ворон считаешь, Кузьма! За дело взялся, так, того, в дело и смотри. Эдак ты ложку мимо рта пронесешь.

Вздохнув, Кузьма вернулся к товарной книге. «Четырехшнуровых по двадцати сажен столько-то, шестишнуровых по десяти сажен столько-то, двойных трехшафтовых столько-то пудов, каната просмоленного столько-то пудов, того же столько-то пудов, столько-то фунтов. Такого-то числа через транспортную контору получено четырехшнуровых» и т. д. и т. д.

Внутренняя стена лавки была завалена кипами с товаром. Когда-то, мальчиком, Кузьма любил, шаля, лазить по этим тюкам, воображая их Кавказскими горами. Прямо перед конторкой, у боковой стены, стояли ящики и картоны с вязкой и тонкой бечевой для розницы: счет этого товара приходи-

лось производить еженедельно, чтобы молодцы не вздумали утаить лишний четвертак. У окна была старая скамья, вроде тех, что ставят в садах: на ней Кузьме, тоже в детстве, случалось валяться, когда отца не было в лавке. За окном — все тот же вид, на который Кузьма смотрит изо дня в день: лавка помещалась во дворе, видны были задние входы других магазинов, выходивших в переулок, и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Вот у противоположного окна стоит Флор Никитыч и барабанит пальцами по стеклу: надо полагать, нечего ему делать. Вот через двор бежит мальчишка в громадном картузе, налезающем ему на уши и на глаза: это — тоже Кузьма, от медника. Как же говорили, что хозяин так оттаскал его за вихры, что он слег? Стало быть, оправился. А вот идет мать Евфимия, и отец ее завидел, достает две копейки: так положено...

Заходили покупатели, так, мелкие, из бумажных магазинов, купить вязки на рубль, на несколько копеек. Кузьма записывал приход в «Общей» книге. Это он завел в деле подобие бухгалтерии, с которой познакомился по «самоучителю в шесть дней», и разносит все по книгам. Раньше только одна книга и была: «Дневник», да и та велась со всякими подчистками и помарками, при надобности и не приняли бы ее, как документ. Отец объявил было, что все это одни глупости, немецкие фокусы, но Кузьма настоял на своем, и теперь отец сам доволен, что все сразу видно и можно усчитать... Следовало бы только хороший учебник достать: а то порой Кузьма все же не знает, как с разными книгáми справиться...

В полдень обедали. Из трактира принесли щи суточные и телятину; запивали домашним квасом. Отец, недовольный тем, что Кузьма накануне вернулся домой поздно, степенно наставлял сына:

— Вот что я тебе скажу, Кузька. Ты, того, эти всякие штуки брось. Не наше это дело. Дед твой, покойный Терентий Кузьмич, царство ему небесное, грамоте не знал, а мне эво какое дело оставил. Книжками нам, оно, недосуг заниматься. Обучил я тебя грамоте, считать умеешь, и это хорошо: другой не обсчитает. Также, ежели какое прошение написать, сам сумеешь, а мы, бывало, этим самым ходатаям сколько полтин передавали. Ну, а большего нам и не требуется. Книжные-то люди вон без штанов ходят, а у нас, слава богу, каждый день и щи и каша на столе, а здесь, гляди, телятиной балуемся. Мне от людей везде почет, потому что неоправданных векселей за нами никогда не бывало. Толковали, старостой меня церковным выберут. Помру я, дело тебе налаженное оставлю. Только смотри, было бы, оно, кому оставлять. А мудрить будешь, вот помяни мое слово, все на монастыри откажу, пропадай хоть с голоду. Не на то батюшка покойный и я горбом наживали, чтобы потом празднošатаям разным рассыпать.

Скучно было слушать давно знакомые слова, которые, с малыми изменениями, отец повторял чуть не ежедневно.

Кузьма знал, что отец его крепко любит как единственного сына и, конечно, наследства не лишит, пожалуй, и все простит, что бы он, Кузьма, ни сделал. Втайне отец даже гордился тем, что у него сын — «ученый», читает умные книжки, водится с умными людьми и, главное, сам до всего дошел, так как вся учеба Кузьмы сводилась к урокам приходского дьячка. Но уж таково было положение, что говорить иначе отец не мог: должен был бранить книги и тех, кто их читает. Да и говорил отец без сердца, просто исполняя свой родительский долг, как он его понимал.

Выслушав проповедь, Кузьма, вспомнив свое решение учиться танцам, не без смущения попросил:

— Папенька, дозвольте мне взять сегодня еще пятнадцать рублей.

Без разрешения отца Кузьма не смел воспользоваться ни копейкой.

— Это на что же? Баловаться, того, хочешь?

Под понятие баловства подходило все, начиная с покупки книг и кончая кутежом. Можно было бы солгать, сказать, что надо угостить товарищей, на что, поворчав, отец, вероятно, согласился бы. Но Кузьме лгать не хотелось.

— Я, папенька, хочу танцевать учиться. Случается, в обществе бываешь. Другие танцуют, так мне неловко, что не умею.

— Танцевать? Да ты что, рехнулся? Ты бы вот покойному деду сказал, он бы тебе показал танцы.

— Вы, папенька, напрасно так рассуждаете. В наше время более не гнушаются танцами. Это теперь относится к числу разумных развлечений. Многие очень образованные люди танцуют. Опять же, при дворе, сами знаете, бывают балы...

— Нет, ты это оставь. На танцы нет тебе моего разрешения. При дворе там как хотят, а нам это не к лицу. И мать то же скажет.

Отец решительно встал, запахнул полы и крякнул.

— Ну, я пойду, того, чайком побаловаться, с кумом пообещал об одном дельце покалякать. Почитай, дожидает уже. А ты посиди тут, неровен час, кто и нужный зайдет. Тогда, оно, дошли Мишку. А дурь насчет танцев из головы выкинь.

Влас Терентьевич степенно вышел из лавки. Излюбленный трактир «Михалыча» помещался по соседству, так что хода до него было всего минуты три. Встречные почтительно кланялись купцу Русакову, зная, что у него уже «подкатывает к миллиончику».

III

Когда хозяина не было в лавке, пришел Аркадий Семенович: он всегда выбирал эти часы, чтобы заглянуть к Кузьме. Хотя уже наступил конец октября и дни стояли довольно холодные, Аркадий был в какой-то фантастической крылатке,

в широкополой, скорее летней, шляпе. Но усы Аркадия были лихо закручены, и лаковые ботинки сверкали.

— Кузьма, здравствуй! «Твоего» нет?

— Папенька вышел. Садись, Аркадий.

— «Папенька»! Сколько раз я тебе говорил, что пора оставить эту купеческую манеру выражаться! Говори «отец» — гораздо благороднее и достойнее. Что ты, мальчишка, что ли?

— Привычка, Аркадий. С детства так приобык. У нас все говорят «папенька». Не все ли равно?

— Нет, не все равно. Свое человеческое достоинство надо отстаивать во всем — и в большом, и в малом. Сегодня ты назовешь отца «папенькой», а завтра позволишь ему тебе подзатыльников надавать, потому что с детства к этому «приобык». Ты с каждым должен говорить, как с равным, будь это твой отец или хоть сам государь император.

Аркадий, сев, закурил папиросу.

— Понравилось вчера у Лаврентия?

— Очень было приятно. Сам знаешь, такое общество не часто приходится видеть. Кругом — одна необразованность. А там собрались люди, которые заняты высшими вопросами. Лестно было даже слушать. Какая образованная эта Фаина Васильевна! Она и Дарвина читала...

Аркадий засмеялся.

— Я уже видел, брат, что она в тебе загвоздку оставила. Только берегись, не обожгись на ней. Она сумеет закрутить прочно, так что после и не вырвешься.

— Да что ты, Аркадий! Разве же я... Я и думать себе ничего такого не позволю. Какая же я ей пара? И говорить с ней толком не умею, даже совестно. Я только об том, что приятно было с такой девушкой встретиться.

— Ладно, прикидывайся! Мошна твоего «папеньки» тоже чего-нибудь стоит, всякое образование заменит. Что, за этот год сотнягу тысяч к прежним в банк присовокупите? Или Влас Терентьич, по старине, деньги в чулке и в печке хранит?

Кузьме стало обидно за насмешки над отцом, и он ответил сухо:

— Отцовские деньги — не мои. Я их не считаю. А у меня, ты сам видал, иной раз лишнего рубля нет.

Последние слова Кузьмы заставили Аркадия поморщиться. Стараясь сохранить беспечный тон, он произнес:

— А кстати, Кузьма, мне как раз нужно лишних рублей десять. Будь другом, выручи, брат. Одну десятку, и я тебе ее верну в субботу.

— Нету, Аркадий, право, нету. Сегодня просил,— не дал.

— А в конторке? Ключи-то ведь у тебя.

— Да нешто я могу брать без спросу.

Аркадий посвистел на какой-то мотив, потом, меняя разговор, спросил:

— А что Дарья Ильинишна?

Дарья была двоюродная сестра Кузьмы, дочь родной сестры Власа Терентьевича, Марфы; мать Дарьи умерла вскоре

после ее рождения; отец, скорняк, дела которого не пошли, спился с кругу и пропал где-то на Хитровом рынке; Дарья жила в доме Русаковых, как сирота, больше на положении приемыша, чем племянницы. Между Дарьей и Аркадием с весны завязался роман, и Кузьма всячески покровительствовал их отношениям. Теперь он ожидал вопроса Аркадия, зная, что и зашел он прежде всего затем, чтобы узнать, когда возможно очередное свидание.

— Что Даша,— отвечал Кузьма,— известно, все то же. Маменька ее шить заставляет, по хозяйству приучает, женихов выискивает. Папенька под сердитую руку каждым куском попрекает. Невеселое ее житье.

Схватив слова «женихов выискивает», Аркадий тотчас начал поучение:

— Как не стыдно сознаваться, что кому-то приискивают женихов! Неужели не прошли те времена, когда женщины сидели у нас в теремах и родители подбирали девке мужа, не спрашивая ее согласия! Русская женщина завоевывает себе свободу, хочет, чтобы брак был свободным актом ее выбора, и пора бы этим элементарным идеям проникнуть и в вашу среду! Дарья Ильинишна должна твердо заявить свою волю, сказать, что она не допустит, чтобы ею торговали, как кипой вашей бечевы. Именно такие индивидуальные акты личной решимости и двигают общество по пути прогресса. Только в том случае, если каждый из нас в своей личной жизни будет отстаивать свое человеческое достоинство, Россия пойдет вперед к раскрепощению, к сознательной жизни масс, к истинной культурности.

Такие поучения, которые Аркадий очень любил произносить, если только находил почтительных слушателей, пересыпанные иностранными, не всегда понятными Кузьме словами, прежде производили на него впечатление подавляющее. Но с недавнего времени, при всем своем преклонении пред Аркадием, он стал относиться к некоторым его словам критически. Попытался он спорить и теперь:

— Тебе хорошо говорить. Ты свободен, у тебя есть образование. А что будет делать Даша, ежели отец да выгонит ее из дому? Куда она пойдет? Ее ничему не учили, ей останется с голода помирать или выйти на Кузнецкий мост.

Аркадий многозначительно возразил:

— Дарья Ильинишна не так одинока, как ты говоришь. Во-первых, я надеюсь, что ты сам никогда не откажешься протянуть ей руку помощи. Во-вторых, она может смело рассчитывать на меня. Познакомившись с нею ближе, я оценил ее личность. Когда она освободится от предрассудков своего круга, она будет достойным членом общества. Таким лицам надо помогать выбиться из подавляющей их среды...

После маленькой паузы Аркадий добавил:

— А когда я мог бы повидаться с Дарьей Ильинишной? Мне надо было бы с ней поговорить. Да, кстати, может быть, я дам ей полезный совет в ее положении.

Ответ у Кузьмы уже был готов.

— Что ж, Аркадий, я попытаюсь это устроить. Приходи завтра, как прошлый раз, туда, знаешь, к церкви Косьмы и Дамиана, так в половине девятого. Авось Даша на минутку урвется. Там и поговорите.

— Хорошо,— медленно произнес Аркадий,— я приду, это — мой долг.

Заговорили о другом. За беседой не заметили, как вернулся Влас Терентьевич. В его присутствии Аркадий сразу потерял свою развязность, встал со скамейки, снял шляпу.

— Да, брат,— сказал Влас Терентьевич,— шапочку-то снять должно. Икона здесь. Тоже — не басурман, поди. Ну, здравствуй, здравствуй. Токмо у нас тепернча дело есть. Может, когда другой раз зайдешь. Кузьме, оно, недосуг.

— Извините, Влас Терентьевич, я зашел на минуту. Мне тоже пора в банк. Я сам — человек работающий.

— Ну это, того, дело. Прощения просим.

— До свидания, Влас Терентьевич. Прощай, Кузьма.

Кузьма стоял, покраснев от смущения.

— До свидания, Аркадий! На днях зайду к тебе.

Когда Аркадий вышел, отец угрюмо посмотрел на Кузьму.

— Не нравится мне, того, этот твой стрекулист. Не дело, оно, в рабочие часы по чужим лавкам шмыгать. И опять же, служит на хорошем месте, а во что одет? Пальтишко ветром подбито. Чай, холодно сердешному.

— Папенька, Аркадий Семенович — человек высокообразованный. А на свой костюм он не обращает особого внимания. Он выше этого.

— Ладно. А усы-то, того, у него нафабрены, и духами, оно, на полверсты от него разит.

У Власа Терентьевича была привычка чуть не в каждую фразу вставлять словечки «того» и «оно», которые в разных случаях приобретали самый разнообразный смысл.

IV

Когда, после запорки, вернулись домой и сели ужинать, Кузьма тотчас заметил, что Даша чем-то расстроена. За столом она сидела бледная, не подымая глаз. Мать с особой заботливостью угощала ее:

— Кушай, Дарьюшка, голодна будешь.

— Спасибо, тетенька, мне что-то не хочется.

Ели, по старинному обыкновению, из общей миски. Кашу запивали тем же квасом, что и в лавке, домашним, приготовление которого каждую неделю было целым событием в доме. После ужина в тот день отец не пожелал сыграть со своей «старухой» в дурачки, чем тешился ежедневно, объявив, что устал сегодня, и прямо пошел спать. «Оно, чем раньше ляжешь, тем сон покойнее»,— объяснил он. Орина Ниловна отправилась на кухню — по каким-то хозяйственным надоб-

ностям, да, кстати, и посудачить с прислугой, конечно, единственной в доме, молодухой Аннушкой, своей всегдашней собеседницей. Кузьма и Даша остались одни.

У Кузьмы была своя комната, отдельная, где стоял его шкап с книгами и письменный стол, которым он гордился, как патентом на «интеллигентность», и где на стене висели портреты Герцена и Гарибальди. Даше особой комнаты не дали, хотя и была свободная; пусть все же чувствует, что она — сирота, живет из милости. Спала Даша в проходной комнате, вроде передней, на двух составленных сундуках, впрочем, прикрытых необъятными перинами; в той же комнате хранились банки с вареньем и соленьями, заготовляемыми летом. А из свободной комнаты сделали что-то вроде приемной, неизвестно для кого, так как гости у Русаковых бывали лишь дважды в году — на именины хозяев.

Даша прошла в комнату брата.

— Мне, Кузя, с тобой поговорить надо-ть.

— Случилось что?

Даша присела около брата и, понизив голос, заговорила:

— Сегодня сватать меня приезжали.

— Что ты? Кто?

— Да сама Анфиса Андреевна, сваха первейшая. С тетенькой целый час шептались. Потом, значит, тетенька меня позвала, счастие тебе, говорит, выходит.

— Да за кого же?

— А за Степана Флорыча Гужского, знаешь, вдовый, толстый такой, рыбой торгует в нижних рядах, еще на святой заутрене мы, господи прости, с тобой над ним насмехались.

— Полно тебе, Даша? Да ведь ему за пятьдесят!

Даша, без всякого перехода от спокойного рассказа, начала плакать, всхлипывая.

— То-то оно и есть, Кузя! Да я-то что же могу? Тетенька говорит: у него капитал и дом на Швивой горке. Выдадут меня, вот как бог свят.

Кузьма вспомнил рассуждения Аркадия и заговорил сердито:

— Как же тебя могут выдать против твоей воли? Этого и по закону нельзя. Теперь не такие времена. Скажи прямо, что за старика не пойдешь. Он бить будет, пьет, это все знают.

Даша, плача, уткнулась лицом в старинное кресло, на котором сидела, и отвечала сквозь слезы:

— Легко тебе говорить... Тебя дяденька любит... А меня дармоедкой зовет... Им бы только с рук меня сбыть... Меня и не спросят... Прикажут идти, и все тут...

— Даша, Даша! Подумай, что ты говоришь! Или ты все позабыла? Сколько раз мы с тобой обсуждали вопрос о браке! Ведь ты же соглашалась, что лучше в нищете жить, чем с нелюбимым человеком. А тут не то что нелюбимый, а старик, грубый, еле грамотный, пьяница, двое детей у него. Вот сегодня Аркадий...

При имени Аркадия Даша сразу перестала плакать, подняла свое залитое слезами лицо и сказала с неожиданной решимостью:

— Я, братик, из-за Аркадия и плачу. Я в него влюблена. Не могу идти за другого. Он — такой душка.

Кузьма почти рассердился на легкомыслие сестры и возразил строго:

— Не в том дело, душка Аркадий или нет. Ты объясни мне, есть ли у тебя к нему серьезное чувство. Ежели это просто девичья влюбленность, не об чем и хлопотать. Но ежели ты к нему действительно неравнодушна, надобно это обсудить как следует. Прежде всего скажи, как к тебе относится Аркадий. Отвечает ли он на твое чувство?

Даша испуганно посмотрела на брата: его рассудительный тон смутил ее. Потом она опять начала плакать.

— Почем же я знаю, братик,— причитала она, всхлипывая,— он мне в любви объяснился. Только мужчины ведь обманщики. Что им стоит соблазнить девушку.

— Послушай, Даша,— совсем гневно возразил Кузьма,— ежели хочешь говорить серьезно, давай, а болтать пустяки не стоит. И об Аркадии нельзя выражаться так необдуманно. Аркадий — личность исключительная. Он образован, умен, у него самостоятельные убеждения и честный образ мыслей. Он — не из тех, которые соблазняют. Ежели он сказал тебе, что любит тебя, ты можешь ему довериться.

Опять понизив голос, Даша вдруг спросила:

— А кто он такой, ты доподлинно знаешь? Он про себя все чтой-то молчит. Иной раз, право слово, боязно делается: не беглый ли?

— Какие глупости, Даша! В прошлом Аркадия действительно есть какая-то тайна, но, разумеется, благородная. Я так думаю, что он участвовал в политической партии и теперь должен скрываться. Он себя называет Липецким, а я слышал, что его настоящая фамилия — Кургузый.

Даша весело расхохоталась, словно и не плакала минуту назад.

— Как? Кургузый? Повтори, как! Кургузый? Ох, помру со смеха! Дарья Ильинишна Кургузая! Да он вовсе не Кургузый, а жердью вытянулся. Только как же, ведь он на службе: в банке-то должны знать его настоящую фамилию!

— Я не люблю разузнавать об интимных подробностях жизни,— недовольно ответил Кузьма.— Ежели человек сам не говорит о своем прошлом, значит, у него на то свои причины. Надо уважать волю каждого. И не в том сейчас дело.

Кузьма встал и начал ходить по комнате. Темнело, но тратить свечи даром в доме не позволялось. Брат и сестра давно привыкли вести свои беседы в полумраке, чуть смягченном светом лампадки, которую Орина Ниловна неукоснительно каждый вечер затепливала перед образом в комнате сына. Вдруг Даша спросила:

— А что, он в бога верует?

Кузьма нервно пожал плечами.

— Даша! Когда же ты освободишься от предрассудков! Вера есть интимное дело каждого человека. Тебя никто не принуждает отказываться от религии, если она дает тебе утешение. Но пора понять, что мыслящий индивидуум не может верить в сказки попов. Ведь я же давал тебе прочитать. Наука знает законы природы и больше ничего. Ни в телескопы, ни в микроскопы не было усмотрено божества. А первобытный человек, пугаясь грома и молнии и других непонятных ему явлений, обожествлял их. Запомни это раз навсегда.

— Как же, Кузя, вовсе без бога-то? Кому же молиться?

Кузьма остановился перед Дашей, поглядел на нее с сожалением, помолчал и, наконец, вместо длинной речи, которая складывалась в его голове, сказал коротко:

— Мне некогда сегодня, в сотый раз, объяснять тебе то, что я уже объяснял девяносто девять раз. Молись, сколько хочешь, но не срами себя, спрашивая про других, верят ли они в бога. А затем вот что. Я твое поручение исполнил. Завтра Аркадий будет тебя ждать, где ты наказала. Папенька с маменькой завтра на именинах, так что тебе можно будет выбраться. Воспользуйся этим случаем и для того, чтобы понять хорошенько его советы. Ежели уже дошло до того, что тебя сватают, тянуть больше нечего. Так ли, сяк ли, а надобно что-то порешить. Теперь ступай к себе: я хочу делом заняться, и некогда мне твою болтовню слушать.

Даша торопливо вскочила с кресла: она привыкла повиноваться и во всем считать себя виноватой. Робко, как пристыженная, она пробормотала:

— Да что ж, Кузя, я пойду... Я только думала, что не мешаю... Я к тетеньке пойду...

Даша тихонько вышла из комнаты. Кузьма же сел за свой письменный стол и из ящика, всегда запертого на ключ, достал заветную тетрадь, на первой странице которой, среди росчерков, было написано французскими буквами, но по-русски: «Moi Journale ili Dnevnik Kosmi Vlasievitcha Roussakova». Не зажигая свечи, при свете лампадки, Кузьма стал записывать мелким, старательным почерком — также французскими буквами по-русски — впечатления сегодняшнего дня. Кузьма поставил себе правилом писать в своем дневнике каждый день, и только самые исключительные обстоятельства заставляли его нарушать это решение.

«Какое необразование окружает меня,— писал Кузьма.— Даже моя сестра Даша, которой я пытаюсь передать здравые понятия, так еще далека от того, чтобы понимать меня. И как приятно, вырвавшись из этой душной среды, встретить существо, в котором чувствуешь родственные струны. Вчера я наскоро записал о своем знакомстве с Фаиной Васильевной Кукулиной. Запишу сегодня подробнее об этом знаменательном в моей тусклой жизни событии...»

Несмотря на полутьму, перо быстро скользило по бумаге

Кузьма привык писать при скудном освещении, и оно не мешало ему поверять страницам «Журнала» самые заветные думы. В доме было тихо. Мысли Кузьмы были опять с милой девушкой, которую в первый раз он увидел накануне и которая, конечно, не догадывалась, какие пламенные строки писались об ней в затишье одного из замоскворецких домов.

V

Осенняя луна серебрила легкую изморозь. Переулок был пустынен. Стены церкви высились сурово и строго, но оттого только волшебнее становился маленький палисадник, с деревьями, уже оголенными наступавшей зимой. Окна церкви были в причудливых переплетах, и казалось, что внутри, в темноте есть кто-то, зорко подсматривающий за тем, что делается наружи... Так, по крайней мере, чудилось Даше.

Она только что прибежала к Аркадию, запыхавшись и раскрасневшись от бега.

— Аркадий, милочка, прости, что я запоздала чуточку. Тетеньки с дяденькой дома нету, да я Аннушки боялась: она ехидная, все тетеньке передаст. А тут, как на грех, все в комнатах вертится; банки де с огурцами надобно пересмотреть; грех такой: скисли они у нас.

Аркадий в своей легкой крылатке жестоко промерз, ожидая Дашу, но, увидев ее, почти забыл про холод. У Даши было миловидное, круглое, чисто русское лицо. При лунном свете она казалась совсем хорошенькой. Весело рассмеявшись на наивные оправдания девушки, Аркадий переспросил:

— Неужели? Так-таки и скисли?

Не дожидаясь ответа, он быстро схватил Дашу и поцеловал прямо в губы. Девушка из его рук вырвалась.

— Разве же можно!— проговорила она, смущенная больше неожиданностью, чем самым поцелуем.— Я же просила вас этого не делать.

— Почему же нельзя? Или ты меня разлюбила?

— Сами знаете, что я вас очень люблю. А только нехорошо пользоваться моей слабостью.

Аркадий увел девушку в глубину церковного двора. Там было темно, и с улицы их нельзя было увидеть, если бы даже кто-нибудь и прошел в это время мимо. Оба сели на скамью, и Аркадий, полуобняв девушку, любовался, как художник, ее милым личиком.

— Я тебя тоже очень люблю,— сказал он, применяясь к ее речи,— и потому целоваться мы можем, сколько хотим. Никакого греха в этом не будет. И ты сама, вместо того чтобы притворяться испуганной, возьми и поцелуй меня, потому что тебе этого так же хочется, как и мне.

Аркадий опять целовал Дашу, а она, хотя и делала вид, что упорно сопротивляется, думала при этом с замирающим сердцем: «Совсем как в романе!»

Когда Аркадий нашел, что достаточно и сказано, и сделано маленьких глупостей, обязательных на свидании с девушкой, он заговорил серьезнее:

— Правда, Даша, что тебя замуж выдают?

— Ох, истинная правда. Уже сваху засылали.

— Вот как! За кого же тебя прочат?

Опустив голову, Даша объяснила все.

— Не всякий тоже меня и возьмет,— рассудительно добавила она.— Тетенька говаривала, что дяденька приданого за мной тысяч двадцать даст, так по нынешним временам на такие деньги не смотрят. Известно, конечно, я им не родная дочь. Только вот Алпатов тоже племянницу выдавал, так полтораста тысяч чистыми за ней выложил и лавку красного товара дал. Это каждому лестно...

Аркадию Даша нравилась: нравилась ее наивность, ее молодость, ее здоровая красота. После признаний Даши мелькнула и мысль, что недурно было бы воспользоваться этими двадцатью тысячами рублей: деньги не великие, но с ними кое-что начать можно. Но тотчас над всем возобладала привычка проповедать, поучать. Взяв Дашу за руку, Аркадий заговорил с жаром негодования, но стараясь выбирать слова, девушке понятные:

— И не стыдно тебе, Даша, говорить о замужестве как о какой-то торговле? Разве ты не понимаешь, что брак — это свободный выбор души. Над твоей личностью хотят совершить насилие, распоряжаются твоей будущей судьбой, не спрашивая тебя. Позволить, чтобы тебя отдали или продали какому-то старику,— значит подвергнуть себя высшему унижению, какому может подвергнуться женщина! Ты обязана громко заявить свой протест против такого позора! Ты должна возвысить свой голос против произвола, который готовятся совершить над тобой!

Аркадий говорил так несколько минут, но с первых же фраз Даша перестала понимать смысл его речи. Она догадывалась только, что Аркадий ее стыдит, и нашла нужным тихо заплакать. Когда Аркадий, наконец, остановился, она произнесла, всхлипывая:

— Милочка, Аркаша! Я, главное, потому страдаю, что без тебя мне жизнь постыла будет. Так я тебя люблю, что и сказать невозможно. Как только я тебя в первый раз увидала, так и почувствовала, что моя судьба порешена. Я без тебя жить не могу.

Подлинное чувство мешалось в этих словах с отголосками лубочных романов, составлявших любимое чтение Даши. Для Аркадия ее наивное признание послужило прежде всего поводом для новой проповеди. Заговорив, он уже не мог остановиться, и, встав со скамьи, он продолжал свои поучения, говоря с пафосом, даже делая жесты, как актер на сцене (Аркадий был постоянным участником любительских спектаклей, причем всегда играл роли первых любовников, людей высокоблагородных и глубоконесчастных).

— Если ты меня любишь, вообще любишь кого-нибудь,— восклицал он,— ты не имеешь права, нравственного права, выходить за другого! Это значило бы обманывать мужа еще до брака! С другой стороны, уступив требованиям самодурадяди, ты принесла бы в жертву низким предрассудкам самое святое, что есть в тебе: свое первое, чистое чувство! Я не могу допустить, чтобы на моих глазах совершилось такое преступление. Я протягиваю тебе руку, чтобы вывести тебя из того мрака, в котором ты погибаешь. Я знаю, что в моей жизни есть что-то роковое. Я сам и все, кто ко мне приближаются, обречены на страдания. Но пусть лучше ты будешь страдать, чем медленно гибнуть в той тине пошлости, куда тебя толкают. Смело порви с своим прошлым, скажи твердо, что ты не подчинишься постыдному торгу, и выходи на новую дорогу жизни!

Даше от слов Аркадия стало так жалко самое себя, что она заплакала еще горше, уже вполне искренними слезами. Но из всех призывов Аркадия она поняла только, что он приказывает ей уйти из дома дяди, и спросила жалобно:

— Куда же я пойду? Мне и деваться некуда!

— Куда?— трагически переспросил Аркадий.— Ко мне. Твой брат не откажет тебе в поддержке. Я тоже сделаю все, что в силах, чтобы ты могла жить самостоятельно. Женщина может работать так же, как мужчина. Достаточно она служила прихотям мужчины: пора ей стать с ним рядом, как равноправному члену общества. Приходи к нам, и мы примем тебя как товарища, как друга, как нового сотрудника в общем деле.

Даша прекратила свои всхлипывания и вдруг спросила:

— А вы и взаправду меня любите?

— Если я произнес это слово «люблю», значит, это — правда. Запомни, Даша, что лгать — это унижать самого себя. Мы не должны лгать из чувства собственного достоинства.

С инстинктивным кокетством женщины Даша привлекла к себе Аркадия, усадила его рядом с собой и заговорила быстро-быстро, словно птица защебетала:

— Аркаша, милочка! Ежели ты меня взаправду любишь, так я к тебе приду. Только мы сейчас обвенчаемся, где-нибудь в деревне, в лесу. Я в одном романе читала: так делают. И я тебя буду любить! У тебя такие глаза хорошие, и усы твои мне ужас как нравятся! А потом — к дяденьке, и прямо в ноги. Ведь не зверь же он лютый! Посердится да и переложит гнев на милость. Скажем: «Влас Терентьич! Повинную голову топор не сечет. Дашенька в омут головой была готова,— а это правда сущая,— на вашей душе был бы грех. Лучше благословите нас, потому что любовь соединила нас по гроб жизни!» Ну, я не умею, а ты разговорчивый. Право слово,— благословит!

Аркадий уже чувствовал, что зашел слишком далеко в своих призывах. Сразу утихнув, он слушал болтовню Даши не без смущения. «Однако, чем черт не шутит,— успокаивал

он себя,— может статься, девчонка права Все-таки родная племянница. Титу Титычу своих же близких стыдно станет Двадцать тысяч — куш не жирный но надобно все это обмозговать как следует»

— Хорошо, Даша,— сказал он вслух,— мы об этом поговорим после. Пока объяви только своему дяденьке, что насильно замуж не пойдешь. А теперь садись поближе.

Аркадию было жалко, что они столько времени потратили на разговоры. Можно было недолгие минуты свидания провести веселее. Привлекши к себе девушку, он снова начал целовать ее в губы, щеки, в глаза, обнимая все более и более вольно. Даша не на шутку смутилась от такой ласки, отбивалась решительно, твердила с укоризной:

— И вовсе вы меня не любите. Вы меня погубить хочете. Для вас это игрушки одни.

«А ведь красивая девочка!— повторял сам себе Аркадий.— Действительно, обидно будет, если достанется она пьяному купцу, который запрет ее на кухне. И к развитию она способна: у нее природный ум, она не боится предрассудков. И вдобавок ко всему обещано за ней двадцать тысяч рублей!»

В эту минуту Аркадий почти искренно любил Дашу.

Но долго медлить на свидании Даше было опасно: дома легко могли заметить ее отсутствие. Она настойчиво стала прощаться.

— Голубчик мой, Аркаша, никак больше невозможно. Неровен час, тетенька вернутся. Что мне тогда будет, и представить — дрожь берет. Нет, уж пусти меня, а я все по-твоему сделаю: упрусь, не пойду, скажу, за старика, что вы там хочете! Потому что люблю я тебя, Аркаша, страсть как, прямо — обожаю.

Аркадий поморщился на последние слова Даши. Все более и более казалось ему, что он наговорил много лишнего. Но отступать было не в его привычках. Да и близость Даши, развеселившейся, бойкой, красивой, волновала его.

— Да, да, упрись, Даша,— сказал он,— а там посмотрим, что предпринять.

Аркадий проводил Дашу до угла. Они поцеловались в последний раз, причем Даша обеими руками обняла Аркадия за шею. Потом она быстро побежала по направлению к дому, вниз по переулку.

Оставшись один, Аркадий постоял несколько мгновений в театральной позе, покачал головой, как если бы он был в глубоком раздумьи, наконец, тоже пошел, постепенно ускоряя шаг, ежась от вечернего холода. Он был недоволен собой.

«Размяк я, как мальчишка,— рассуждал он.— Навязал себе на шею девку, не скоро разделаешься. Правда, субъект преинтересный. То наивна, как младенец, то так обнимет, что опытной кокотке впору. Да и статьями вышла: плечи круглые, груди колыхаются, глазенки блестят... Конечно, пока я ничем с ней не связан; скажу: извините, вы не так меня по-

няли. Но досадно будет с Кузьмой рассориться: парень полезный, и сейчас случается у него нужное перехватить, а если он оперится, так это просто золотое дно будет! Ну, да не робей, Аркадий, хуже запутывался, и то выплывал с успехом. Голова-то на плечах. Не будь только не в меру романтиком!» («Романтик» для Аркадия был одним из самых бранных слов.)

Аркадий мог вволю предаваться своим размышлениям, обсуждать все возможности, какие открывались для него после признаний Даши, и вспоминать сходные случаи из своей прошлой жизни, богатой любовными приключениями, так как путь ему предстоял не близкий. Перейдя через Яузский мост, Аркадий пошел вверх по бульварам, скудно освещенным керосиновыми лампами, пробираясь к центру города. На Кузнецком мосту, в подвальчике, был ресторан «Венеция», где в биллиардной собирались приятели Аркадия: он любил ораторствовать перед ними, а кстати надеялся, что кто-нибудь из них угостит его. Ощупав в кармане кошелек, Аркадий проверил его содержимое и лишний раз убедился в его скудости. «Семь гривен всего! Подлец Кузьма так и не дал ничего! Ну, авось Ельчевский угостит: даром, что ли, я прошлый раз битый час излагал ему принципы рациональной эстетики! Небось он теперь во всех салонах изумляет дам своим умом и познаниями!»

Несмотря на то, что Аркадий давно уже шагал торопливо, ему было холодно. Плохонький обед из кухмистерской, съеденный несколько часов назад, голода не насытил. Воспоминания о полуобещаниях, данных Даше, упорно возвращались на ум. Настроение духа Аркадия решительно портилось. Наконец, открылись более освещенные центральные улицы и приветливо замигал газ у входа в «Венецию».

«Вот пристань, к которой я стремлюсь теперь!— почти вслух произнес Аркадий с трагическим выражением лица (он охотно играл роли и наедине).— Вот куда привела жизнь меня, мечтавшего о триумфах и овациях! Не по розам лежит путь человека, который смеет мыслить самостоятельно!»

VI

По обыкновению при свете лампадки, Кузьма писал свой «Журнал или дневник». На этот раз он подробно описывал свою попытку научиться танцам. Так как он писал французскими буквами, то мог не бояться, что его записки попадут в руки отца.

«Выпросил-таки у папеньки,— писал Кузьма,— 15 рублей, чтобы учиться танцевать. Спервоначалу нипочем не хотел давать, все твердил: «Нам, оно, не к лицу». Спасибо, маменька подсобила. Теперь, говорит, везде танцуют, вот у Семипятого, на что первейший купец, в дому танцы бывают. Дал. «Отвяжись»,— говорит.

Я пошел искать учителя. В «Ведомостях» было объявление: «Учитель бальных танцев Вишневский. Средне-Кисловский переулок, дом Архипова». Искал, искал, насилу нашел дом. «Где, спрашиваю, танцевальный учитель здесь живет?» — «А это, говорит, нужно идти прямо, потом заворотить на другой двор, и прямо упретесь в крыльцо». Насилу разыскал крыльцо, взобрался по лестнице, чуть не упал: темно и склизко. Попал в кухню, дальше прошел в залу; там один ученик уже учится, скрипач играет, а учитель показывает. Меня спрашивают: «Что вам угодно?» — «Мне, говорю, надобно танцам выучиться».— «Это можно, говорит, какие же вы хотите танцы?» — «А сколько вы берете, чтобы выучить вальсу?»— «Пять рублей. У меня все равно: французская кадриль, лансье, полька, мазурка тромбле, галоп, одинаково пять рублей за каждый».— «Мне, говорю, к четвергу нужно».— «Можно и к четвергу. Сегодня вторник, так в два дня очень можно выучиться. Можно и в три часа, ежели хорошенько показать».— «А меньше пяти рублей нельзя никак?» — «Да вы разочтите: скрипачу нужно три рубля дать, себе за труды и на расходы всего два рубля»...

С такою же обстоятельностью описывал Кузьма и весь свой разговор с танцевальным учителем и свой первый урок. Ему все казалось, что учитель смеется над неловкостью его движений, и описание урока несколько раз прерывалось восклицаниями: «Да где же мне было хорошие манеры приобрести!» или «Какая уж у меня грация, коли целый день над конторкой сидишь!» За описанием урока неожиданно последовали стихи, под которыми была поставлена подпись: «Сочинял Козим Руссаков, 12 октября 1862 года».

Ты предо мною показалась,
Как будто чудная мечта,
И сердцу в этот миг казалось,
Что засняла красота.
Ты не была подобна многим,
Тем детям ложной суеты,
Но ты смотрела взором строгим,
Как гений смотрит с высоты.

Во втором стихе Кузьма сначала написал «райская мечта», а в последнем — «ангел смотрит», но потом тщательно зачеркнул эти выражения и заменил другими: «рай» и «ангел» — глупые предрассудки.

Тихонько отворилась дверь, и вошла Даша.

— Не помешаю, Кузя?

— Ничего. Поговорить хочешь?

— Надо-ть, Кузя.

Однако заговорить сразу о своем деле Даша не решилась и, помолчав, спросила:

— А вот тетя Маргарита намедни рассказывала, будто какой-то колдун показывал государю мертвых. Как ты думаешь, правда это?

— Все это враки, Даша, никаких колдунов не бывает.

— Она говорила, будто государю хотелось посмотреть своих предков, и велел вызвать отца своего Николая Павловича. Колдун вызвал, и тот будто дотронулся до щеки государя. Потом пожелал видеть Екатерину, и та погрозила ему пальцем. Еще после Петра Первого. Колдун говорит, что хоть и можно, но очень трудно. И такой он показался страшный, что государь упал в обморок.

— Напрасно ты слушаешь, Даша, всякие глупости.

Опять наступило молчание. Кузьма был недоволен, что Даша помешала ему писать. У нее же все не хватало духу начать речь о том, за чем собственно она и пришла.

— Я теперь, Кузя,— сказала Даша,— читаю роман, Зотова сочинение: «Цын-Киу-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы»,— очень интересно.

— Тоже небось Маргарита принесла? Все ты вздор читаешь. Я же давал тебе дельные книжки!

— Да что ты, Кузя: то — «глупость», то — «вздор». Уж будто все тебя дурее. Скучные они, твои дельные книжки-то.

— Скучные потому, что в тебе нет потребности развивать себя.

Замолчали в третий раз. Кузьма уже готов был сказать Даше, чтобы она не мешала ему заниматься делом, как вдруг она заговорила:

— Я, Кузя, хочу из дому уйти.

— Как уйти из дому? Куда же ты уйдешь?

Потупясь, Даша стала сбивчиво объяснять свое решение. В ее словах были отголоски проповеди Аркадия, которую она поняла как-то по-своему, собственные измышления в духе прочитанных ею романов и искреннее чувство тоски и страха за свое будущее. Несколько раз во время речи Даша принималась всхлипывать, так как, по уверению тетеньки, «глаза у нее были на мокром месте». Кузьма слушал сумрачно.

— Как я подумаю, братик,— говорила Даша,— что быть мне за этим самым Гужским, так у меня душа переворачивается. Ведь он меня бить будет. Опять же у него дети. Почему я такая несчастная? Аркадий так меня стыдил, пересказать нельзя. Он мне говорит: «Приходи ко мне, и мы начнем новую жизнь. Я, говорит, без тебя был несчастен и очень тебя люблю». Правда, Кузя, так и сказал. У меня даже дух захватило. Оно, конечно, боязно: как же супротив дяденьки и без благословения? Да Аркадий пообещал в деревне повенчаться. Теперича я и думаю, как лучше. Все равно один конец, так лучше попытать. А? Скажи, Кузя?

— Прежде всего,— рассудительно сказал Кузьма,— постарайся говорить правильно. Что это за «теперича», «супротив», «боязно»; надо говорить: «теперь», «против», «страшно». За твои слова мне перед другими бывает стыдно.

— Эх, Кузя! До слов ли мне, когда впору руки на себя наложить. Тетенька говорила, что на той неделе быть смот-

ринам. Неволят меня за старика, а ежели я Аркадия пламенно люблю?

Вопрос был серьезный. Кузьма встал и начал ходить по комнате. Разговор шел вполголоса, чтобы не разбудить родителей, и так же, полушепотом, Кузьма стал спрашивать Дашу:

— Аркадий сказал, что любит тебя? Звал уйти к нему?

— Вот тебе крест, братик!

— Подумай, Даша, какая ты ему пара? Он — образованный, личность выдающаяся, у него высшие стремления. Можешь ли ты сознательно разделять его взгляды, быть сотрудницей в его работах, поддерживать его? Не окажешься ли ты для него лишним бременем? Может быть, он из благородства хочет помочь тебе. Хорошо ли пользоваться таким великодушным порывом души?

Когда при Даше говорили «страшные» слова, она всегда начинала в ответ плакать. Так и теперь она отозвалась сквозь слезы:

— Ведь я его люблю, Кузя! Ужасно буду любить! Усы у него — просто прелесть!

Кузьма втайне был очень польщен тем, что Аркадий, перед которым он все же благоговел, избрал Дашу. Привыкнув к ней с детства, Кузьма ценил в ней душу искреннюю, легко увлекающуюся, не лишенную своеобразной поэзии. Но вместе с тем Кузьма считал своим долгом оберечь своего друга от неосторожного порыва, внушенного, может быть, излишним благородством.

Долго Кузьма полушепотом уговаривал Дашу не спешить с исполнением своего решения.

— Ежели тебе так невыносимо идти замуж за Гужского, почему ты не сказала этого папеньке прямо?

— Сробела я, Кузя, очень. И то: дяденька — мой благодетель: всем я им обязана. Да и сам знаешь: как ему перечить? Скажет: уходи на все четыре стороны.

— Полно, Даша, папенька вовсе не такой самодур. Он покричит, но поймет твои чувства. А ежели и прогнал бы, так ведь все равно ты собираешься уйти. Можно уйти и не к Аркадию. Живут другие девушки своим трудом. И я тебе помогу, чем возможно...

— Не дело ты говоришь!— с сердцем возразила Даша.— Другие — те, может, ученые: уроки дают. А я толком и шить не умею. А тебе из чего мне помогать? Зачастую сам рубля не допросишься. Или мне Аркадию довериться, или в Москву-реку головой. Так-то, Кузя!

Долгое совещание закончилось тем, что Кузьма обещался сам переговорить с Аркадием. Надо было, однако, с переговорами спешить, так как сваха тоже настаивала на скором ответе. «Честным пирком, да за свадебку»,— говорила она, намекая, что Гужский твердо порешил жениться: будете дело оттягивать, так он и другую невесту найдет.

Даша ушла от Кузьмы несколько успокоенной. После ее ухода Кузьма долго еще шагал по комнате. Он мечтал о

том, что Даша станет женой Аркадия. В их доме будут собираться умные люди, студенты, актеры, может быть, писатели. Будут говорить об умных вещах, о литературе, о театре, о политике. Кузьма будет там свой человек. Он к этому обществу привыкнет, перестанет смущаться... В конце концов ведь у него есть дельные мысли: нашлось бы, что сказать другим. Среди гостей будет иногда и Фаина...

В мечтах Кузьма начал сочинять длинную речь, которую ему, может быть, придется произнести на одном из таких вечеров. Положим, заговорят об Островском. Кузьма много над ним думал, читал Добролюбова... Кузьма тщательно подбирал слова своей будущей речи, становился в подходящие позы («позиции», указанные танцевальным учителем), пытался угадать возможные возражения и свои находчивые ответы на них,— все так, словно эту речь ему предстояло произнести завтра...

Поймав самого себя на таком странном занятии, Кузьма тут же мысленно обозвал себя дураком, опять сел за свой «Журнал» и, в наказание себе, написал новые стихи:

Я пожелал известным быть,
Писать и прозой и стихами,
Умно пред всеми говорить
И барышень дивить речами:
Что вот-де человек какой,
Умно и говорит и пишет,
А нравом скромный и простой,
Не денег, а лишь славы ищет.
Но мне ль ученых изумлять,
Есть без меня поэтов много:
Мне бечевой лишь торговать
Да подводить в счетах итоги!

Под этими стихами Кузьма подписал: «Сочинено экспромтом, Козим Руссаков, того же дня и года».

VII

Кузьма боялся прийти к Фаине Васильевне слишком рано, так как слышал, что в «хорошем обществе» собираются поздно. Другие гости этого правила не соблюдали, и Кузьма, позвонив у дверей часов в 9, был одним из последних. Маленькая квартирка, где жила Фаина со своей теткой, занимавшейся шитьем на магазины, была переполнена. В единственной большой комнате, где все и расположились, было душно, накурено, шумно. Гости — по большей части студенты и молодые девушки, жившие самостоятельно (одни учились акушерству, другие служили в магазинах и т. д.),— разбились на группы, пили чай стакан за стаканом и спорили ожесточенно.

— Спасибо, что пришли,— бросила Кузьме Фаина мимо-

ходом,— здесь есть и ваши приятели. С остальными знакомьтесь сами. У нас просто.

Фаина тотчас поспешила куда-то. Кузьма остался один в незнакомом обществе. Глазами он нашел Аркадия, но тот что-то кому-то оживленно доказывал. Неловко добравшись до свободного стула, Кузьма сел в уголку, стал прислушиваться к разговору и постарался принять непринужденный вид, что ему удавалось плохо. Ему казалось, что на него не обращают внимания намеренно, и в душе он мучился своим смешным положением: неуклюжего, никому ненужного гостя в дурно сшитом сюртуке, тогда как другие были в простых, домашних костюмах. «Господи боже мой! — думал Кузьма,— зачем я надел сюртук! Ведь Фаина говорила мне, что у них — просто».

Около Кузьмы студенты спорили о проекте нового университетского устава. Юноша в очках неуверенно защищал проект, но большинство горячо его оспаривало. Особенно негодовал студент с гривой нестриженых волос, которого приятели называли Мишкой; он поносил «ретроградность» правительства и предсказывал, что студенты возьмут в свои руки дело своего образования.

— Довольно нас водили на помочах!— восклицал он.— Молодежь сама укажет профессорам, что они должны читать ей. К черту римское право и всякую схоластику! Мы хотим науки жизненной! А для этого университет должен быть в руках студентов: они его истинные хозяева!

Кузьме эти рассуждения были совершенно чужды, но он всячески пытался показать, что слушает их внимательно, тоскливо чувствуя свое одиночество.

С полчаса Кузьма просидел, не произнеся ни слова. Наконец Фаина, заметив, что гости ее наговорились вдоволь, предложила просить Аркадия что-нибудь спеть. Ее просьбу поддержали. Аркадий сначала «поломался», ссылаясь на то, что он не в голосе, но довольно охотно взял в руки принесенную гитару.

— Извольте, господа. Я вам спою романс, который написал вчера, так, экспромтом, на слова Лермонтова. Романс, может быть, не подойдет к общему оживлению, но веселие — не моя сфера. Я слишком знаю жизнь, чтобы находить веселые звуки. В некотором роде, это будет та мумия, которую древние египтяне выносили на своих пирах со словами: memento mori!

«Господи боже мой!— подумал Кузьма,— как у него все умно выходит! Умеет же человек вовремя и египтян помянуть. Мне бы этого в жизнь не придумать!» (Несмотря на весь свой атеизм, Кузьма не мог отрешиться от привычки к божбе,— и вслух и в мыслях.)

Аркадий взял несколько сумрачных аккордов и запел не лишенным приятности баритоном:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Мелодия, подобранная Аркадием, довольно хорошо подходила к словам стихотворения, но певец в своем пении как-то особенно подчеркивал отдельные выражения, словно стремился показать, что все, сказанное поэтом, относит к самому себе.

Что же *мне* так больно и так трудно...
Уж *не жду* от жизни ничего я,
И *не жаль мне* прошлого ничуть...

Лицу своему Аркадий придал выражение трагическое и, взяв последний аккорд, опустил голову, словно подавленный неизмеримой тяжестью скорби. Иные из слушателей зааплодировали.

— Это вы сами сочинили?— наивно спросила молоденькая девушка со стрижеными волосами.

— Вы спрашиваете о музыке?— поправил ее Аркадий.— Да, я когда-то предавался этому искусству (Кузьма тотчас отметил мысленно красивое слово: «предавался»), но условия моей жизни таковы, что пришлось от него отказаться... Лишь иногда просыпается прежнее влечение... И вот вчера, когда мне было особенно грустно, когда по разным причинам вспомнились все разбитые надежды, сама собой пропелась мне эта мелодия. Я не записал ее... Позабуду ее я, позабудется она и всеми... И пусть... Так, может быть, и надо...

Аркадий медленно подошел к столу, за которым тетка Фаины разливала чай, и попросил налить себе стакан.

Студент Мишка с растрепанными волосами не выдержал и заявил громко:

— Ну, если пришлось отказаться от музыки, горе еще не велико: забава приятная, но совершенно бесполезная.

Заспорили о искусстве.

— Вы что же, совсем отрицаете и музыку и поэзию?— бойко спросила та же барышня со стрижеными волосами.

Студент посмотрел на нее снисходительно и отвечал нехотя, как бы стыдясь говорить столь общеизвестные истины:

— Не я их отрицаю, а наш век. Первобытному человеку естественно было тешить себя песнями, плясками и раскрашиванием тела. С развитием просвещения человечество отказалось от всего этого, как от детских погремушек. Ребенку свойственно заниматься игрушками, но у взрослого человека есть более серьезные интересы. Забавам он предпочитает дело.

На защиту искусства выступила Фаина:

— Нет, Михаил Петрович, такими словами вы нас не запугаете. Дело делом, а мы хотим и радости в жизни. Мы здесь вовсе не фанатики. Почему в свободное время не почитать стихи и не послушать музыку, если это доставляет нам удовольствие? Вреда от этого никому нет, а радости много.

«Боже! Как она умно говорит!» — почти воскликнул Кузьма и решился вставить свое слово.

— Кроме того,— произнес он громко,— есть стихи с глубоким содержанием. То есть, я хочу сказать, что стихи бывают разные... Вот, например, Некрасов...

Студент с растрепанными волосами повернулся к Кузьме, оглядел его пренебрежительно и, все так же нехотя, как бы обронил несколько уничтожающих фраз в ответ:

— Ну, если кто-нибудь не умеет писать иначе, пусть выражает свои идеи в стихах. Разумеется, если это — идеи прогрессивные. Только надо полагать, что скоро все научатся писать языком разумным, не подбирая разных там рифм, из-за которых смысл частенько страдает. Хорош тоже и ваш Некрасов. Вот у него какая-то там «нарядная» едет «соблазнительно лежа» в коляске, точно коляска — кровать. А все от того, что рифма к слову «ложа» понадобилась.

Случилось так, что все примолкли, слушая «Мишку», и теперь ждали ответа от Кузьмы. Но Кузьма смутился от общего внимания и не находил слов. Он даже весь покраснел от волнения. Фаина пришла к нему на помощь и сказала примирительно:

— Все-таки, господа, Кузьма Власьевич прав. Может быть, у Некрасова есть неудачные рифмы, но он делает большое и полезное дело. Он нас знакомит с бытом народа. А оттого, что он пишет стихами, его прочтут даже те, которые иначе о народе ничего не узнали бы.

Спор о Некрасове продолжался. Но Кузьма уже не слушал его. Вся его душа была исполнена благодарности к Фаине «Милая!— думал он,— как ловко она меня выпутала. А я-то тоже! полез спорить! Сидел бы уж в своем углу, ежели двух слов связать не могу! Подлинно, как говорится: с суконным рылом да в калачный ряд!»

Чтобы прекратить споры, Фаина предложила спеть еще. На этот раз студент-волжанин пропел «Вниз по матушке по Волге»,— песню, которая почему-то считалась «прогрессивной», и все подтягивали ему хором. Другой студент пробренчал что-то на гитаре. «Мишка» молча улыбался саркастически. Он был из числа случайных посетителей общества, уже успевшего сложиться за короткое пребывание Фаины в Москве.

Принесли пиво, и общее оживление еще увеличилось.

VIII

Наконец, дошло дело и до танцев. Танцевали также под гитару, так как иного музыкального инструмента в доме не было. Играли на гитаре по очереди, и все играли плохо, но это не мешало молодежи веселиться.

Фаина сама пригласила Кузьму на кадриль.

— Вы танцуете, Кузьма Власьевич?— спросила она.

— Как же-с, Фаина Васильевна. Нынче все танцевать обязаны, то есть ежели кто хочет бывать в обществе. Почему же вы меня таким необразованным считаете?

— Полноте, я ничего такого не думала. Многие очень образованные люди не танцуют. Итак, мы будем с вами танцевать кадриль. Я уже просила Аркадия Семеновича быть нашим визави.

В кармане у Кузьмы были припасены для танцев перчатки, но не белые, а цветные. Уже после покупки их он узнал, что для танцев нужны белые перчатки, и это его мучило. Однако он с радостью увидел, что молодежь танцует без всяких перчаток, и благоразумно не показал своих вовсе. Мучило Кузьму еще опасение, что он перепутает все фигуры танцев, и он наскоро перебирал в уме наставления танцевального учителя. Но и эти опасения были излишни. Танцы шли «по-домашнему», и танцевальный учитель пришел бы в истинный ужас, видя, что никакие позиции здесь не соблюдаются.

За кадрилью было весело: смеялись, обменивались шутками. Даже Аркадий отказался от своего мрачного вида и, меняясь дамами с Кузьмой, острил по этому поводу, намекая на его чувство к Фаине. Развеселился и Кузьма, поняв, что к нему вовсе не относятся с намеренным пренебрежением.

В перерыве между двумя фигурами Фаина сказала Кузьме:

— Мне надо поговорить с вами, Кузьма Власьевич. Сядем после кадрили в сторонке.

Когда закончился традиционный grand rond [1] и распорядитель танцев объявил польку, Фаина усадила своего кавалера за круглый столик и повела деловой разговор.

— Позвольте, Кузьма Власьевич, сказать вам откровенно, что вы с первого знакомства показались мне человеком очень симпатичным. Все, что вы говорили, было так дельно, что я сразу почувствовала к вам доверие. Если и вы мне доверяете, мне хочется посоветоваться с вами об одном деле.

Доверие от нее! от Фаины! Мог ли Кузьма мечтать о большем. И смущение и восторг разом заполнили его душу. Доверие ведь может быть началом любви, а тогда... Но Кузьма не успел докончить своей мысли. Заметив, что Фаина сделала маленькую паузу и ждет его ответа, он пробормотал:

— Помилуйте, Фаина Васильевна! Да я за большую честь почту-с. Мне, так сказать, лестно-с...

И вдруг добавил:

— Я ведь никогда не встречал таких, как вы. Вы не подумайте что-нибудь, только я... Каждое ваше слово для меня... Знаете-с, с той поры, как я вас увидал, вся моя жизнь переменилась...

Он опять смешался, а Фаина весело рассмеялась:

— Вы, кажется, мне комплименты говорите или в любви хотите объясниться! Пожалуй, слишком быстро!

Дядюшка, Пров Терентьевич, сравнил бы Кузьму в эту минуту с вареным раком — так он покраснел, но Фаина смеялась добродушно. Она не была красива. У нее было простое лицо, немного малороссийского типа; на вид было ей никак не меньше двадцати лет, так что особенно юной она не казалась; волосы ее были зачесаны гладко, что также ее ста-

[1] Большой круг *(фр.)* — фигура в общем танце.

рило. Но смеялась она совсем по-детски, открывая белые, блестящие, здоровые зубы. Перестав хохотать, она продолжала:

— Вы не сердитесь, милый Кузьма Власьевич. Я уж такая хохотушка. А вы так трагически заговорили... Ну, да оставим это. Я лучше вам скажу о том деле, о котором хотела с вами посоветоваться.

Дело, как оказалось, состояло в том, что Фаина, вместе с несколькими друзьями и подругами, собиралась взять в свои руки типографию. У Фаины есть подруга — Надя Красикова, а у Красиковой — дядя, владеющий небольшой типографией. Дела типографии шли так плохо, что владелец хотел ее закрыть. Тогда Наде Красиковой и Фаине пришла в голову мысль самим повести эту типографию. Будет организовано общество на паях. Члены общества будут в то же время и работниками. Делать будут все сами: набирать и печатать книги, принимать заказы и развозить отпечатанные экземпляры, даже чистить машины и подметать полы. Все члены при этом будут между собою равны, черную работу исполнять попеременно, а барыши делить поровну.

— Подумайте,— говорила Фаина,— какое это прекрасное начинание! Наша типография будет образцом тех коопераций, основанных на рациональных принципах, к которым в будущем должны будут перейти все промышленные предприятия. В нем будет устранена всякая возможность эксплоатации чужого труда. В то же время этим мы откроем новую эру женского труда, так как в нашей типографии женщина будет работать наравне с мужчиной. Узнав вас, я сейчас же догадалась, что вы нашим делом заинтересуетесь, и решила привлечь вас к участию в нем.

Фаина говорила не без энтузиазма, хотя, вероятно, повторяла чужие слова, может быть, Аркадия. Кузьма смотрел на нее с восхищением. Кто-то в это время пытался играть на гитаре польку. По маленькой зале вертелись пары, натыкаясь на стулья. Табачный дым, словно дождевая туча, колыхался под потолком, оклеенным белой бумагой. Но молодая девушка, говорившая такие умные слова, как «кооперация», «рациональный», «эксплоатация», была для Кузьмы явлением совершенно новым, невиданным. Мечта — работать вместе с ней, встречаться с ней ежедневно за общим делом, показалась ему мечтой о каком-то райском житии, о каких-то блаженных островах. Однако, когда Фаина замолчала, Кузьма ответил осторожно:

— Чем же я могу быть вам полезным, Фаина Васильевна? Я в типографском деле ни бельмеса не смыслю. Опять же у меня времени нет: слышали, верно, я в лавке, при папеньке. Мне отлучаться никак невозможно. Поверьте, Фаина Васильевна, я не только что всей душой желал бы, но, так сказать, за счастие почел бы одно с вами дело делать. Но ведь ежели я от папеньки, скажем, уйду, мне, можно так выразиться, придется ни при чем остаться.

Как только заговорили о вопросах практических и жи-

тейских, Кузьма почувствовал себя более в своей области. Он отвечал Фаине довольно связно и складно, хотя и пересыпал свою речь разными вводными словечками, чтобы придать ей больше почтительности. Фаине, однако, ответ Кузьмы, видимо, не понравился. Она досадливо закачала головой и прервала Кузьму:

— Мы понимаем, что вы не можете участвовать личной работой. Но вы примете участие в деле как член общества. Для организации его нужны деньги, хотя бы небольшие. Вы возьмете пай, будете иметь все права члена общества, но работать мы не будем вас принуждать.

— Как же так?— возразил Кузьма.— Вы, кажется, сказали, что все члены общества должны одинаково работать?

— Ну, нет правила без исключения!— опять засмеялась Фаина.

Потом она быстро добавила:

— Я к вам потому обратилась, что мне хочется привлечь вас к нашему предприятию. Я заметила, что вы тяготитесь той средой, в которой принуждены вращаться. У нас вы получили бы возможность приложить свои силы к разумному делу. Я к вам чувствую искреннюю симпатию. Мне будет очень приятно, если вы также окажетесь в нашем обществе.

— А почем будут продаваться паи?— спросил Кузьма.

— Ах, ну каждый внесет, сколько может. Мы начнем дело скромно. Вы дадите, например, пятьсот рублей,— для начала. А там посмотрим, может быть, этого и достаточно.

«Пятьсот рублей!— подумал Кузьма.— Я вот на танцы у папеньки насилу 15 целковых выпросил!»

Кузьма, однако, не сказал этого вслух. Неужели сразу разбить мечту о близости с этой «чудной» девушкой? Да и надо подумать об ее предложении. В конце концов, имеет же он право на какие-нибудь деньги! Ведь с малолетства день за днем он работает в лавке. Что-нибудь он да выработал! Что, ежели прямо попросить у папеньки: «Дозвольте мне на одно хорошее дело взять пятьсот рублей»... Не на баловство это пойдет.

Фаина еще поговорила с Кузьмой, расспрашивала о его домашней жизни, просила познакомить с сестрой, о которой слышала от Аркадия, приглашала бывать у себя запросто. Несколько раз Фаина повторила, что он, Кузьма, сразу ей понравился, что она почувствовала в нем что-то себе родственное. Она даже спросила:

— Наверное вы стихи пишете?

— Пишу,— признался Кузьма, снова покраснев.

— Видите, я догадалась! Вы не смотрите на них (она сделала жест в сторону «Мишки»), что они там говорят против поэзии. Это уж не ново, вчерашние слова повторяют. А я очень люблю стихи. Вы мне принесите свои почитать.

Тетка позвала Фаину, слишком долго засидевшуюся около одного гостя. Кузьма снова остался в одиночестве. Но теперь он уже не без гордости посматривал на других, после

того как Фанна удостоила его такого длинного разговора. Ему казалось, что это все заметили и переменили к нему отношение. К тому же вскоре подошел к Кузьме молоденький студент, Фишер, выпивший несколько больше пива, чем следовало, и заговорил о необходимости превратить Россию в федеративную республику, по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. Кузьма, не решаясь спорить, поддакивал студенту, и тот был этим вполне доволен, восклицая по временам:

— Верно, товарищ! Посему — выпьем! Vivat et respublica! [1]

Под конец вечера возгорелся было спор между «Мишкой» и Аркадием. Точнее сказать, «Мишка» настойчиво требовал, чтобы Аркадий спорил с ним, но тот всячески от спора уклонялся.

— Нет, черт вас дери,— требовал студент,— вы мне ответьте прямо: признаете вы коммунальное устройство жизни или нет? Требую прямого ответа: да или нет!

— Все равно, господа,— отвечал Аркадий, стараясь обращаться не к наступавшему на него оппоненту, а ко всему обществу,— какой бы общественный строй вы ни ввели, страдать люди будут по-прежнему. Ни фурьеризм, ни социализм не могут сделать счастливыми тех, у кого нет счастия в душе. Сумма горестей во всем человечестве всегда остается одна и та же.

— Слыхали мы эти мефистофелевские слова,— громовым голосом возражал «Мишка».— Это вы от «отцов», от людей 40-х годов! Да еще с прибавкой их же иллюзий о какой-то «душе»! Нет, наука нам доказывает, что правильное распределение человеческих усилий ведет именно к сокращению суммы страданий! Кроме, разумеется, страданий измышленных, в «душе» помещающихся, на манер Гамлета или Рудина. Да-с!

— Vivat et respublica!— подхватил Фишер.

Многие из присутствующих были в столь возбужденном состоянии, что явно уже пора было расходиться. Аркадий взял на себя труд выпроводить гостей. Вообще он держал себя в доме, как свой человек. Стали прощаться, но еще в передней продолжали спорить о самых высоких предметах. Рослый Приходько, один из «вечных студентов», перешедший, кажется, уже на четвертый факультет, энергично тряс руку Фанны, утешая ее на прощание:

— Правильно сделали, что в Москву перебрались. Сами поучитесь, и мы у вас друг друга повидаем. А что вы там стишки любите и танцуете, так это мы вам можем разрешить. Конечно, если только немного.

Гурьбой вышли на улицу. Оказалось, что Кузьме по пути с этим самым Приходько. Пошли вместе, причем студент тотчас принялся критиковать все общество, собравшееся у Фанны.

---

[1] Да здравствует республика! *(лат., искаж.)*

— Сама она — девочка ничего,— сказал он,— сухопара немного, но видно, что есть в бабе огонь! Ух!

Кузьму, как говорится, передернуло от такого отзыва, и он ничего не ответил.

— Другая,— продолжал Приходько,— тихоня эта, Елена Демидовна, что за весь вечер слова не вымолвила, тоже по губам пришлась бы. Да только она уже занята, есть свой сударик. Мишка наш сегодня сплошал: выдыхаться стал. Стучит по одному месту, как дятел. Фишерка нализался. «Республика» кричит, а в университете — первый шпион и наушник: все инспектору доносит. Бить скоро этого Фишерку будут: уже порешено. Приятель ваш, Аркадий, малый с головой, да много в нем сидит этого самого идеализма: старой закваски человек. В общем, от него, как от козла, ни шерсти, ни молока...

Кузьма был рад, когда на перекрестке он мог попрощаться со своим попутчиком.

— Захаживайте!— сказал ему, прощаясь, Приходько.

«Как бы не так!— подумал со злобой Кузьма,— довольно с меня тетки Маргаритки, чтобы сударить!»

IX

Сватовство Даши шло быстро; решено было устроить смотрины, и Влас Терентьевич выдал 20 рублей на новое платье.

— Смотри, Дашка,— объявил он,— чтобы у меня все было чин чином, как должно. Степан Флорыч, того, человек обстоятельный, с ним шуток не шути. Разные там девичьи увертки, что, мол, не молод, брось. Мы тоже смотрели, когда выбирали. Дело у него свое, хорошее дело. Будешь за ним, как у Христа за пазухой.

Даша слушала, побледнев. Слова, подсказанные Аркадием, как бы душили ее, как бы подступали к горлу, как иногда слезы. Ей казалось, что она сейчас упадет на колени и заявит: «Воля ваша, дяденька, а только я за него не пойду!» — и скажет «все». Но привычный страх перед дяденькой восторжествовал. Она почти сама не знала, как проговорила в ответ:

— Вам, дяденька, видней, нешто я супротив вас могу? Я завсегда вам, как благодетелю моему, благодарна. Коли прикажете, так я пойду.

— Ну, то-то,— сказал Влас Терентьевич, вполне удовлетворенный.— И денег за тобой дам, словно бы за дочерью, и приданое справим, честь честью, по рядной передам. Тетка тебе уже скажет: две шубы будут, одна, того, на лисьем меху. А ежели начнешь дурить, то вот тебе бог, а вот порог Слышала?

— Слушаю-с, дяденька.

— Целуй у дяденьки руку-то, дура!— вставила тетка Орина Ниловна, присутствовавшая при объяснении.

Даша поцеловала руку у своего благодетеля и вышла вон. Через минуту Даша была у Кузьмы. Разговаривать надо было шепотом, хотя Даша по обыкновению рыдала.

— Кузя, родной мой, согласилась я! Дяденька эдак глядит, испужалась я страсть. Как вы прикажете, говорю, так и будет.

— Зачем же ты соглашалась?— с негодованием спросил Кузьма.— Теперь пеняй на себя. Следовало прямо сказать, что насильно замуж не пойдешь. Как же тебе не стыдно быть до такой степени в рабстве, что ты собственного мнения высказать не смеешь!

— Эх, Кузя! Сам-то ты больно востер! Тоже, как с папенькой говорить приходится, небось хвост поджимаешь. А меня стыдишь.

— Что же теперь ты будешь делать?

— Почем я знаю. Побегу и утоплюсь.

— Это, положим, глупости.

— И вовсе не глупости. Увидишь, не то скажешь.

Брат с сестрой шептались долго, а в это время Влас Тереньтевич, забавляясь со своей «старухой» игрой в дурачки, в старые-престарые, все замасленные карты, также обсуждал будущую судьбу своей племянницы.

— А что, Орина,— говорил он,— я думаю, того, жених для Дашки подходящий, а?

Орина Ниловна, которая за двадцать пять лет замужества привыкла ни в чем не перечить мужу, и тут сочла нужным поддакнуть ему:

— Мужик правильный, что говорить.— Но потом добавила робко: — Вот летами он, может статься, не вовсе вышел. Девка она молодая, а Флорыч — вдов, детки у него. Тяжко это будет, чужих-то нянчить. Поглядишь это, да жалость берет.

— Ну, ты, старуха, этот миндаль оставь,— строго заявил Влас.— Постарее, оно, крепче будет, не ветрогон какой. И то рассуди: все ж не родная она нам. Много за нею дать нам не расчет. Капитал в одни руки идтить должен: потому, иначе делу ущерб. А без денег ноне не всякий возьмет.

Орина помолчала, подбирая «пяток», а за ним «тройку» с козырным тузом, так что старик остался в дураках. Но, когда он вновь тасовал колоду, не утерпела и попробовала замолвить еще словечко за Дашу:

— Тоже книжки она приобыкла читать. Онамедясь зашла это я к ей, она, значит, при лампадке так и зачитывает... А Флорыч-то, слышь, в дому книжек-то чтобы духу не было. Тяжко это ей, Дашке-то, будет.

Влас положил колоду на стол, посмотрел пристально на жену, сплюнул и покачал головой.

— Ну, Орина, была ты дура, дурой и осталась. Ты вот онамедясь видела, что Дашка книжки читает. А куда девка по вечерам бегает, ты того не видишь? Я вот говорить не хотел. А уж коли на то пошло, так скажу: пора девку выдавать, баловаться начала! От этих самых книжек. Протянем дольше, худо будет!

— Батюшка, Влас Терентьич!— так и взмолилась Орина,— да что это ты говоришь? Да как же так, по вечерам бегает? Да откуда ж это ты? Да ее, подлую, опосля того розгой...

— Знай помалкивай, старуха,— сумрачно ответил Влас, берясь опять за карты.— Откуда знаю, не твоего ума дело. Ну, оно, тебе ходить.

Игра продолжалась. Проигравшего били пачкой карт по носу, почему и самая игра называлась «в носки». Выиграв, Влас исправно пользовался своим правом и щелкал жену по носу. Проиграв, без возражений подставлял свой нос, и тогда Орина щелкала мужа, впрочем, с опаской, больше для вида. И такая забава происходила почти каждый день, год за годом, в течение четверти века, пока хозяин, зевнув, не объявлял:

— Ну, оно, умаялся я. Пора, того, и соснуть. Крестись, старуха.

Игра «в носки» была едва ли не единственным развлечением стариков. Случалось, конечно, бывать на семейных торжествах, на именинах, крестинах, свадьбах, похоронах, но только у самых близких родственников, в общем не чаще, как раза три в год. Вина, не в пример другим обитателям «города», Влас почти не пил, так разве за компанию с отцом благочинным рюмку русской мадеры. Покойный батюшка, Терентий Кузьмич, пивал много, даже запоем страдал и чертей на бороде ловил; так это подействовало на Власа, что он дал себе зарок не пить и свято соблюдал его всю жизнь. В театрах старики, разумеется, не бывали. Орина так никогда и не видала, что это за штука такая «киатер», да и не пошла бы, если бы даже ей предложили, «черта тешить». Влас соблазнился-таки однажды и полюбопытствовал посмотреть тот самый Большой театр, который при Николае Павловиче горел, но состоялось это посещение театра случайно: знакомый печник задаром провел, можно было из-под люстры посмотреть, как голоногие девки на сцене пляшут. После того зрелища Влас отплевывался с неделю. И когда Кузьма просил денег на театр, Влас каждый раз говорил ему:

— Что ж, оно, побалуйся. Токмо, того, не понимаю я, чего тут. Видал я этот самый киатер: зазор один.

Впрочем, к развлечениям относилось еще посещение церкви. Под большие праздники и на праздники Влас неизменно отправлялся ко всенощной и к обедне, в приходскую церковь Косьмы и Дамиана, выстаивал всю службу на почетном месте, истово крестился, иногда вздыхал и выговаривал вслух: «Господи, помилуй мя, грешного» (иных молитв он не знал). При этом Влас искренно любовался позолотой храма, блестящими облачениями духовенства, миганием зажженных свеч. «На благолепие, того, приятно и поглядеть!» — говорил он. Конечно, Власу доставляло удовольствие и почтение, с каким к нему относились члены причта и многие прихожане, но больше всего привлекало его в церковь именно ее пышное убранство. Влас уже несколько раз жертвовал, и сравнительно крупные суммы, на украшение храма, но собирался пожертвовать и

еще, «чтобы все, значит, как в самом первом соборе было: ризы, хоругви, паникадила и прочее, позолочено и блестело» Вот чтобы поторопить Власа с его пожертвованием, и говорили об том, чтобы избрать его церковным старостою.

Однако истинным развлечением Власа оставалась игра «в носки».. На столе докипает пузатый, ярко вычищенный самовар, горит свечка в оловянном подсвечнике; вся обстановка кругом — знакомая, привычная: диван и кресла «под красное дерево», купленные по случаю у знакомого старьевщика, круглый хромающий стол, этажерка с китайским болванчиком, доставшимся еще от отца, с праздничной посудой, хрустальной сахарницей, объемистыми чашками с разводами и надписями «для дорогого имянинника» или «выпей по другой», тут же и вся библиотека: старинное евангелие, которого никто не читает, листовки — жития святых, описание Макарьевской ярмарки, издание 1811 года. По крашеному полу проложены чистые половики. Пахнет лампадным маслом и воском, которым что-то чистят, немного камфорой и соленьями, стоявшими в соседней комнате (где спит Даша) В спальной, где громадная деревянная двухспальная постель хозяев, в углу,— знаменитый «сундук», предмет насмешек и зависти многих: Влас действительно не доверял банкам и хранил свои сбережения дома, в процентных бумагах, от которых отрезал купоны, заперев дверь комнаты на ключ и даже завесив ее одеялом. Весь этот уют, все это благополучие созданы им самим, Власом Терентьевичем Русаковым: еще отец его, покойный Терентий Кузьмич, довольствовался маленькой каморкой при лавке, где ютился с женой и детьми. А Влас подумывает об том, чтобы и домик, где он живет, купить в свою собственность: последний раз с владельцем в четырехстах разошлись. Разве же не наслаждение в такой обстановке, после трудового дня, длящегося с семи утра по семь вечера, играть «в носки» со своей «старухой», с которой в мире и правде живет Влас вот уже вторую четверть века, правда, не совсем без греха (немало поплакала Орина при одной молоденькой кухарке, которую Влас потом выдал замуж за сапожника), но соседям на загляденение.

Влас уже произнес свое обычное:

— Ну, того, пора и соснуть.

Аннушка стащила с хозяина тяжелые сапоги и подáла ему на ночь квасу; Орина Ниловна долго молилась перед божницей, усердно бормоча слова, которые считала за молитвы, но в которых не было никакого смысла, потом, видя, что сам уже спит, пошла «проведать Дашку» В проходной комнате было темно, но с улицы в незавешенное окно проникало достаточно света: постель Даши, устроенная на сдвинутых сундуках, была пуста. Орина Ниловна кинулась туда и сюда: Даши не было во всем доме. Подняли на ноги Аннушку: та тоже ничего не знала. Орина разбудила сына. Кузьма угрюмо выслушал сообщение матери и так же угрюмо заявил:

— Вы ее хотели выдать замуж насильно: вот она и ушла из дому.

— Сбежала? Дашка-то?— всплеснула руками Орина Ниловна.

— Ну, да, видно, сбежала.

Сначала Орина не находила слов, но потом запричитала:

— Господи! Господи! Стыд-то какой! Что ж теперича суседи скажут! Ночью девка из дома сбежала! Да сам-то, убьет он меня: дура, скажет, старая, не доглядела! Да мне бы сейчас сквозь землю провалиться.

— Поздно плакаться, маменька,— сказал Кузьма,— раньше бы смотрели. Неужто вам невдомек было, что ей что за старика идти, что в гроб лечь — одно. Сами до того ее довели: обрадовались, что больно она кротка, слово против вымолвить не смеет.

— Уж ты-то помолчал бы!— крикнула на сына Орина Ниловна.— Яйца курицу не учат. Как, оно, теперича с Власом Терентьичем быть?

После домашнего совета, участие в котором принимала и Анюшка (кстати сказать, поговаривали соседи, что и ее не обошел Влас своей благосклонностью), было решено до поры до времени ничего не говорить отцу о побеге Даши. Кузьма обещал с раннего утра отправиться на ее поиски. Анюшка поклялась богом истинным, что о случившемся в доме болтать не станет. Разошлись за полночь с видом таинственным, словно заговорщики.

X

Не было еще 7 часов утра, когда Кузьма звонил у подъезда того дома на Кисловке, где Аркадий Семенович Липецкий, он же Кургузый, снимал две «шикарных» комнаты у рижской немки Розы Карловны, которая хвалилась тем, что берет жильцов только «очень порядочных». Хозяйка отперла сама,— должно быть, прислуга была на рынке,— и, завидя Кузьму, хотела тотчас захлопнуть дверь снова, крикнув: «Нету дома!» Но Кузьма с силой рванул дверь и вошел-таки в прихожую.

Роза Карловна была женщина невысокая, жирная; пальцы ее всегда были унизаны перстнями с громадными каменьями. Про нее говорили, что раньше она промышляла делом более прибыльным, чем сдача комнат внаем: принимала у себя молодых, да и не молодых, людей, желающих познакомиться с «добрыми девочками». От этой профессии она сохранила привычку к действиям энергичным и решительным.

— Да когда же я вам говорю, что господина Липецкого нету дома!— почти что закричала она, стараясь вновь вытеснить за дверь Кузьму, которого хорошо знала как частого гостя Аркадия.

— Полноте, Роза Карловна!— гневно возразил Кузьма.— Как нету дома? Куда же ему было уйти такую рань?

— Ну, может быть, они дома, так спят и будить себя

не приказали. Я — женщина честная: если мне что-нибудь жилец приказал, я должна исполнить!

Кузьма провел бессонную ночь. Он решил во что бы то ни стало объясниться с Аркадием. Противодействие Розы его раздражало. Он, не слушая ее, пошел в приемную, снимая на ходу пальто.

— Мне надо видеть Аркадия Семеновича,— кратко бросил он.

— Да что же это такое?— кричала Роза, загораживая ему путь.— Да разве так порядочные люди делают? Господина Липецкого нельзя видеть.

Но Кузьма был уже в приемной, резким движением отстранив в дверях Розу. Вдруг он повернулся к ней и спросил прямо:

— К Аркадию вчера пришла барышня? Она еще здесь?

— Ничего такого я не знаю,— все кричала в ответ Роза, впрочем, не особенно повышая голос.— Это даже очень стыдно с вашей стороны такие вопросы задавать. Я дворника позову, если вы не уйдете.

Волна какой-то тупой ярости хлынула в душу Кузьмы; он сам не знал, что способен на такие порывы; опять шагнув к попятившейся перед ним Розе, он произнес раздельно:

— Пойдите сейчас разбудите Аркадия! Я все равно добром не уйду. Я у вас тут скандал подыму, все проснутся.

В это время из соседней комнаты послышался голос Аркадия:

— Это ты, Кузьма?

— Аркадий, мне необходимо с тобой переговорить.

— Хорошо, я сейчас выйду.

— Весьма неблагородно так поступать, и я этого от вас, Кузьма Власьич, никак не ожидала,— прошипела, уходя, Роза.

Кузьма остался один и стал шагать по маленькой комнате, именовавшейся приемной. Она была убрана с немецкой аккуратностью и с претензиями на роскошь. На столах, покрытых скатертями с прошивками, стояли в синих вазах букеты из сухой травы; под каждой вазой, так же как под графином, были постланы вязаные салфеточки; такие же салфеточки были приколоты к спинке дивана. На стенах висели дагерротипы, фотографии и дешевые литографии, изображающие виды Шварцвальда. На окнах с кисейными занавесками были расставлены горшки с лилиями. Вся эта аккуратность была совершенно иного рода, чем уют в доме Русаковых. В квартире этой немки, не брезговавшей «прибыльным ремеслом», чувствовалось какое-то смутное, преломленное сквозь тысячную призму, стремление к красоте, нечто вполне чуждое обстановке русского жилья, в котором искали прежде всего — тепла, потом — покойности, и лишь на третьем и не всегда — чистоты.

Мысли Кузьмы были спутаны. Он не сумел бы ответить самому себе, зачем он пришел к Аркадию. Конечно, он пошел искать Дашу, как и обещал матери, но с какой целью?

По дороге на Кисловку он несколько раз задавал себе вопрос, по какому праву он вмешивается в личное, интимное дело сестры. Ведь все эти рассуждения о правах отца, брата, мужа — старые предрассудки. Женщина должна быть свободна и свободно располагать своей судьбой. Даша захотела жить с Аркадием: с какой стати он, Кузьма, будет ей препятствовать? И что он возразит, если Аркадий, выйдя, скажет ему: «Мы тебя не звали, зачем же ты пришел?»

Раскрылась дверь, и Аркадий появился. Он был в домашней куртке с цветной тесьмой и кисточками на груди, не то — в архалуке, не то — в подобии гусарского мундира. Аркадий был небрит, лицо его казалось старообразнее, чем обыкновенно, и, что всего более изумило Кузьму, было на этом лице выражение беспокойства, смущения или досады. Очевидно было, что Аркадий расстроен, а может быть, и трусит.

— Здравствуй, брат!— обратился Аркадий к Кузьме и сделал шаг по направлению к нему.

Но совершенно инстинктивно, повинуясь внезапно возникшему чувству, Кузьма руки Аркадию не подал, круто повернул в сторону и сел в кресло. Минуту перед тем он не мог бы предвидеть, что так поступит. Но вдруг ему показалось нестерпимо — жать руку этого человека, и, не подымая на него глаз, он произнес отрывисто:

— Нам надо с тобой объясниться.

Аркадий остановился на полушаге, нервно, немного деланно сжал губы, но тоже сел,— поближе к двери, чтобы обеспечить себе отступление,— и сказал, стараясь быть развязным:

— Объясниться? Что ж, давай объясняться. Авось что-нибудь и выясним.

Аркадий действительно чувствовал себя неспокойным. Решительного поступка Даши он все же не ожидал и, правду говоря, думал теперь лишь об одном: как из этого «скверного приключения» выпутаться? Не без боязни посматривал Аркадий на крепкие кулаки Кузьмы и соображал: «Сегодня с ним шутки плохи. Дедовская кровь заиграла. В сущности ведь он — человек дикий. Без разговоров может по физиономии дать...»

Несколько мгновений длилось молчание; наконец, Кузьма, преодолев свое волнение, спросил глухо:

— Отвечай, Аркадий: Даша здесь?

Аркадий пожал плечами.

— Странно было бы скрывать. Где же ей быть еще?

— Так что же ты намерен делать далее?

Внешнее спокойствие Кузьмы ободрило Аркадия. Он заговорил чуть-чуть насмешливо:

— Так что, ты явился ко мне на правах оскорбленного брата, защищать честь сестры? Эх, брат! а где же все твои хорошие слова о том, что женщина — свободна, что в любви нет обязательств! Старая закваска сказалась: если ты — девушка, так изволь жить по нашему уму-разуму, а не по своему! Так?

Аркадий приводил те самые доводы, которые раньше приходили в голову и Кузьме. Но насмешливый тон Аркадия раздражал Кузьму. Ему казалось, что для шуток сейчас вовсе не время.

— Я только спрашиваю, Аркадий, что ты дальше намерен делать?

— То есть когда дальше?— переспросил Аркадий, выигрывая время, чтобы приготовить ответ.

— Ты действительно на ней жениться хочешь?

— Ах, вот что! Для тебя уже стало важно, обведут нас попы вокруг аналоя или не обведут!

Кузьма ударил кулаком по столу. Новый порыв гнева как-то всколыхнул его всего. Рассказывали, что его дед, Терентий Кузьмич, в таком припадке ярости схватил однажды двух дюжих мужиков за шиворот, потряс их, как котят, и вышвырнул из лавки. Такую же ярость внезапно ощутил в себе Кузьма: ему захотелось что-то «расшибить», «разнести», «сокрушить», как пьяному купцу в трактире.

— Аркадий! Я с тобой не спорить пришел! Мне Даша дорога! Любишь ты ее, или только так поиграть взял, да и бросить?

Аркадий опять «струхнул не на шутку» (как потом признавался себе) и поспешил Кузьму успокоить:

— Перестань шуметь, что ты! Как тебе не совестно говорить такие слова? За кого ты меня принимаешь? Я Дарью Ильиничну настолько уважаю, что никогда не позволю себе относиться к ней легкомысленно. Конечно, она, по девической своей экзальтированности, сделала из моих предложений такой вывод, которого в них не заключалось. Я, ввиду того, что ее насильственно принуждали вступить в брак, предлагал ей свою поддержку на новом поприще жизни. Она же, по-видимому, поняла это в том смысле, что я предлагаю ей разделить свою жизнь с ее. Конечно, я...

Кузьма не стал слушать дальше.

— Стало быть, ты жениться на ней не хочешь?

Он встал и, побледнев, подошел к Аркадию. У Кузьмы вовсе не было намерения ударить Аркадия или даже угрожать ему, но тот именно так истолковал это движение. Тоже вскочив с кресла, он заговорил быстро:

— Я этого вовсе не говорю... Дарья Ильинишна мне глубоко симпатична... Я нисколько не отказываюсь... Я только пытался установить принципиально...

«Разговорчивый» Аркадий вдруг утерял все свое красноречие. Такой явный испуг был во всем его облике, что Кузьма смотрел на него почти с изумлением. «Мокрая курица»,— сказал бы дяденька Пров Терентьевич об Аркадии в эту минуту. Сознавая свое превосходство над ним, Кузьма спросил с прежней твердостью:

— Женишься ты на ней или нет? По крайности, будешь с нею жить, как муж и жена, честно?

Аркадий залепетал:

— Милый Кузьма, я ни от чего не отказываюсь. Действительно, обстоятельства так сложились... Мне следовало вчера же убедить Дарью Ильинишну вернуться домой... Если я этого своевременно не сделал, тогда, разумеется... Но, видишь ли, Дарья Ильинишна привыкла к жизни с достатком. У меня же, как ты знаешь, ничего нет. Жалованье я получаю грошовое. Дарья Ильинишна мне говорила, что Влас Терентьевич дает за ней приданое небольшое... Как ты думаешь, можно мне на него рассчитывать?

Кузьма начал что-то понимать, и весь гнев сменился в его душе презрением. Отвратительным показался ему этот проповедник свободной и бескорыстной любви, заговоривший о приданом. Овладев собой, Кузьма опять сел; инстинктивно ему захотелось унизить того, перед кем он недавно преклонялся. Кузьма стал деловито расспрашивать Аркадия, на какую именно сумму он рассчитывает.

Аркадий сразу «воспрянул духом» и охотно начал объяснять. Даша говорила ему о 20 000 рублей. Это, конечно, очень немного. Состояние Власа Терентьевича считают до миллиона. Он мог бы дать тысяч 40. Тогда он, Аркадий, основал бы одно дело, о котором давно мечтает... О, высоко полезное дело, важное в общественном отношении. И Кузьме нашлось бы что там делать. Впрочем, в крайнем случае, можно удовольствоваться и 20 000. Необходимо только, чтобы эти деньги были выданы наличными и немедленно. У Власа Терентьевича есть купеческая привычка задерживать платежи... Что касается Дарьи Ильинишны, то она разумеется, будет полной хозяйкой и ни в чем не будет терпеть недостатка. Он, Аркадий, ручается в этом честным словом...

Говоря так, Аркадий верил, что нашел верный тон для объяснения с Кузьмой. «С купцом надо и говорить по-купечески»,— быстро сообразил он. Но Кузьма слушал откровенные заявления Аркадия с чувством настоящего омерзения. Кузьме казалось, что за те полчаса, что он пробыл в этой комнате, он сразу возмужал, из наивного мальчика превратился в зрелого человека, знающего жизнь. Словно какое-то откровение сошло на него. И вся школа плутней и обманов, которую с детства проходил он в лавке отца, не научила его тому презрению к людям, как этот торг Аркадия.

Вдруг опять встав, Кузьма объявил:

— Будь покоен, Аркадий! Тебе-то папенька копейки не даст. Коли ты на это рассчитывал, так распростись с радужными мечтами. Шиш тебе папенька покажет, вот что!

Кузьма нарочно говорил грубо и, пока Аркадий смотрел на него в полном недоумении, добавил:

— А теперь кликни Дашу. Мы сейчас домой уедем.

— Я тебя не понимаю, Кузьма,— возразил Аркадий.— Ты только что говорил другое. Притом я не могу позволить тебе увезти Дарью Ильинишну. Она отдалась под мое покровительство. Как же я позволю увезти ее туда, где ее может ждать...

— Что бы ее там ни ждало,— перебил Кузьма,— все ей лучше будет, нежели с таким...

Кузьма запнулся, но тотчас докончил:

— ...прохвостом, как ты!

Аркадий побледнел от оскорбления и невольно оглянулся кругом, словно желая убедиться, что в комнате более никого нет. Оправившись, он начал было с достоинством говорить о том, что неблагородно со стороны Кузьмы пользоваться выгодами своего положения, но тот опять перебил его:

— Кликни мне Дашу, а не то я сам пойду ее искать.

Аркадий поколебался минуту, но потом сказал себе:

«В конце концов, всего лучше со всем этим дурацким делом развязаться! Черт их всех побери! Пусть увозит! В сущности, какое мне дело, что будет дальше!»

Он повернулся было, чтобы идти за Дашей, но остановился, несколько приблизился к Кузьме и сказал, понизив голос:

— Между прочим, заверяю тебя, что между нами ничего такого не было. Parole d'honneur [1]. Я уступил Дарье Ильиниште свою спальню, а сам провел ночь на диване. Ты веришь?

Кузьма не удостоил его ответа, и Аркадий вышел.

Несколько минут Кузьма опять ходил взад и вперед по чистенькой приемной, убранной с немецкой аккуратностью, с лилиями на окошках за кисейными занавесками, с вышитыми подставочками под графином и синими вазами с сухой травой на столах. Наконец, вошла Даша, заплаканная, пряча лицо. Кузьма сказал ей коротко:

— Даша, едем домой.

Даша заплакала пуще, но не возражала. Она была уже в шубке. Кузьма быстро накинул свое пальто. С Аркадием он не простился. Они вышли, и Кузьма взял извозчика.

Даша спросила только:

— Дяденька знают?

— Нет, папенька ничего не знает,— ответил Кузьма,— а уж с маменькой толковать придется: держись!

Больше они не обменялись ни словом во всю дорогу.

XI

На другой день в лавке, в тот час, когда Влас Терентьевич по обыкновению «баловался чайком», Кузьма получил письмо. Его принес мальчишка из банка, получивший строгий наказ — отдать письмо только самому Кузьме, «в собственные руки». Писал Аркадий:

«Любезный Кузьма! Обдумав наш с тобой вчерашний разговор, я пришел к выводу, что мне следует высказаться решительно, дабы не подавать повода более ни к каким

[1] Честное слово (*фр.*).

недоразумениям. Я душевно уважаю Дарию Ильинишну, желаю ей всяческого благополучия и всегда готов содействовать ей, как в деле ее духовного развития, так и на всех поприщах жизни, на какие она пожелает вступить. Эту мою готовность я неоднократно и выражал в моих беседах с многоуважаемой Дарией Ильинишной, при наших с ней случайных встречах. Весьма сожалею, если некоторые мои выражения были истолкованы не в том смысле, какой я им придавал сам, и почитаю долгом честного человека заявить, что со своими услугами я отнюдь не намерен навязываться. Если мое содействие может быть полезно для многоуважаемой Дарии Ильинишны, она может располагать мною вполне по своему усмотрению. В противном случае я готов, дабы предотвратить всякую возможность дальнейших недоразумений, немедленно устраниться с дороги Дарии Ильинишны и даю свое честное слово, что ни в какой мере не явлюсь для нее помехой при браке, в который она намеревается вступить, как я о том известился. Ты достаточно знаешь, что на мое слово можно положиться твердо, а посему, любезный друг Кузьма, я рассчитываю, что ты поймешь всю чистоту намерений и оценишь всю прямоту моих слов, а засим остаюсь готовый к услугам — Аркадий Липецкий».

Прочтя это письмо, Кузьма не то подумал, не то процедил сквозь зубы:

— Ну нет, содействие твое, голубчик, ей полезно не будет!

Кузьма спрятал письмо в карман и в угрюмой задумчивости продолжал осматривать все, что его окружало.

Он был в лавке один. Отец — у Михалыча. Молодцы полдничали в полутемном проходе, ведшем из лавки в хозяйскую, присев на пустые ящики: пили чай или, быть мо́жет, тайком «сорокоушку». Кипы товара, как обычно, высились у задней стены, словно Кавказские горы. В окно был виден грязный двор и непомерно большая вывеска: «Водогрейня». Флор Никитыч опять стоял у противоположного окна и барабанил пальцами по стеклу. Ничего не переменилось кругом; мир, знакомый Кузьме с детства, продолжал свое медленное и тусклое существование. Лишь сам Кузьма сознавал себя иным, чем два дня назад.

О Аркадии Кузьме не хотелось и думать. Горечь разочарования в человеке, которым он так долго восхищался, мучила нестерпимо. «Себялюбец, пустослов, фразит, ловелас, трус»,— записал об нем Кузьма в своем «Журнале» и потом приписал еще: «и подлец!» Но тем более хотелось думать о Даше и о самом себе. При некоторых воспоминаниях Кузьма зажмуривал глаза, словно от телесной боли.

Орина Ниловна, несмотря на свои годы и постоянную приниженность, обошлась с Дашей, при ее водворении домой, сурово: она «отхлестала» Дашу по щекам. И Кузьма не вступился за сестру, стерпел: надо было удовлетворить маменьку, чтобы она осталась соучастницей заговора и ничего не рассказала отцу. Даша тоже стерпела побои и даже пла-

кала не больше обычного. Она вообще была как бы не совсем живой, обмершей. Что у нее произошло с Аркадием в ту ночь, она так и не рассказала брату. Когда он участливо начал расспрашивать, Даша ответила настойчиво: «Не поминай, братик, его: я об этом человеке больше ничего слышать не хочу!» Видно, вовремя пришел Кузьма за сестрой!

«Бедная ты! Глупая ты! — думал Кузьма,— развесила уши на россказни этого щеголя! Поверила, что и взаправду ты ему нужна! Никому мы не нужны, какое кому до нас дело! Пусть пропадаем, тонем, вязнем в нашем болоте: туда нам и дорога. А ежели якшаются с нами, то либо затем, чтоб взаймы попросить, либо потому, что лицом девушка приглянулась. Все у *них* то же, что и у нас: только у нас — начистоту, торгуются прямо за каждую полушку, а *те* видимость делают, слова разные говорят, о высоких материях рассуждают. Дурак я был, что в правду всего этого верил. Нет, Кузьма! Покорилась Дашка, покорись и ты! Тяни лямку, угодничай папеньке, обдувай покупателей, нет тебе никуда исходу. Жди, покуда сам хозяином станешь, да к той поре, пожалуй, и у самого за душой ничего, кроме алтына, не останется!»

Кузьме вспомнились его собственные сатирические стихи:

Мне бечевой лишь торговать
Да подводить в счетах итоги!

— На построение погорелого храма, во имя Илии пророка! — тоненьким голоском пропищала монашка, приоткрывая дверь.

— Бог подаст! — недовольно отозвался Кузьма, которого оторвали от его дум.

Но монашка уже втиснулась в лавку и обшаривала ее глазами, ища, чем бы поживиться.

— Нам вот бечевочку надобно б, не соблаговолите ли, благодетель, по усердию к делу божиему? — пищала монашка, быстро перебирая мотки бечевы, что лежали в картонах.

Неохотно Кузьма пошел отпускать бечеву: отказывать в таких просьбах было не принято. Едва захлопнул он дверь за монашкой, опять задребезжал самодельный колокольчик, и ввалился в лавку малый из соседней мелочной:

— Шесть вязки, да поскорее. Да только, чтобы не гнилой, как позапрошлый раз. Почтение Кузьме Власичу.

Кузьма кликнул молодца отпустить вязки. Но потом появился приказчик от Борзовых получить по счетику; потом — представитель торгового дома «Петров и сын», что в Рыбинске, узнать, отправлен ли заказанный товар; затем — еще кто-то. Завертелось колесо повседневной работы, при которой каждому посетителю лавки надо было угодить, с одним посмеяться, с другим поскорбеть о застое в делах, у третьего осведомиться, как поживает супруга. Влас Терентьевич наказывал строго, чтобы покупателей «обхаживали» и «ублажали»

«Не то дорого,— говорил он,— что ты мальцу, скажем, продашь на полтину, а то, что, ежели ты его улестишь, он, глядь-ан, и по втору завернет да на сотнягу прикажет». И Кузьма, по привычке, приобретенной сызмалолетства, «обхаживал» и «ублажал» приходивших, выхвалял товар и соболезновал жалобам на «плохие дела». «Тяни, Кузьма, лямку!» — повторял он себе.

Вскорости вернулся и отец, довольный какой-то удачей, расспросил об том, что без него было, заглянул в книги, похвалил сына:

— Валяй, Кузьма! Мы эту зиму, того, може, оборот-то тысяч на четыреста сделаем. Вот как! Пусть знают Русаковых! Помру я, будешь ты купец первейший в городе. Тебе, оно, будет почет ото всех, кланяться будут. «Кто идет?» — «Кузьма Власич Русаков.— «А»,— скажут. Токмо одно: баловства свои оставь, книжки там разные. Не к лицу это нам...

«Завел волынку»,— уныло подумал Кузьма, слушая наскучившие поучения. Но тут же мысленно сравнил отца с Аркадием и сказал себе: «А все ж папенька хоть и купец, хоть и учит меня обставлять покупателей, а куда благороднее этого крикуна. У папеньки цель — нажить, он этого и не скрывает. А тот тоже на Дашино приданое облизывался, а делал вид, что Прудона проповедует».

. . . .

А Даша в это время подрубляла полотенца, которые давали ей в приданое, и тоже тупо слушала проповедь, которую говорила ей сидевшая рядом Орина Ниловна. После побега Дашу держали как бы под домашним арестом, и тетенька не отпускала ее от себя ни на шаг. Усадив Дашу работать, она сама поместилась тут же со спицами, которыми вязала варежки, и монотонным голосом поучала племянницу:

— Ничего, девка, стерпится — слюбится. Мне тож не легко было за самого-от идти. Почитай, неделю ревмя ревела: знала, что крут. Да и в жисти мало я разве вынесла? Ох, девка, всего бывало! По молодости-то сам на баб падок был. Что я в те поры терпела, один господь ведает. Ну, и бивал тоже, случалось, как погорячее был. Сама знаешь, из бедных меня взял, противу отца, покойного Терентия Кузьмича, пошел (царство ему небесное), ну, и вымещал, значит, на мне, что не принесла ему ничего. А теперь, глянь-ка, душа в душу живем. Дом — полная чаша. Все у нас степенно. Сам-от не пьет, в церкву божию ходит, нам от других почет. Поживи, и тебе то ж будет. Оно, старенек Степан Флорыч-то, робята у него, да не тужи: брюзглый он, хлибкий — вдовой останешься, тут тебе вся твоя воля.

Доброжелательная воркотня лилась, как струйка воды из источника, ровно, безостановочно: Орина Ниловна говорила, не делая ударений на словах, словно бы все имели значение равное или были безразличны. Даша проворно двигала иголкой, наклонив заплаканное лицо к самому полотну. Пахло

лампадным маслом, воском, камфорой и соленьями. Мебель «под красное дерево», в стиле «Николая I», лоснилась. По крашеному полу были простелены чистые половики. Кругом был уют установившейся жизни, однообразной, тусклой, предопределяемой обычаями дедов,— жизни, выставляющей на вид всем огромные образницы, перед которыми денно и нощно теплятся неугасимые лампады, и кроющей в своих недрах, в задних комнатах, и привычный домашний разврат «самого со стряпухой», и столь же привычные сцены битья жены, и беспредельное одиночество женщин, для которых муж — только властный «хозяин», требующий, чтобы его «ублажали». И казалось, что прочно заложены устои этой жизни, что никакие внешние бури, никакие века не свалят их и не откроют внутрь доступа для свежего воздуха.

XII

В «Журнале» Кузьмы много дней последними строками оставалось его суждение о Аркадии и ничего не появлялось после красноречивого слова, выведенного французскими буквами: «i podletz!» Кузьма нарушил свое правило — писать в дневнике ежедневно, и долгое время не брался за него. Наконец, уже поздним ноябрем, в «Журнале» оказались записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадке. Кузьма так и озаглавил их «Epilog». Вот что стояло в этом «Эпилоге»:

«Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог, или заключение. А больше писать в этой тетради не буду, потому что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной.

Ложь и глупость все, что я здесь писал про Аркадия, и правда только последнее слово: подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал: перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался: ни к чему его принуждать мы не сбирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степаном Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был сговор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не двадцать тысяч, а тридцать, только чтобы они были положены на имя Даши, для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил, и Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам.

А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как это скоро все и обнаружилось. Я к ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что вот, дескать, надо, чтоб я в ихнее об-

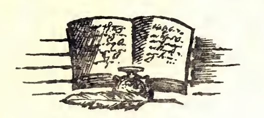
щество вошел и взял пай в пятьсот рублей или два пая в одну тысячу рублей. Когда же я Фанне сказал, что эдаких денег у меня не бывает, и весьма сериозно это ей подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей, де, нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведался. Дверь отпирала Елена Демидовна, на меня эдак косо посмотрела, буркнула: «Фанны дома нету»,— и опять дверь захлопнула, прямо под иосом. Я побрел, несолоно хлебавши, восвояси, три дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалилась поведением, и что у нас, в Москве, она уже завела себе одного, именно офицера,— и все это Лаврентий выведал верно и мне все имена назвал.

А я себе зарок дал: в чужое общество не ходить; сижу, как сыч, один и буду сидеть. Прав был папенька, говоря: «Не к лицу нам это». Выскакиваем мы, думаем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть и, по необтесанности своей, все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова — так, мякина одна, а мы, пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я и напоролся; и Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться: тут, по крайности, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче.

А все ж таки (и это будет мое последнее слово в сем «Журнале») не должно отчаиваться, ежели один оказался — подлец, другая — потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе-злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же и эти ее пробудители, поборники добра и правды. Где вы, работники нивы народной, сеятели знания и культуры, я не знаю! Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины, но я верю, что вы где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по протоpенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей и буду этой верой крепиться в том аде кромешном, в котором сам обречен погибать!»

Кузьме очень хотелось закончить свои патетические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть — не мое дело!— сказал он себе, но сейчас же добавил:— Вот другое дело дети Дашины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них — такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только,

что фамилия у него будет такая неподходящая: Гужский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например: Игорь, Валентин или Валерий!»





РЕЯ СИЛЬВИЯ

ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ VI ВЕКА

I

Мария была дочерью Руфия, каллиграфа. Ей не было еще десяти лет, когда 17 декабря 546 года Рим был взят королем готов Тотилою. Великодушный победитель приказал всю ночь трубить в букцины, чтобы римляне, узнав об опасности, могли бежать из родного города. Тотила знал ярость своих воинов и не хотел, чтобы все население древней столицы мира погибло под мечами готов. Бежал и Руфий со своей женой Флоренцией и маленькой дочкой Марией. Беглецы из Рима громадной толпой целую ночь шли по Аппиевой дороге; сотни людей в изнеможении падали на пути. Все же большинству в том числе и Руфию с семьей, удалось добраться до Бовилл, где, однако, для очень многих не нашлось приюта. Пришлось римлянам расположиться станом в поле. Позднее все разбрелись в разные стороны, ища какого-нибудь пристанища. Некоторые пошли в Кампанию, где их захватывали в плен господствовавшие там готы; другие добрались до моря и даже получили возможность уехать в Сицилию; третьи остались нищенствовать в окрестностях Бовилл или перебрались в Самний.

У Руфия был друг, живший около Корбия. К этому бедному человеку по имени Анфимий, промышлявшему на маленьком клочке земли разведением свиней, и повел свою семью Руфий. Анфимий принял беглецов и делил с ними свои скудные запасы. Живя в жалкой хижине свинопаса, Руфий узнал о всех бедствиях, постигших Рим Тотила одно время грозил срыть Вечный Город до основания и обратить его в пастбище. Потом готский король смилостивился, удовольствовался тем, что было сожжено несколько участков города и разграблено все, что еще уцелело от алчности и ярости Алариха, Генсериха и Рицимера. Весной 547 года Тотила поки-

нул Рим, но увел с собою всех еще оставшихся в нем жителей. В течение 40 дней столица мира стояла пустой: в ней не было ни одного человека, и по улицам бродили только одичавшие животные и дикие звери. Потом, несмело и понемногу, римляне стали возвращаться в свой город. А несколько дней спустя Рим был занят Велисарием и опять присоединен к владениям Восточной империи.

Тогда вернулся в Рим и Руфий с семьей. Они разыскали на Ремурии свой маленький дом, по незначительности его пощаженный грабителями. Почти все скудное имущество Руфиев оказалось цело, в том числе и библиотека с драгоценными для каллиграфа свитками. Казалось, что можно было позабыть пережитые бедствия, как тягостный сон, и продолжать прежнюю жизнь. Но очень скоро выяснилось, что такие надежды обманчивы. Война далеко не кончилась. Пришлось пережить новую осаду Рима Тотилою, когда опять жители сотнями умирали от голода и от недостатка воды. После того, как готы сняли, наконец, безуспешную осаду, Велисарий также покинул Рим, и город оказался под властью алчного византийца Конона, от которого римляне так же убегали, как от врага. Еще после готы вторично заняли Рим, воспользовавшись изменою стражи. Впрочем, на этот раз Тотила не только не грабил города, но даже пытался ввести в нем некоторый порядок и хотел восстановить разрушенные здания. Наконец, после смерти Тотилы, Рим был взят Нарсесом. Это было в 552 году.

Как пережили Руфии эти бедственные шесть лет, трудно даже выяснить. В годы войны и осад никому не было надобности в искусстве каллиграфа. Никто более не заказывал Руфию списков с творений древних поэтов или отцов церкви. Не было в городе таких властей, к которым нужно было бы писать каллиграфически разного рода прошения. Жителей в городе было мало, денег еще меньше, а всего меньше съестных припасов. Приходилось добывать себе пропитание всякой случайной работой, служа и готам, и византийцам, не брезгуя порой и ремеслом каменщика при починке городских стен или носильщика вьюков для войска. При всем том бывали не только дни, но целые недели, когда всей семье случалось голодать. О вине нечего было и думать, и пить надо было скверную воду из цистерн и из Тибра, так как водопроводы были разрушены готами. Только потому и можно было сносить такие лишения, что им подвергались все, без исключения. Потомки сенаторов и патрициев, дети богатейших и знатнейших родов вымаливали на улицах кусок хлеба, как нищие. Рустициана, дочь Симмаха и вдова Боэция, протягивала руку за подаянием.

Не удивительно, что в эти годы маленькая Мария была предоставлена себе самой. В раннем детстве отец выучил ее читать по-гречески и по-латыни. Но после возвращения в город ему некогда было заниматься дальше ее образованием. Целыми днями она делала, что ей вздумается. Мать не при-

нуждала девочку помогать по хозяйству, так как и хозяйства почти никакого не было. Чтобы скоротать время, Мария читала книги, сохранявшиеся в доме потому, что их некому было продать. Но чаще уходила из дому и, как дикий зверок, бродила по пустынным улицам, форумам и площадям, слишком обширным для ничтожного теперь населения. Редкие прохожие скоро привыкли к худенькой черноглазой девочке в оборванном платье, шмыгавшей везде, как мышь, и не обращали на нее внимания. Рим сделался как бы громадным домом для Марии. Она узнала его лучше, чем любой составитель описания его достопримечательностей прежнего времени. День за днем Мария исходила все необъятное пространство города, вмещавшее когда-то свыше миллиона жителей, научилась любить одни его уголки, стала ненавидеть другие. И часто только поздно вечером она возвращалась домой, под невеселый отчий кров, где не раз случалось ей ложиться спать без ужина, после целого дня, проведенного на ногах.

Мария в своих блужданиях по городу забиралась в самые отдаленные части города, по сю и по ту сторону Тибра, где стояли пустые, частью сгоревшие дома, и там мечтала о прошлом величии Рима. Она разглядывала на площадях немногие уцелевшие статуи — огромного быка на Бычьем форуме, бронзовых гигантов-слонов на Священной улице, изображения Домициана, Марка Аврелия и других славных мужей древности, колонны, обелиски, барельефы, стараясь вспомнить, что́ она обо всем этом читала, и, если недоставало знаний, дополняя прочитанное фантазией. Она проникала в покинутые дворцы бывших богачей, любовалась на жалкие остатки прежней роскоши в убранстве покоев, на мозаику полов, на разноцветные мраморы стен, на стоявшие кое-где пышные столы, кресла, светильники. Точно так же посещала Мария и громады терм, казавшиеся отдельными городами в городе, безлюдные во всякое время, так как не было воды, чтобы питать их ненасытные трубы; в некоторых термах еще можно было видеть великолепные мраморные водоемы, мозаичные полы, купальные кресла и ванны из драгоценного алебастра или порфира, а местами и полуразбитые статуи, которыми не воспользовались войска ни готов, ни византийцев, как ядрами для своих баллист. В тишине огромных покоев Марии слышались отголоски беспечной и богатой жизни, собиравшей сюда ежедневно тысячи и тысячи посетителей, приходивших встретить друзей, поспорить о литературе или философии, умастить изнеженное тело перед праздничным пиром. В Большом цирке, представлявшемся диким оврагом, так как он весь зарос травой и бурьяном, Мария думала о торжественных состязаниях ристателей, на которых смотрели десятки тысяч зрителей, оглушая счастливых победителей бурей рукоплесканий: Мария не могла не знать об этих празднествах, так как последнее из них (о! горестная тень давнего великолепия!) было устроено еще при ней Тотилою при его втором владычестве в Риме. Иногда же Мария просто

уходила на берег Тибра, садилась там в укромном месте, под какой-нибудь полуразрушенной стеной, смотрела на желтые воды прославленной поэтами и ваятелями реки и опять, в тишине безлюдия, думала и мечтала, и еще мечтала и думала.

Мария привыкла жить своими мечтами. Полуразрушенный, полупокинутый город давал щедрую пищу ее воображению. Все, что Мария слышала от старших, все, что она без порядка прочла в книгах отца, смешалось в ее голове в странное, хаотическое, но бесконечно пленительное представление о великом, древнем городе. Она была уверена, что прежний Рим был поистине, как это говорили поэты, средоточием всей красоты, городом-чудом, где все было очарованием, где вся жизнь была один сплошной праздник. Века и эпохи путались в бедной головке девочки, времена Ореста казались ей столь же отдаленными, как правление Траяна, а царствование мудрого Нумы Помпилия столь же близким, как и Одоакра. Древность была для нее все, что предшествовало готам; далекой, и еще счастливой, стариной — правление Великого Теодориха; новое время начиналось для Марии только со дня ее рождения, с первой осады Рима при Велисарии. В древности все казалось Марии дивно, прекрасно, изумительно, в старине — все привлекательно и благополучно, в новом времени — все бедственно и ужасно. И Мария старалась не замечать жестокой современности, мечтами живя в милой ей древности, среди любимых героев, которыми были и бог Вакх, и второй основатель города Камилл, и Цезарь, вознесшийся звездой на небо, и мудрейший из людей Диоклециан, и несчастнейший из великих Ромул Августул. Все они и многие другие, чьи только имена случалось слышать Марии, были любимцами ее грез и обычными видениями ее полудетских снов.

Мало-помалу Мария в мечтах создала свою историю Рима, ничем не похожую на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты. Любуясь уцелевшими статуями, читая полустертые надписи, Мария все толковала по-своему, везде находила подтверждения своим безудержным вымыслам. Она говорила себе, что такая-то статуя изображает юношу Августа, и уже никто не мог бы уверить девочку, что это — плохой портрет какого-то полуварвара, жившего всего лет пятьдесят назад и заставившего неумелого делателя гробниц обессмертить свои черты из куска дешевого мрамора. Или, видя барельеф, изображающий сцену из «Одиссеи», Мария создавала из него длинный рассказ, в котором опять появлялись ее любимые герои — Марс, Брут или император Гонорий, и потом уже была убеждена, что эту историю вычитала в одной из отцовских книг. Она создавала легенду за легендой, миф за мифом и жила в их мире, как в более подлинном, чем мир, описаный в книгах, а тем более чем тот жалкий мир, который окружал ее.

Намечтавшись вдоволь, утомленная ходьбой и измучен-

ная голодом, Мария возвращалась в свой родной дом. Там ее угрюмо встречала мать, озлобившаяся от всех пережитых несчастий, сурово совала ей кусок хлеба с сыром или луковицу чесноку, если это находилось в кухне, да присоединяла иногда к скудному ужину несколько бранных слов. Мария, дичась, как пойманная птица, наскоро съедала поданное и спешила в свою каморку, на жесткую постель, чтобы опять мечтать, в минуты перед сном и в самом сне, о блаженных, ослепительных временах древности. В исключительно счастливые дни, когда отец бывал дома и в духе, он иногда заговаривал с Марией. Но и тогда быстро их разговор переходил на ту же, милую обоим древность. Мария расспрашивала отца о прошлом Рима и, затаив дыхание, слушала, как старый каллиграф, увлекаясь, начинал говорить о величии империи при Феодосии или декламировал стихи древних поэтов — Вергилия, Авсония и Клавдиана. И еще более помрачался хаос в бедной головке девочки, и порой ей начинало казаться, что действительная жизнь только снится ей, а что в самом деле она живет в блаженные годы Энея, Августа или Грациана.

II

После занятия Рима Нарсесом жизнь в городе стала принимать более или менее обычный ход. Правитель поселился на Палатине, часть разоренных комнат императорского дворца была для него расчищена, и по вечерам они светились огнями. Византийцы привезли с собой деньги, в Риме возобновилась торговля. Большие дороги стали сравнительно безопасны, и обнищавшие жители Кампании повезли в Рим на продажу припасы. Там и сям вновь открылись винные таберны. Появился спрос даже на предметы роскоши, покупавшиеся главным образом женщинами легкого поведения, которые вороньей стаей следовали за разноплеменным войском великого евнуха. Зашмыгали по всем улицам монахи от которых тоже было можно кое-чем поживиться. Тридцать или сорок тысяч жителей, скопившихся теперь в Риме, считая с войском, придавали городу, особенно в его средней части, вид населенного и даже оживленного места.

Нашлась, наконец, настоящая работа и для Руфия. Нарсес, а потом его преемник, византийский дукс, принимали разные жалобы и прошения, для переписки которых требовался искусный каллиграф. Эдикты Юстиниана, признавшего одни из актов готских королей и отвергшего другие, подавали повод к бесконечным кляузам и судебным процессам. Приходилось переписывать и бумаги, направляемые прямо его святости, императору, в Византию, за что платили сравнительно хорошо. Выпадали и более важные заказы. Один новый монастырь пожелал иметь каллиграфический список богослужебных книг. Какой-то чудак заказал список поэм славного Ру-

тилия. В доме Руфиев опять появилось некоторое довольство. Семья каждый день могла обедать и уже не дрожала за судьбу следующего дня.

Все могло бы пойти хорошо в доме Руфиев, если бы каллиграф, сильно постаревший за годы лишений, не начал пить. Нередко весь заработок он оставлял в какой-нибудь таберне или копоне. Для Флоренции это было жестоким ударом. Она всячески боролась с несчастной страстью мужа, отбирала у него заработанные деньги, но Руфий пускался на всякие хитрости и все находил способы напиться. Мария, напротив, любила дни, когда отец бывал пьян. Тогда он возвращался домой веселым, не обращал внимания на плач и укоры Флоренции, но охотно звал к себе Марию, если та была дома, и опять говорил ей без конца о прошлом величии Вечного Города и читал ей стихи старых поэтов и своего собственного сочинения. Полубезумная девочка и пьяный отец как-то понимали друг друга и часто до поздней ночи просиживали вдвоем, когда разгневанная Флоренция, бросив их, уходила спать одна.

Сама Мария не изменила своей жизни. Напрасно отец, когда бывал трезв, заставлял ее помогать ему в работе. Напрасно мать гневалась на то, что дочь не разделяет с ней трудов по хозяйству. Когда Марию принуждали, она нехотя, угрюмо переписывала несколько строк или очищала несколько луковиц, но при первой возможности убегала из дому, чтобы опять целый день бродить по своим любимым уголкам города. Ее бранили, когда она возвращалась, но Мария выслушивала все упреки молча, не возражая ни слова. Что было ей до брани, когда в ее мечтах еще блистали все роскошные картины, которыми она тешила свое воображение, притаившись около порфирной ванны в термах Каракаллы или запрятавшись в густой траве на берегу старого Тибра. Ради того, чтобы у нее не отнимали ее видений, она охотно снесла бы и побои, и всякие мучения. В этих видениях была вся жизнь Марии.

Осенью 554 года Мария видела на улицах Рима триумфальное шествие Нарсеса — последний триумф, отпразднованный в Вечном Городе. Разноплеменное войско евнуха, в которое входили греки, гунны, герулы, гепиды, персы, нестройной толпой шло по Священной улице, неся богатую добычу, отнятую у готов. Воины пели веселые песни на самых разнообразных языках, и их голоса сливались в дикий, оглушающий вой. Полководец, увенчанный лаврами, ехал на колеснице, запряженной белыми конями. У ворот Рима его встретило несколько человек, одетых в белые тоги, выдававших себя за сенаторов. Нарсес через полуразрушенный Рим, по улицам, на которых между мощными плитами камней прорастала трава, направился к Капитолию. Там Нарсес сложил свой венок перед статуей Юстиниана, откуда-то добытой для этого случая. Потом, уже пешком, опять через весь Рим, проследовал к базилике св. Петра, где был встречен папою и ду-

ховенством в торжественных облачениях. Толпившиеся на улицах римляне без особого восторга смотрели на это зрелище, которому действующие лица стремились придать пышность. Торжество византийцев было для римлян делом чужим, почти что торжеством врагов родины.

И на Марию триумф не произвел никакого впечатления. Равнодушными глазами смотрела она на пестрые одежды воинов, на триумфальную тогу евнуха, маленького безбородого старичка с бегающими глазами, на торжественные ризы духовенства. Песни и воинственные крики войска только наводили ужас на Марию. Так непохожим казалось ей все это на те триумфы, которые она так часто воображала в своих одиноких мечтах,— на триумфы Августа, Веспасиана, Валентиниана! Здесь все ей представлялось страшным и безобразным; там все было великолепие и красота! И, не дождавшись конца триумфа, Мария убежала от базилики св. Петра на Аппиеву дорогу, к своим любимым развалинам терм Каракаллы, чтобы в тиши мраморных зал свободно плакать о невозвратном прошлом и видеть его в грезах вновь живым и прекрасным, каким оно только и может быть. В этот день Мария вернулась домой поздно и не хотела отвечать на расспросы, видела ли она триумф.

Марии в это время было уже почти восемнадцать лет. Она не была красива. Худая, с неразвитой грудью, с болезненным румянцем, с дикими, черными глазами, она скорее пугала, чем привлекала внимание. У нее не было подруг. Когда соседские девушки заговаривали с ней, она им отвечала односложно, отрывисто, спешила прервать всякий разговор. Что они, эти другие девушки, понимали в ее тайных мечтах, в ее заветных видениях! О чем было Марии говорить с ними! Ее считали не то дурочкой, не то помешанной. К тому же она никогда не ходила в церковь. Иногда на пустынной улице пьяный прохожий приставал к Марии, пытался ущипнуть ее за локоть или обнять. Тогда Мария оборонялась, как дикая кошка, царапалась, кусалась, пускала в ход кулаки, и ее оставляли в покое. Нашелся все-таки один юноша-сосед, сын медника, посватавшийся к Марии. Когда мать сказала ей об этом, Мария встретила известие с истинным ужасом. Когда же мать стала настаивать, говоря, что лучшего мужа теперь искать негде, Мария начала рыдать с таким отчаянием, что Флоренция отступилась от нее, порешив, что дочь или еще слишком молода для замужества, или и в самом деле не совсем в своем уме. Так Марию и оставили жить на свободе и наполнять свой бесконечный досуг всем, чем ей угодно.

Проходили дни, недели и месяцы. Руфий работал и пил. Флоренция хлопотала по хозяйству и бранилась. Оба считали себя несчастными и проклинали свою горестную судьбу. Одна Мария была счастлива в мире своих грез. Все меньше и меньше замечала она ненавистную действительность, окружавшую ее. Все глубже и глубже уходила она в царство своих

видений. Уже она разговаривала с образами, созданиыми ее воображением, как с живыми людьми. Домой оиа возвращалась в увереиности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня — с диктатором Суллою. Она вспомииала то, что пережила в мечтах, как бывшее на самом деле. В часы ночных бесед с пьяным отцом она пересказывала ему эти свои воспоминаиия, и старый Руфий ие удивлялся им: по поводу каждого рассказа у него были наготове какие-нибудь стихи, ои дополнял и развивал безумные грезы дочери, и, слушая сквозь сои их страиные беседы, Флоренция то плевала и произносила проклятия, то крестилась и шептала молитву Пресвятой Деве

III

Весной следующего за триумфом года Мария, блуждая вокруг разрушающихся стен терм Траяна, заметила, что в одном месте, где, по-видимому, уже начинался Эсквилинский холм, есть в земле странное отверстие, словно вход куда-то. Местность была пустынная; кругом стояли только необитаемые, покинутые дома; мостовые были испорчены, и обрывистый склон холма зарос бурьяном. После некоторых стараний Марии удалось добраться до раскрытой трещины. За ней был темный и узкий проход. Мария без колебания поползла по иему. Ползти пришлось долго в совершенной темноте и в спертом воздухе. Внезапио проход коичился обрывом. Когда глаза Марии привыкли к сумраку, она при слабом свете, доходившем из отверстия, различила, что перед ней обширный зал какого-то иеведомого дворца. Подумав немиого, девушка сообразила, что ей не удастся осмотреть его без освещения. Оиа осторожно выбралась назад и весь тот деиь пробродила в раздумье. Рим казался ей ее достоянием, и она не могла снести мысли, что было в городе что-то, ей неизвестиое.

На другой день Мария, запасшись самодельным факелом, вернулась иа прежиее место. Не без опасности для себя она спустилась в открытый ею зал и там зажгла факел. Величественный покой предстал ее взорам. Стены до половины были мрамориые, а выше расписаиы дивиой живописью. В иишах стояли бронзовые статуи работы изумительной, казавшиеся живыми людьми. Можно было различить, что пол, засыпанный мусором и землей, был мозаичный. Налюбовавшись новым зрелищем, Мария смело пошла вперед. Через огромиую дверь она проникла в целый лабиринт ходов и переходов, приведших ее в иовый зал, еще более великолепный, чем первый. Дальше следовала целая анфилада покоев, убранных мрамором и золотом, стенной живописью и статуями; во многих местах еще стояла драгоценная мебель и разная домашияя утварь тонкой работы. Кругом бегали ящерицы, пауки и мокрицы, шныряли летучие мыши, но Мария не замечала иичего, упоенная едииственным зрелищем Перед ией была

жизнь древнего Рима, живая, во всей своей полноте, наконец-то обретенная Марией!

Долго ли Мария наслаждалась в тот день своим открытием, она сама не знала. От сильного волнения или от спертого воздуха ей сделалось дурно. Когда она очнулась на каменном, сыром полу — оказалось, что ее факел погас, догорев. В совершенной тьме Мария ощупью начала искать дорогу к выходу. Она блуждала долго, много часов, но только путалась в бессчетных переходах и покоях. В затуманенном сознании девушки уже мелькала мысль, что ей суждено умереть в этом неведомом, погребенном под землей дворце. Такая мысль не пугала Марию: напротив, ей представлялось прекрасным и желанным кончить жизнь среди пышной обстановки древней жизни, в мраморном зале, где-нибудь у подножия прекрасной статуи. Мария жалела лишь об одном: что кругом было темно и что ей не суждено будет видеть ту красоту, среди которой будет умирать... Неожиданно впереди блеснул луч света. Собрав силы, Мария пошла к нему. То был лунный свет, проникавший через трещину, похожую на вход, которым Мария проникла во дворец. Но эта трещина была в совершенно другом зале. С большими усилиями, карабкаясь по выступу стен, Мария добралась до этого отверстия и выбралась на волю, в час, когда весь город уже спал и луна полновластно царила над грудами полуразрушенных зданий. Пробираясь вдоль стен, чтобы ее не заметили, Мария вернулась домой, изнеможенная, чуть живая. Отца не было дома — он пропал на всю ночь, а мать ограничилась несколькими грубыми окриками.

После того Мария начала ежедневно посещать открытый ею подземный дворец. Понемногу она изучила все его переходы и залы, так что могла бродить по ним в полной темноте, без опасения опять потерять дорогу. Впрочем, она всегда приносила с собой маленькую лампу или смоляной факел, чтобы вдоволь любоваться на роскошное убранство покоев. Мария изучила их все. Она знала комнаты, сплошь расписанные и убранные красным, другие, где преобладал желтый цвет, третьи, напоминавшие своей зеленой росписью свежие луга или сад, четвертые — все белые, с украшениями из черного эбенового дерева; она знала все стенные картины, изображающие то сцены из жизни богов и героев, то знаменитые битвы древности, то облики великих мужей, то смешные приключения фавнов и амуров; она знала и все сохранившиеся во дворце статуи, бронзовые и мраморные, и маленькие бюсты в нишах, и торжественные изваяния во весь рост, и необъятную громаду, представляющую трех человек, мужчину и двух юношей, сплетенных кольцами гигантских змей и тщетно пытающихся освободиться из гибельных объятий.

Среди всех украшений подземного дворца Марии особенно полюбился один барельеф. Он изображал девушку, худую и стройную, покоящуюся в глубоком сне в какой-то пещере;

около девушки в военных доспехах стоял юноша с благородным лицом, дивной красоты; над ними, как бы в облаках, была изображена плетеная корзина с двумя младенцами, плывущая по реке. Марии казалось, что черты изображенной девушки похожи на нее, на Марию. Она узнавала самое себя в этой тоненькой спящей царевне и не уставала целыми часами любоваться на нее, воображая себя на ее месте. Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ее портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий. Смысл других фигур на барельефе долгое время оставался для Марии темным.

Но однажды вечером Марии случилось опять разговориться с отцом, вернувшимся домой веселым и пьяным. Они были одни, так как Флоренция, по обыкновению, оставила их болтать свои глупости и ушла к себе спать. Мария рассказала отцу о найденном ею подземном дворце и его сокровищах. Старый Руфий отнесся к этому рассказу так же, как ко всем другим бредням дочери. Когда она ему говорила, что встретила сегодня на улице Великого Константина и тот милостиво с ней беседовал, Руфий не удивлялся, но начинал говорить о Константине. Теперь, когда Мария рассказала о сокровищах неведомого дворца, старый каллиграф тотчас заговорил об этом дворце.

— Да, да, дочка! — сказал он.— Между Палатином и Эсквилином, это действительно там. Это — Золотой дом императора Нерона, самый прекрасный из дворцов, когда-либо воздвигавшихся в Риме! Нерону для него не хватало места, и он сжег Рим. Рим горел, а император декламировал стихи о пожаре Трои. Потом же на расчищенном месте воздвиг свой Золотой дом. Да, да, между Палатином и Эсквилином, ты права. Прекраснее в городе не было ничего. Но после смерти Нерона другие императоры из зависти этот дворец разрушили и засыпали землей: его нет более. Построили на его месте дома и термы. Но это был самый прекрасный из дворцов!

Тогда, осмелившись, Мария рассказала и о полюбившемся ей барельефе. И опять не удивился старый каллиграф. Он тотчас объяснил дочери, что хотел изобразить художник:

— Это, дочка моя,— Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А юноша — это бог Марс, полюбивший девушку и отыскавший ее в священной пещере. У них родились близнецы, Ромул и Рем. Рею Сильвию утопили в Тибре, а младенцев вскормила волчица, и они стали основателями Города. Да, все это так было, дочка.

Руфий подробно рассказал Марии трогательную сказку о провинившейся весталке Илии, или Рее Сильвии, и сейчас же начал декламировать стихи из «Метаморфоз» древнего Насона:

Proximus Ausonias iniusti miles Amuli
Rexit opes...[1]

Но Мария уже не слушала отца; она тихо повторяла про себя:

— Это — Рея Снльвня! Рея Сильвия!

IV

С того дня еще больше временн стала проводить Мария перед чудесным барельефом. Она приноснла с собой, вместе с факелом, скудный завтрак,— чтобы больше часов оставаться в подземном дворце, который считала более своим домом, чем дом отца. Марня ложилась на холодный и скользкий пол перед изображением дочери Нумнтора и при слабом свете смоляного факела долгими часами всматривалась в черты лица тоненькой девушки, спящей в священной пещере. С каждым днем все более казалось Марии, что она странно похожа на эту древнюю весталку, и мало-помалу, в мечтах, уже ие умела различить, где бедная Мария, дочь Руфия, каллиграфа, и где несчастная Илня, дочь царя Альбы Лонги. Себя самое Мария уже не называла иначе как Рея Сильвия. Лежа перед барельефом, она мечтала, что и к ней, в этой новой священной пещере, явится бог Марс, что и у нее родятся от божественных объятнй блнзнецы, Ромул и Рем, которые станут основателями Вечного Города. Правда, за это надо было заплатить смертью, погнбнуть в мутных водах Тнбра,— но разве страшила Марию смерть? Часто Мария засыпала с такими грезами перед барельефом, и во сие ей снился тот же бог Марс, с благородным лицом дивной красоты, и его божественные, обжигающие объятия. И, просиувшись, Мария не знала, было ли то во сне или наяву.

Стоял уже палящий июль, когда улицы Рима в полдень пустелн, словно после грозного приказа короля Тотилы. Но в подземном дворце было прохладно и влажно, и Мария попрежнему каждый день прнходнла сюда, чтобы дремать в привычных сладких грезах перед изображением Илии, мечтая о своем суженом — боге. И когда одиажды, в легкой дремоте, она вновь предавалась обжигающим ласкам Марса, внезапно какой-то шум заставил ее проснуться. Мария открыла глаза, еще ничего не понимая, и огляделась кругом. При свете маленького факела, вставлеиного в расщелину между камнями, она увидела перед собой юношу. Он был не в военном доспехе, но в той одежде, какую тогда обычно носили небогатые римляне, однако лицо юноши было нсполнено благородства и Марии показалось сияющнм дивной красотой. Не-

[1] Воин Амулий потом авзоннйскою правил страною,
Прав не имея на то...

(Пер. с лат. С. В. Шервинского.)

сколько мгновений смотрела Мария изумленно на неожиданное явление, на человека, проникшего в этот заколдованный дворец, который она считала известным лишь себе одной. Потом, присев на полу, девушка спросила просто:

— Ты пришел ко мне?

Юноша улыбнулся улыбкой тихой и пленительной и отвечал также вопросом:

— А кто ты, девушка? Не гений ли этого места?

Мария сказала:

— Я — Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А ты не бог ли Марс, ищущий меня?

На это юноша возразил:

— Нет, я — не бог, я — смертный человек, меня зовут Агапит, и я не искал тебя здесь. Но все равно, я рад найти тебя. Здравствуй, Рея Сильвия, дочь царя Нумитора!

Мария позвала юношу сесть с ней рядом, что он тотчас и исполнил. Так они сидели вдвоем, девушка и юноша, на сыром полу, в пышном зале засыпанного землей Золотого дома Нерона, смотрели друг другу в глаза и сначала не знали, о чем говорить. Потом Мария, показав юноше на барельеф, стала пересказывать легенду о несчастной весталке Но юноша прервал рассказ.

— Я это знаю, Рея,— сказал он,— но как странно: лицо девушки на барельефе действительно похоже на твое.

— Это — я,— возразила Мария.

Столько уверенности было в ее словах, что юноша смутился и не знал, что думать. А Мария нежно положила руки ему на плечи и стала говорить вкрадчиво и почти робко:

— Не отказывайся: ты — бог Марс, принявший смертный облик. Но я тебя узнала. Я давно тебя ждала. Я знала, что ты придешь. И я не боюсь смерти. Пусть меня утопят в Тибре.

Долго слушал юноша бессвязные речи Марии. Все было странно кругом. И этот подземный, никому неведомый дворец, с его великолепными покоями, где жили только ящерицы да летучие мыши. И эта полутьма огромного зала, чуть освещаемая слабым светом двух факелов. И эта безвестная девушка, похожая на Рею Сильвию древнего барельефа, с ее непонятными речами, чудесным образом попавшая в погребенный Золотой дом Нерона. Юноша чувствовал, что та грубая действительность, которой он только что жил, перед тем как проникнуть в подземное жилище, исчезала, развеивалась, как утром сон. Еще минута, и юноша сам поверил бы в то, что он — бог Марс и что он встретил здесь любимую им дочь Нумитора, весталку Илию. Сделав над собой последнее усилие, юноша прервал Марию.

— Милая девушка,— сказал он,— выслушай меня. Ты во мне ошибаешься. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я открою тебе всю правду. Агапит — не мое настоящее имя. Я — гот, и меня зовут на самом деле Теодат. Но я должен скрывать свое происхождение, потому что меня убьют, если

об нем узнают. Разве ты не слышишь по моему произношению, что я — не римлянин? Когда мои соплеменники покинули ваш город, я не последовал за ними. Я люблю Рим, люблю его историю и его предания, я хочу жить и умереть в Вечном Городе, который одно время был нашим. Теперь, под именем Агапита, я служу у одного оружейника, работаю днем, а вечером брожу по городу и любуюсь на его уцелевшие памятники. Зная, что на этом месте был Золотой дом Нерона, я пробрался н в это подземелье, чтобы полюбоваться остатками прежней красоты. Вот и все. Я рассказал тебе всю правду и верю, что ты не выдашь меня, потому что одного твоего слова будет достаточно, чтобы послать меня на смерть.

Мария выслушала речь Теодата с недоверием н неудовольствием. Подумав, она сказала:

— Зачем ты меня обманываешь? Зачем ты хочешь принять облик гота? Разве я не вижу нимба вокруг твоей головы? Марс Градив, для других ты — бог, для меня — мой возлюбленный. Не насмехайся над своей бедной невестой, Реей Сильвией!

Опять Теодат долго смотрел на девушку, говорившую безумные слова, и стал догадываться, что ум Марии не в порядке. И когда эта мысль пришла в голову юноше, он сказал себе: «Бедная девушка! Нет, я не воспользуюсь твоей беззащитностью! Это было бы недостойно гота». После этого он тихо обнял Марию и начал с ней говорить, как с малым ребенком, не оспаривая ее странных бредней, признавая себя богом Марсом. И долго сиделн они в полутьме рядом, не обменявшись ни одним поцелуем, говоря и мечтая вдвоем о будущем Риме, который будет основан двумя близнецамн, Ромулом и Ремом, их детьми. Наконец, факелы стали догорать, и Теодат сказал Марии:

— Милая Рея Сильвия, уже поздно. Нам должно уходить отсюда.

— А ты вернешься завтра? — спросила Мария.

Теодат посмотрел на девушку. Она казалась ему непонятно привлекательной, со своим худым, полудетским телом, со своим болезненным румянцем на щеках и глубокими черными глазами. Непонятно-привлекательно было и это свидание в полутемной зале погребенного дворца, перед дивным барельефом неизвестного художника. Теодату захотелось повторить эти минуты странной беседы с бедной помешанной, и он ответил:

— Да, девушка, завтра, в этот же час, после дневной работы, я опять приду сюда, к тебе.

Рука с рукой они направились к выходу. У Теодата была веревочная лестница. Он помог Марии взобраться к трещине, служившей входом во дворец. На улнцах уже вечерело.

Прежде чем расстаться, Теодат повторнл, глядя в глаза Марии:

– Помни, девушка, что ты ннкому не должна говорить,

что встретилась со мной. Это мне может стоить жизни. Прощай до завтра.

Он первый спустился на землю и быстро скрылся за поворотом. Мария медленно пошла домой. Если бы в тот вечер ей пришлось вести беседу с отцом, она ничего не рассказала бы ему о пришедшем к ней, наконец, Марсе Градиве.

V

Теодат ие обманул Марии. На другой день, к вечеру, ои действительно виовь пришел в Золотой дом, к барельефу, изображающему Марса и Рею Сильвию, где уже ждала Мария. Юноша принес с собой хлеба, сыра и вина. Вдвоем они ужинали в роскошной зале дворца Нерона. Мария опять мечтала вслух о красоте прошлой жизни, о богах, героях и императорах, смешивая рассказы о действительно пережитом ею с бредом своей фантазии, а Теодат, обняв девушку, тихо гладил ее руки и плечи и любовался черной глубииой ее глаз. Потом они вместе гуляли по пустынным подземным покоям, озаряя факелами великие создания эллинского и римского гения. Расставаясь, они вновь дали друг другу обещание встретиться на следующий день.

С того времени каждый день, окончив скучную работу в мастерской оружейника, где изготовлялись и чинились шлемы, копья и панцири для византийского отряда, охраиявшего Рим, Теодат шел на свидание со странной девушкой, считавшей себя ожившей весталкой Илией. Непобедимая привлекательность была для юноши и в хрупком теле девушки, и в ее полубезумных речах, которые он готов был слушать целыми часами. Они вместе осматривали все залы, проходы и комнатки дворца, куда только можно было проникнуть, вместе радовались каждой новой иайденной статуе, каждому новому замечениому барельефу, и не было дня, чтобы неожиданное открытие ие иаполняло их души новым восторгом. День за днем оии жили неизменяющим счастием — наслаждаться творениями искусства, и в минуты умилеиия перед новым мрамором, ваянным, быть может, резцом Праксителя, юноша и девушка приникали друг к другу в объятия в блаженном и чистом поцелуе.

Незаметио и для Теодата Золотой дом Нерона стал родным домом, а Мария — самым близким и самым дорогим существом в мире. Как это случилось, Теодат не знал и сам. Только все другие часы, которые он проводил на земле, казались ему тягостной и ненавистной обязанностью; и лишь время, когда он был вместе с Реей Сильвией, под землей, в забытом дворце древнего императора,— истинной жизнью. Целый день с мучительным нетерпеиием ждал юноша минуты, когда можно будет, наконец, оторваться от медиых шлемов, клещей и молотков, чтобы с веревочной лестницей, спрятанной под одеждой, бежать на склон Эсквилина, иа заветное

свидание. Лишь этими свиданиями исчислял Теодат свои дни. Если бы его спросили, что ему нравится в Марии, он затруднился бы ответить. Но без нее, без ее безумных речей, без ее странных глаз — вся жизнь показалась бы ему пустой и лишней.

На земле, в мастерской оружейника или в своей жалкой каморке, которую он снимал у одного священника, Теодат мог рассуждать здраво. Он говорил себе, что его Рея Сильвия — бедная помешанная девушка, что он сам, может быть, поступает дурно, потворствуя ее губительным бредням. Но, сойдя в прохладно-сырую полутьму Золотого дома, Теодат словно менялся весь — мыслями и душой. Он становился иным, не тем, что в зное римского дня или в удушливом воздухе кузницы. Он чувствовал себя в другом мире, там, где действительно можно повстречать и весталку Илию, дочь царя Нумитора, и бога Марса, принявшего облик молодого гота. В этом мире все было возможно и все чудеса естественны. В этом мире прошлое было живо и басни поэтов въявь осуществлялись на каждом шагу.

Не то, чтобы Теодат вполне верил в бредни Марии. Но когда она перед какой-нибудь статуей древнего императора начинала говорить о том, как однажды встретила его на форуме и беседовала с ним, Теодату казалось, что в действительности было что-то подобное. Когда Мария рассказывала о богатствах дворца своего отца, царя Нумитора, Теодат был готов думать, что она рассказывает правду. И когда Мария мечтала о пышности будущего Рима, который будет основан новыми Ромулом и Ремом, Теодат, увлекаясь, сам развивал те же мечты, говорил о новых победах нового Вечного Города, о новом завоевании земли, о новой всемирной славе... И вдвоем они придумывали имена грядущих императоров, которые будут править в городе их детей... Мария не называла себя иначе, как Реей Сильвией, а Теодата — иначе, как Марсом, и он так привык к этим именам, что порой, мысленно, сам называл себя именем древнего римского бога войны. И когда оба, и девушка и юноша, пьянели от темноты, от дивных созданий искусства, от близости друг к другу, от странных, полубезумных мечтаний, Теодат почти начинал чувствовать в своих жилах божественный ихор олимпийца.

И опять проходили дни. В самом начале своего знакомства с Марией Теодат дал себе обещание щадить безумную девушку, не пользоваться затмением ее разума и ее беззащитностью. Но с каждым новым свиданием все труднее и труднее становилось Теодату сдерживать свое слово. Каждый день встречаясь с той, которую он уже любил со всей страстностью юношеской любви, проводя наедине с ней долгие часы в уединении, полумраке, касаясь ее рук и плеч, чувствуя близ себя ее дыхание, обмениваясь с ней поцелуями, Теодат был должен употреблять все большие и большие усилия, чтобы не сжать девушку в сильных объятиях, чтобы не привлечь ее к себе с той же лаской, с какой бог Марс привлек

к себе когда-то первую весталку. А Мария не только не уклонялась от такой ласки, но как бы искала ее, тянулась, влеклась к ней всем своим существом. Она медлила в объятиях Теодата, когда тот целовал ее, она сама прижималась к его груди, когда они любовались статуями и картинами, она своими большими черными глазами поминутно словно говорила юноше: «Когда же? скоро ли? я устала ждать!» Теодат спрашивал себя: «Полно! да правда ли, что она — безумная? Тогда безумен и я! И не лучше ли наше безумие, чем разумная жизнь всех других людей! Зачем же мы отказываемся от полной радости любви?»

И то, что должно было свершиться неизбежно, свершилось. Свадебным чертогом Марии и Теодата стала одна из великолепных зал Золотого дома Нерона. Зажженные смолистые сучья, вставленные в древние бронзовые светильники с изображением амуров, были их брачными факелами. Союз юной четы благословили мраморные боги, изваянные Праксителем, с неземной улыбкой глядевшие из порфирной ниши. Великая тишина погребенного дворца затаила в себе первые страстные вздохи новобрачных, и таинственный полумрак подземелья осенил их побледневшие лица. Не было свадебных песен, не было торжественного пира, но долгие века славы и могущества склонялись над брачным ложем, прах и земля которого казались влюбленным мягче и желаннее, чем пух понтийских лебедей в византийских спальнях.

С того вечера встречи Марии и Теодата стали свиданиями любовников. Долгими ласками сменились их долгие беседы. Страстными признаниями и страстными клятвами — полубезумные речи. Они опять бродили по пустынным покоям Золотого дома, но уже не столько влекли их картины, статуи, мраморы стен и мозаика, сколько возможность в новой комнате снова и снова упасть в объятия друг другу. Они еще мечтали о будущем Риме, который будет основан их детьми, но это радужное видение уже затмевалось счастием несдержанных поцелуев, в пламенном дыме которых исчезала не только действительность, но и мечта. Они еще называли себя Реей Сильвией и богом Марсом, но уже стали бедными земными любовниками, счастливой четой, подобной тысячам тысяч других, живших на земле за тысячи тысяч столетий...

VI

Никогда, вне зал подземного дворца, ни Теодат не старался встретиться с Марией, ни Мария с Теодатом. Они существовали друг для друга лишь в Золотом доме Нерона. Может быть, они даже не узнали бы один другого на земле. Теодат перестал бы для Марии быть богом Марсом, а Мария не показалась бы Теодату красивой и удивительной. Правда, после их сближения честный гот не раз говорил себе, что он должен разыскать истинных родителей девушки, дол-

жен жениться на ней и пред всеми людьми, открыто признать ее своей женой. Но день за днем Теодат откладывал исполнение своего решения: ему страшно было разрушить сказочное очарование, в котором он жил, ему страшно было несказанную быль подземных зал сменить на обыкновенную действительность. Может быть, сам Теодат и не так объяснял себе свою медлительность, но все же он не спешил прервать жгучее счастие тайных свиданий и каждый раз, прощаясь с Марией, вновь клялся ей, что на другой день придет опять. Она же не ждала и не спрашивала большего: с нее было довольно и мечтательного блаженства — быть любимой богом...

— Ты будешь меня любить всегда? — спрашивал Теодат, сжимая своими сильными руками хрупкое тело Марии.

Та качала головой и возражала:

— Я буду любить тебя до смерти. Но ты — бессмертен, а я должна буду умереть скоро. Меня бросят в воды Тибра.

— Нет! нет! — говорил Теодат,— этого не будет! Мы будем жить вместе и вместе умрем. Без тебя я не хочу бессмертия. И после нашей смерти мы будем так же любить друг друга там, на нашем Олимпе!

Но Мария смотрела недоверчиво. Она ждала смерти и была готова к ней. Ей хотелось лишь одного — продлить счастие так долго, как это возможно.

Юноша говорил себе, что ему должно тайно проследить за Марией, узнать, где она живет, прийти в ее дом, к ее настоящему отцу, сказать ему, что он, Агапит, любит эту девушку и хочет сделать ее своей женой. Но когда наступал час расставания, когда Мария, взяв с Теодата клятву, что он вновь придет завтра в Золотой дом, легкой тенью ускользала в вечереющую даль, юноша опять давал себе отсрочку: «Пусть это будет завтра! Пусть еще раз мы встретимся, как Рея Сильвия и бог Марс! Пусть еще продлится эта сказка!» И Теодат уходил к себе домой, в комнатку, которую снимал у священника, чтобы всю ночь грезить о своей возлюбленной и наслаждаться новым счастием — воспоминаний. И никого не спрашивал Теодат о странной девушке с черными глазами, хотя Марию знали едва ли не все в Риме. Да в сущности Теодату ничего и не хотелось знать о ней, кроме того, что она — весталка Илия и каждый день любовно ждет его, Теодата, в подземной зале дворца Нерона.

Но вот однажды Мария, прождав до вечера, не дождалась Теодата: юноша не пришел. Огорченная и смущенная вернулась Мария домой. Бред, наполнявший ее голову, как бы несколько прояснился с того дня, когда она предалась Теодату, и Мария уже могла успокаивать себя, говоря, что ее возлюбленного что-нибудь задержало. Но юноша не пришел ни на другой день, ни на третий. Он вдруг исчез совсем, и тщетно Мария ждала его на условленном месте час за часом, день за днем, ждала в томлении, в отчаянии, рыдая, молясь и древним божествам и теми молитвами, каким

ее учила когда-то мать: не было ответа ни на ее слезы, ни на ее мольбы. По-прежнему неземной улыбкой улыбались мраморные боги в нишах стен, по-прежнему живописью и мозаикой блистали пышные покои древнего дворца, но Золотой дом стал вдруг для Марии пустым и страшным. Из блаженного рая, из страны полей Елисейских он вдруг превратился в ад жестоких мучений, в черный Тартар, где только ужас, одиночество, невыносимое горе и невыносимая боль. С безумной надеждой по-прежнему каждый день шла Мария в подземелье, но она шла теперь туда, как к месту пыток. Там ждали ее горькие часы обманутого ожидания, страшные воспоминания о недавнем счастии и новые, долгие, безутешные слезы.

Всего страшнее, всего мучительнее было Марии именно подле барельефа, изображающего весталку Рею Сильвию спящей в священной пещере и бога Марса, приближающегося к ней. К этому барельефу влекли Марию все воспоминания, но близ него тоска самая непобедимая овладевала ее душой. Здесь Мария падала на пол и билась головой о каменные мозаичные плиты, закрывая глаза, чтобы не видеть лучезарного лика бога. «Вернись, вернись! — повторяла она в своем безумии.— Приди еще только один раз! Божественный, бессмертный, сжалься над моими страданиями! Дай увидеть тебя еще однажды! Я еще не все тебе сказала, я еще не всего тебя целовала, мне надо, надо видеть тебя еще раз в жизни! А после пусть смерть, пусть бросят меня в воды Тибра, я не буду спорить. Сжалься, божественный!» И Мария опять открывала глаза, опять при слабом свете факела видела бесстрастное лицо изваянного бога, и опять воспоминание о внезапно утраченном блаженстве повергало ее ниц, в новых слезах, рыданиях и воплях. И уже она сама не знала, приходил к ней бог Марс, были ли в жизни те дни полного счастия, или и это ей снилось среди тысячи ее других видений.

С каждым днем все безнадежнее становились ожидания Марии. С каждым днем все более и более измученной и потрясенной возвращалась она домой. В те часы, когда проблески сознания загорались в ней, она смутно вспоминала все, что говорил ей когда-то Теодат. Тогда она бродила по улицам Рима и под разными предлогами заглядывала во все мастерские оружейников, но нигде не встречала того, кого искала. Говорить же с кем-нибудь о своем горе и о своем исчезнувшем счастии было для нее невозможно, да никто и не поверил бы рассказам бедной, сумасшедшей девочки, все сочли бы их за новый бред ее расстроенного воображения. Так жила Мария одна, со своим горем, со своим отчаянием, и мать только уныло качала головой, видя, как еще более худеет и сохнет Мария, как еще более впалыми становятся ее щеки, а глаза начинают гореть еще более странными отсветами огня.

Но так же неутомимо проходили дни — и над бедной помешанной девочкой, и над оскверненным Вечным Городом, и

над целым миром, в котором медленно зарождалась новая жизнь.. Проходили дни, Юстиниан праздновал последние победы над остатками готов, лангобарды замышляли свой поход на Италию, папы тайно ковали звенья той цепи, которой в будущем должны были оплести и Рим и весь мир, римляне жили своей скудной, подавленной жизнью, и Мария в один из дней поняла, наконец, что она должна будет стать матерью. Весталка Рея Сильвия, к которой снизошел со своего Олимпа бог Марс, почувствовала, что в ней бьется новая жизнь,— не близнецы ли, новые Ромул и Рем, которые должны основать новый Рим?

Никому — ни отцу, ни матери — не сказала Мария об том, что она почувствовала. Это было ее тайной. Но она странно успокоилась после своего открытия. Мечта исполнилась вполне. Надо было дать жизнь основателям Рима, а потом ждать смерти в мутных водах желтого Тибра.

VII

Иногда в доме старого Руфия собирались гости: сосед, торговавший на форуме дешевыми женскими украшениями, сын медника, который когда-то сватался к Марии, дряхлый ретор, больше не находивший применения своим знаниям, несколько других обедневших людей, доживавших свои дни в унынии и собиравшихся вместе только затем, чтобы пожаловаться друг другу на свою несчастную судьбу. Пили плохое вино, закусывая его чесноком и, между привычных жалоб, осторожно вставляли в беседу горькие слова о власти византийцев и о бесчеловечных поборах нового дукса, поселившегося в Палатине вместо уехавшего евнуха Нарсеса. Флоренция услуживала гостям, разливала вино и, слушая речи старого ретора, тихонько крестилась при упоминании имен проклятых богов.

На одном из таких собраний сидела в уголку и Мария, в тот день вернувшаяся из своих скитаний домой раньше обыкновенного. Никто не обращал на нее внимания. Все привыкли видеть в своем кругу молчаливую, безответную девочку, которую давно считали помешанной. Она не вмешивалась в разговоры, и никто не обращал к ней ни слова. Унылая, с опущенной головой, она сидела неподвижно и, казалось, даже не слушала ничего из речей пьяневших собеседников.

В этот день особенно много говорили о строгости нового дукса. Но сын медника взялся защищать его.

— И то надобно взять в расчет,— сказал он,— что по нынешним временам без строгости обойтись невозможно. По городу шныряют разведчики. Того и гляди опять нагрянут какие-нибудь варвары. Натерпимся мы тогда с новой осадой! А потом эти проклятые готы! Убираясь из города подобру-поздорову, они в разных местах позапрятали свои сокровища. И теперь то один, то другой тайком, переодевшись, воз-

вращаются в Рим, чтобы откопать спрятанное и унести с собой. Уж таких-то людей должно ловить и щадить их не приходится: ведь все их богатства у вас же, у римлян, украдены.

Слова сына медника показались любопытными. Его стали расспрашивать. Он охотно рассказал все, что знал о сокровищах, спрятанных готами в разных местах Рима, и о том, как теперь уцелевшие от разгрома готы стараются эти клады разыскать и унести. Потом рассказчик добавил:

— Да вот еще недавно поймали одного такого. С веревочной лестницей пытался вскарабкаться на Эсквилин, где есть в земле трещины. Схватили его, отвели к duксу. Тот обещал ему помилование, если только проклятый укажет, где именно зарыты сокровища. Но он ничего не хотел говорить, упирался, и все тут. Уж его пытали, пытали, но ничего не добились. Так и запытали до смерти.

Кто-то спросил:

— Умер?

— Конечно, умер,— отвечал сын медника.

Вдруг внезапное озарение осветило помутившийся ум Марии. Она встала во весь рост. Огромные ее глаза еще расширились. Прижав обе руки к груди, она спросила прерывающимся голосом:

— А как звали, как звали этого... этого гота?

Сын медника и это знал точно, так что сейчас же ответил:

— Он себя называл Агапитом, служил здесь поблизости, в мастерской одного оружейника.

И, вскрикнув, Мария лицом упала на пол

Мария была больна долго, много недель. В первый же день болезни у нее родился трехмесячный недоносок: жалкий комочек мяса, о котором нельзя было сказать, мальчик это или девочка. Флоренция, при всей своей суровости, любила дочь. Пока Мария много дней оставалась в беспамятстве, мать ухаживала за ней, не отходя от постели. Звали к больной и знахарей и священника. Когда же, наконец, Мария очнулась, у Флоренции не нашлось для нее укоряющих слов. она только плакала безутешными слезами, припав к груди дочери. Должно быть, все угадала ее материнская душа. А потом, когда стало Марии немного лучше, мать, тоже без упреков, рассказала дочери все, что с ней случилось.

Но Мария со странным недоверием выслушала рассказ матери. Как могла бы поверить ему Рея Сильвия, которой, по воле богов, суждено было родить близнецов Ромула и Рема? Совсем ли помутился ум бедной девочки или по-прежнему своим мечтам верила она больше, чем действительности, только она на слова матери лишь слабо покачала головой. Ей казалось, что мать обманывает ее, что во время болезни она все же родила божественных близнецов, только их отняли у нее и в плетеной корзине бросили в Тибр. Но

Мария знала, что их найдет и выкормит волчица, потому что они должны основать новый Рим.

Пока Мария была так слаба, что не могла подымать головы, никто не удивлялся на то, что она не отвечает на вопросы и целые дни молчит, не спрашивая ни пить, ни есть, или нехотя произносит односложные слова. Но и оправившись несколько, найдя в себе силы медленно бродить по дому, Мария продолжала молчать, затаив в душе какую-то сокровенную мысль. Даже с отцом она не хотела более говорить и не радовалась, когда он начинал ей декламировать стихи древних поэтов.

Наконец, однажды утром, когда отец ушел по делу, а мать отлучилась на рынок, Мария неожиданно исчезла из дому. Никто не заметил, как она ушла. И никто более не видел ее в живых. А через несколько дней мутные воды Тибра выбросили на песок безжизненное тело Марии.

Бедная девочка! Бедная весталка, нарушившая свой обет! Хочется верить, что, бросаясь в холодные объятия воды, ты была убеждена, что твои дети, близнецы Ромул и Рем, сосут в эту минуту теплое молоко волчицы и в свое время возведут первый вал будущего Вечного Города. Если в минуту смерти ты не сомневалась в этом, может быть, ты была счастливее всех других в этом жалком, полуразрушенном Риме, на который уже двигались с Альп полчища диких лангобардов!





ЭЛУЛИ, СЫН ЭЛУЛИ

РАССКАЗ О ДРЕВНЕМ ФИНИКИЙЦЕ

I

Молодой ученый Дютрейль, уже обративший на себя внимание трудами по вопросу о головных уборах у карфагенян, и его бывший учитель, ныне — друг, член-корреспондент академии надписей, Бувери работали над раскопками на западном берегу Африки, в области французского Конго, южнее Майамбы. То была маленькая экспедиция, снаряженная на частные средства, в которой участвовало первоначально человек восемь. Однако большинство участников, не выдержав убийственного климата, уехало под тем или другим предлогом. Остались только Дютрейль, юношеский энтузиазм которого преодолевал все трудности, да старик Бувери, всю жизнь мечтавший принять участие в важных раскопках по своей специальности и в старости достигший этой цели, благодаря покровительству своего молодого друга. Раскопки были чрезвычайно интересны: никто до сих пор не полагал, что финикийские колонии распространялись так далеко на юг по западному берегу Африки, переходя за экватор. Каждый день работы обогащал науку и открывал новые перспективы на положение Финикии и ее торговые сношения в IX веке до Р. Х.

Работа, однако, была крайне тяжелой. Из всех европейцев с Дютрейлем и Бувери оставался лишь их слуга Виктор, а все рабочие были местные негры из племени бавилей. Правда, было решено, что на смену уехавшим прибудут другие археологи и привезут с собой как рабочих-французов, так и новый запас необходимых инструментов, оружия и съестных припасов, а также письма, книги и газеты, которых Дютрейль и Бувери были давно лишены. Но день проходил за днем, а желанный пароход не являлся. Консервов становилось все меньше; пропитываться приходилось охотой, и Дютрейля особенно тревожило истощение запаса патронов: в слу-

чае возмущения туземцев, которые уже становились непокорны и угрюмы, это могло грозить большой опасностью. Кроме того, жестоко страдали французы от климата и нестерпимого зноя, который доходил до того, что днем нельзя было прикоснуться к камню, не обжигая руки. Наконец, угрожала смелым археологам местная злокачественная лихорадка, которой уже подверглось в свое время несколько человек из числа уехавших членов экспедиции.

Дютрейль превозмогал все. Изо дня в день питался он мясом морских птиц, отзывавшимся рыбой, и пил тепловатую воду из ближнего источника, но держал в повиновении буйную толпу негров-рабочих и сам работал наравне с ними, да еще находил время по ночам составлять записки и подробный инвентарь добытым археологическим сокровищам. В маленькой хижине, построенной под защитой скалы, уже скопился целый музей изумительных вещей, пролежавших почти три тысячелетия в земле и теперь возвращенных миру, чтобы вскоре произвести целый переворот в финикологии. Напротив, Бувери, хотя ему всей душой хотелось не отставать от своего молодого друга, явно слабел. Старику труднее было бороться с лишениями и невзгодами. Не раз во время работ у него прямо падали из рук лопата или ружье, и он сам почти в беспамятстве опускался на землю. К тому же начались у Бувери приступы местной лихорадки. Дютрейль лечил его хиной и другими средствами, бывшими в походной аптечке, но силы старика все убывали: его щеки ввалились, глаза стали гореть нездоровым блеском, по ночам его мучили припадки сухого кашля, озноба, жара и бреда.

Дютрейль давно решил, что заставит своего друга, как только прибудет пароход, вернуться в Европу, но долгое время боялся заговорить об этом. Дютрейлю казалось, что старик непременно откажется — предпочтет, как ученый, умереть на своем посту, тем более что в последние дни часто заговаривал о смерти. Однако, к удивлению Дютрейля, Бувери сам завел речь об отъезде, сказав, что, по-видимому, им придется расстаться, что как ни горько ему покидать начатое дело, но болезнь принуждает его уехать, чтобы умереть в родной Франции. В глубине души Дютрейль был почти оскорблен последним замечанием старика, который суеверное желание — быть на родине в минуту смерти — мог предпочесть высокому интересу научных изысканий; но, объясиив это болезненным состоянием Бувери, одобрил, конечно, решение друга и сказал все, что в таких случаях полагается: что лихорадка не так опасна, что она пройдет с переменой климата, что они еще много будут работать вместе и т. п.

Дня через два Бувери еще более изумил своего друга. В тот день раскопки натолкнулись на новую богатую усыпальницу. Дютрейль был в восторге от такого открытия, не мог ни говорить, ни думать ни о чем другом. Но Бувери вечером позвал своего бывшего ученика к себе, в свою половину хижины, и просил подписать духовное завещание.

— Я очень виноват,— сказал Бувери,— что не сделал этого раньше, но все было некогда. Всю жизнь я был занят только наукой, и о своих делах у меня не было времени подумать. Так как мне становится все хуже и, может быть, я не выберусь отсюда, надо мне оформить свою последнюю волю. Нас, европейцев, здесь только трое; но вас и Виктора довольно, чтобы засвидетельствовать завещание.

Чтобы не волновать старика, Дютрейль согласился. Завещание было самое обыкновенное. Бувери назначал небольшие деньги, которыми располагал, своей племяннице, так как не был женат и других родственников у него не было. Маленькие суммы отказывал старик своей служанке, домовладельцу, в доме которого прожил 40 лет, и разным другим лицам. Свои коллекции финикийских и карфагенских древностей, собранные за долгую жизнь, старый ученый завещал Лувру, а отдельные вещицы — друзьям, в том числе и Дютрейлю.

Дойдя, наконец, до последнего пункта завещания, Бувери волнуясь, сказал:

— Этого, собственно говоря, и не следовало включать в завещание. Это просто — моя просьба к вам лично, Дютрейль. Но все же выслушайте.

Просьба состояла в том, чтобы после смерти Бувери перевезти его тело во Францию и похоронить в родном городе, рядом с могилой его матери. Читая этот последний пункт завещания, старик не мог удержаться от слез. Прерывающимся голосом он начал умолять во что бы то ни стало исполнить его просьбу.

Дютрейль сделал над собой усилие, чтобы не рассердиться, и ответил сколько мог мягче и ласковее:

— Черт возьми, дорогой друг! Ведь я решительно не признаю, чтобы вы были так больны, как думаете. Если я согласился подписать ваше завещание, то, во-первых, чтобы сделать вам приятное, а во-вторых, потому, что привести в порядок свои дела никогда не лишнее. Но так как я твердо уверен, что вы поправитесь и сами будете потом смеяться над своей мнительностью, то и позволю себе сделать вам некоторые возражения.

Со всей осторожностью Дютрейль указал Бувери, что его просьба вряд ли исполнима: под руками не было ни средств, чтобы набальзамировать тело, ни герметически закрывающегося гроба. Да и чем, наконец, хуже лежать после смерти под африканскими пальмами, рядом с гробницами великого прошлого, чем на каком-то провинциальном французском кладбище! Единственное, что можно в таких обстоятельствах обещать кому бы то ни было, это — похоронить тело первоначально здесь, в Африке, а потом перевезти его во Францию, хотя и это затруднительно, хлопотно, а главное — бесполезно.

— Этого-то я и боялся!— с отчаянием воскликнул старик,— боялся, что именно так вы мне ответите. Но я умоляю, я заклинаю вас исполнить мою просьбу, чего бы это вам

нн стоило, хотя бы... хотя бы пришлось для того временно бросить раскопки!

Бувери убеждал, упрашивал, плакал. В конце концов, чтобы успокоить старика, Дютрейль должен был согласиться, дать ему честное слово и даже клятву. Завещание было подписано.

II

На другой день, еще до восхода солнца, работы возобновились. Приступили к раскопкам той роскошной усыпальницы, на которую натолкнулись накануне. По-видимому, финикийское поселение оказывалось гораздо более значительным, чем полагали раньше. По крайней мере, раскапываемая усыпальница явно принадлежала семье богатой и сильной, несколько поколений которой не только провело всю жизнь под негостеприимным небом экваториальной Африки, но здесь же приготовило себе и место вечного упокоения. Гробница была сложена из массивных глыб камня и украшена барельефами. Дютрейль неутомимо распоряжался работами и часто сам брал заступ в руки.

С большим трудом удалось открыть вход в гробницу: огромную железную дверь, которую, несмотря на 28 столетий, прошедших с тех пор, как ее заперли, пришлось осторожно ломать ломами. Пробив, наконец, себе проход и дав свежему воздуху проникнуть в глубь гробницы, Дютрейль и Бувери с факелами в руках сами вошли туда. Картина, представившаяся их взорам, могла свести с ума археологов. Усыпальница оказалась совершенно нетронутой. Посредине возвышались каменные гроба на каменных же подставках в форме фантастических чудовищ, а кругом было расставлено множество предметов домашнего обихода, характерные двурогие лампочки, военные снаряды, фигурки богов и другие вещи, назначение которых трудно было определить сразу.

Но самое поразительное было то, что внутренние стены гробницы почти сплошь были покрыты живописью и надписями От притока свежего воздуха цвета картин, как то бывает всегда, быстро потускнели, но надписи, выписанные каким-то черным составом и даже на некоторую глубину врезанные в камень, казались только вчера сделанными. Это особенно восхищало Дютрейля, так как финикийских надписей до сих пор известно очень немного. Он уже мечтал, что здесь могут обнаружиться совершенно новые исторические данные — известия, напр., о сношениях Финикии с Атлантидой, о чем племянник Шлимана прочитал в финикийской надписи на сосуде, найденном в Сирии.

Несмотря на палящий зной, Дютрейль озаботился перенести все найденные вещи в музей и не успокоился, пока последняя двурогая лампочка не была помещена в надежное место. После того, тщательно заперев вход в гробницу, моло-

дой ученый прилег отдохнуть, но, едва жар начал чуть-чуть спадать, был уже вновь за работой. Он занялся списыванием и разбором надписей — дело, которое, при всем его великолепном знании языка, было весьма сложным. До вечера Дютрейлю удалось списать лишь незначительную часть надписей и еще меньшее число, хотя бы приблизительно, дешифровать.

Ночью, сидя в своей хижине, при скудном свете лампы, Дютрейль делился своими открытиями с Бувери и просил его помощи в толковании разных трудных выражений. Ряд надписей был явно простой генеалогией, восходящей до 10 и 12 колена. Но одна содержала заклинание против нарушителей могильного покоя. Вот как, приблизительно, толковал ее Дютрейль:

«Именем Астарты, нисходившей во Ад, да будет мир погребенному мне, Элули, сыну Элули. Да лежу я здесь тысячу лет и еще вечность. Родных и близких, соотечественников и чужеземцев, друга и врага заклинаю я: да не коснешься ни праха моего, ни золота моего, ни вещей, данных мне. Если люди будут склонять тебя, не слушай их. Ты же, дерзкий, читающий эти слова, которые ни один человеческий глаз не должен бы уже видеть, да будешь проклят и на земле, и в недрах ее, где не едят и не пьют. Да не получишь места упокоения у Рефаимов, да не будешь погребен в гробнице, да не имеешь ни сына, ни потомства. Да не будет тебе солнце теплым, да не держит тебя дерево на воде, да не отойдет от тебя ни на час демон мучительства, безобразный, беспощадный, не знающий слабости».

Надпись еще продолжалась, но конец ее был непонятен. Бувери выслушал перевод надписи в глубоком молчании и не захотел принять участия в дешифровке ее окончания. Сославшись на нездоровье, он удалился на свою половину за дощатую перегородку. Но Дютрейль еще долго просидел над своими записками, справляясь с привезенными книгами, думая над каждым выражением и стараясь понять все изгибы мысли писавшего.

III

Поздно ночью, когда Дютрейль уже спал сном глубоко утомленного человека, его вдруг разбудил Бувери. Старик зажег свечу и при ее свете казался еще бледнее, чем обыкновенно. Волоса его были всклокочены, весь вид обличал крайнюю степень ужаса.

— Что с вами, Бувери? — спросил Дютрейль. — Вы нездоровы?

Как ни трудно было бороться со сном, Дютрейль сделал над собой усилие, помня, что его старый друг тяжело болен. Но Бувери, не отвечая на вопрос, сам спросил задыхающимся голосом:

— Вы тоже его видели?

— Кого я мог видеть?— возразил Дютрейль.— Я так устаю за день, что сплю без снов.

— Это не был сон,— печально проговорил Буверн,— и я видел, как от меня он прошел к вам.

— Кто?

— Тот финикиец, могилу которого мы раскопали.

— Вы бредите, милый Бувери,— сказал Дютрейль,— у вас жар, я сейчас приготовлю для вас прием лекарства.

— Я не брежу,— упрямо возразил старик,— я хорошо рассмотрел этого человека. Он был бритый, без бороды, но лицо в морщинах, одет, как воин; он стал у моей постели, посмотрел на меня грозно и сказал...

— Постойте,— прервал Дютрейль, стараясь вернуть друга к рассудительности,— на каком же языке он с вами заговорил?

— По-финикийски. Не знаю, может быть, в другое время я и не понял бы финикийской речи, но в ту минуту понимал все, от слова до слова.

— Что же вам сказало привидение?

— Он мне сказал: «Я — Элули, сын Элули, тот, чей мирный покой вы, чужеземцы, нарушили, не побоясь заклятия. За то я отомщу тебе, моя участь постигнет и тебя. И твой прах не успокоится в родной земле, но станет добычей шакалов и гиен. И я буду мучить тебя во сне и наяву, всю твою жизнь и после жизни, и до скончания веков». Это он сказал и ушел к вам, и я думал, что вы тоже его видели.

Дютрейль не сомневался, что с его другом — болезненный припадок, легко объяснимый влиянием зноя, постоянными мыслями о смерти и волнением после их замечательного открытия. Желая образумить старика, Дютрейль не стал ему напоминать, что привидения — обман зрения, но постарался объяснить всю неправдоподобность данного видения.

— Мы раскопали,— говорил Дютрейль,— могилу не для того, чтобы оскорбить лежащий там прах или чтобы поживиться собранным там добром, но из бескорыстных научных целей. Элули, сыну Элули, нет причин на нас гневаться. Наука воскрешает прошлое, и мы, восстановляя финикийскую древность, тем самым воскрешаем и этого Элули. Старый финикиец скорее должен быть благодарен нам за то, что мы вызываем его из забвения: кто без нас, в наши дни, знал бы, что за тысячу лет до Рождества Христова жил в Африке некий Элули, сын Элули?

Дютрейль говорил со стариком, как с больным ребенком Сначала Буверн не слушал никаких доводов и требовал явно невозможного: чтобы все вещи были немедленно отнесены обратно в гробницу и сама она опять засыпана. Понемногу, однако, стал уступать и согласился отложить решение вопроса до утра. После того Дютрейль собственноручно уложил старика в постель, закутал одеялами, так как у него начался озноб, и сидел около, пока больной не уснул тяжелым, беспокойным сном. «Как разрушительно действует болезнь даже на самые ясные умы!» — грустно думал Дютрейль.

IV

На другой день диалектика и очевидность доводов Дютрейля одержали верх, Бувери согласился, что его видение было лихорадочным бредом. Согласился и с тем, что вновь засыпать раскопанную гробницу было бы преступлением перед наукой и человечеством. Работы продолжались с прежним усердием. И в усыпальнице Элули, и в соседних могилах было найдено еще много драгоценных для историка предметов. Друзья ждали только прихода парохода с необходимыми инструментами и рабочими-европейцами, чтобы приступить к раскопкам города.

Однако здоровье Бувери не поправлялось. Лихорадка не оставляла его; по ночам он часто кричал и вскакивал в безумном ужасе. Однажды старик признался, что опять видел перед собой финикийца Элули. Дютрейль счел полезным вышутить своего друга, и Бувери более не заговаривал о своих видениях. Но все же он таял с каждым днем и даже стал проявлять признаки психического расстройства: боялся темноты и ночи, не хотел входить в музей, а потом и вовсе устранился от раскопок. Дютрейль покачивал головой и все с большим нетерпением ждал прибытия парохода, надеясь что морское путешествие и возвращение во Францию принесет старику пользу.

Но друзья не дождались парохода. Когда он, наконец, прибыл, на месте маленького поселка, устроенного членами экспедиции, не было ничего, кроме груды пепла и обгорелых досок. Было явно, что негры-рабочие взбунтовались, убили европейцев и разграбили их имущество, унеся и вещи из устроенного ими музея. Великие открытия, сделанные Дютрейлем и Бувери, которые мечтали обогатить финикологию, погибли для человечества.





МОЦАРТ

ЛИРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ В 10 ГЛАВАХ

1

Где-то на башенных часах неспешно пробило два часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина,— вернее, спирта, разбавленного водой,— мысли сплетались бессвязно, путались в какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил два года назад, при своем приезде в X., да и жил-то недолго, всего несколько недель.

Латыгин остановился и огляделся. Центр города, с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтовыми тротуарами, остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к — скому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная заборами да деревянными двухэтажными домишками, среди которых одиноко высились два-три кирпичных гиганта, бесстильных, ярко выраженного типа «доходных домов». Кругом было пусто: ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно; светилось только одно окошко, в большом доме, почти под крышей: какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек.

Надобно было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же, как не домой? Круто свернув в переулок, почти не освещенный,— тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один,— Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески, те же ямы

на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно.

Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, двадцать пять рублей, и догадывается, что он не устоял пред искушением — пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова пятьдесят рублей — деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами и, что всего мучительнее, будет права... Да! в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку, а Латыгин действительно проиграл, не все деньги, но все же шесть рублей, и за карты и за вино заплатил два; от 25 осталось 17, да! 17... Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами.

Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота: грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унизительные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота, потом запахивает их, едва дав пройти, и еще злобно что-то ворчит вслед, нарочно почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина:

О бедность, бедность,
Как унижает сердце нам она!

Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта, вспомнился «Моцарт и Сальери». Соседи, в насмешку, прозвали Латыгина — Моцартом как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде:

Ты, Моцарт,— бог, и сам того не знаешь!
. . . .

Как некий Херувим,
Он несколько занес нам песен райских...
. . . .
Что пользы, если Моцарт будет жив?

Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все сознает и рассуждает логично. Но все же было выпито лишнее; притом спирт,

разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка... Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Латыгин задал себе еще вопрос: говорить ли жене о проигранных шести рублях? Завтра, может быть, он получит жалованье за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра — урок; может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш... И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей, он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка.

Прозвучал неприятный, надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна; дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой; небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов: било четверть третьего. Тогда послышались шаги дворника: не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латыгин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный; он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотанье и мог разобрать слова:

— Шатаются... тоже... музыканты... Моца́рт!

2

Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для «барских» квартир другого, бо́льшего дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье: две крохотных комнатки, третья — темная и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6—7°; если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе Латыгины,— невозможно было удержать тепло в ветхих стенах и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов, снизу. Но квартира была совершенно уединенная, Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их — разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий: «Клубника, малина, черно-сморо́-дина!» Это уединение и заставляло «Моцарта» держаться за свою квартиру: нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех.

Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить

которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет: стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и Мина показалась в четырехугольном просвете — тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни: словно картина в раме на фоне белого света... Свет был за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем — укор и вопрос, и потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки:

— Мина, прости, я — виноват.

Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь, потом пошла за ним, с лампой в руке, когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо:

— Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?

Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо:

— Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову, не играть, так посидеть, и засиделся, упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали. Только я очень устал, я лягу, да и ты ложись, напрасно ждала меня.

Мина, все молча, продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только:

— Ах, Родион! Ах, Родион!

Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина, вне себя, бросала в мужа графин, пресс-папье, что попадало под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинения обвинениями. Тогда они говорили друг другу жестокие слова, которые после стыдно было вспомнить. Но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин сознавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он сознавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая двенадцать лет переносила с ним все неудачи и беды его тревожной жизни, заливала его душу, в то же время так же беспредельно ему было жаль и себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь в этой убогой комнате, ночью, после грубой попойки в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой.

Мина все рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней «темненькой» комнатке, а Латыгин стал перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдания:

— Милая! Мина! Миночка! Ну, прости меня! Я — негодяй

Я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня, а я ушел пьянствовать вместе с какими-то чиновниками, писцами, телеграфистами. Но пойми! Работаешь дни, недели, месяцы. Наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз позволить себе что-нибудь! Ведь ты же понимаешь! Неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не об чем. Но надо хоть на час забыться, вот — выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но конечно, конечно! Этого не должно быть, этого больше не будет, никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять: это только чтобы забыться, на один час забыться, только!

Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала:

— А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?

Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой, а сам он думал: «В самом деле! Мы оба несчастны. Мы могли бы понять друг друга! Почему же мы никогда не говорим откровенно? Почему, вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене — и мы вместе плакали бы, и, может быть, было бы нам обоим так хорошо! Ведь, правда, она очень несчастна, очень...»

Между тем рыдания Мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном:

— Говори: сколько растранжирил?

Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опять он почувствовал себя чужим с этой женщиной. Но, сдержав себя, ответил кротко:

— Я не играл, Мина, совсем не играл (это была ложь) Я только заплатил за вино, несколько рублей всего, рубля два, три...

Мина всплеснула руками.

— Три рубля! А у Лизочки башмаки в дырах. В гимназию ходить стыдно.

С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль,— о бедность, бедность, как унижает сердце нам она... «Ты, Моцарт,— бог, и сам того не знаешь!» В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. «Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от 20 числа до 20-го! Моя истинная жена — не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я!» И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена; он готов был встретить все ее упреки спокойным презреним.

Но порыв Мины прошел. Он был создан нервным напряжением всего дня, утренним приключением с соседями, мучительным ожиданием мужа, невеселыми одинокими думами об их

положении. Обратив внимание на мужа, Мина увидела, как он бледен, как дрожат его руки. В свою очередь ей стало невыносимо жаль его, и она тоже стала просить прощения.

— Прости меня, Родион! Я не хотела обидеть тебя. Деньги — твои, ты их зарабатываешь. Но нам этот год так тяжело живется! И потом, что́ я без тебя пережила! Соседи узнали, что я — немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить. А я была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая ж я немка! Я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? Да и куда мы отсюда пойдем? Осень, все квартиры заняты. И не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала, тебя ждала, а ты не идешь...

Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы; она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо. Родиону вспомнилась невольно Мина такой, какой была тринадцать лет тому назад, когда он с ней познакомился: скромной, робкой, запуганной девушкой, тоненькой-тоненькой, как былинка, с гладко зачесанными белокурыми волосами Гретхен, с глазами всегда не то изумленными, не то испуганными. Вспомнились первые свидания, в Москве, в Сокольниках, день, темнеющий между красных сосен, и та скамейка, на которой он, Родион, тогда еще юноша, ученик консерватории, впервые обнял и поцеловал Мину и сказал ей, что любит ее. Какая она была тогда маленькая, словно вся исчезла в его объятиях, как птичка в зажавшей ее руке. Впрочем, не такая ли маленькая она и теперь, не та же ли перед ним девочка Мина, несмотря на эти двенадцать лет, и их дочь Лизочку, и все, что было пережито потом!

Еще раз чувства Латыгина изменились. Он подошел к постели, сел рядом с Миной, обнял ее. Не так ли они сидели в тот лунный вечер на скамейке в Сокольниках? Что́ годы, если в душе все та же любовь и та же радость сжимать это хрупкое, маленькое тело? Мина прошептала тихо, словно делая последнее усилие:

— Ложись, Родя! Скоро — три часа. Завтра у тебя урок. Надо тебе выспаться.

Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы «та» Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, к которым у Мины всегда была слабость, которую она никак не могла преодолеть, и это почему-то ему казалось бесконечно трогательным и прекрасным. Было ли то влиянье выпитого вина, но уже все рисовалось Латыгину как нежная сказка, красивая мелодия. Он ближе наклонился к лицу Мины.

— И ты ложись, моя девочка,— шептал он,— ты устала, бедная, я замучил тебя сегодня. Но я тебя люблю очень,

всегда люблю, и ты не верь другому. Ты — моя Мина, Миночка, милая, маленькая...

Он расстегивал пуговицы ее платья, словно они были любовники, а не муж и жена, двенадцать лет ложившиеся спать в одной комнате. Вид худенького, изможденного тела жены вызвал новый порыв жалости и нежности. Латыгин опять стал на колени и целовал жену в грудь и плечи. А она, стыдясь как девушка, стыдясь всего больше неожиданных ласк, от которых так отвыкла за последние годы, сопротивлялась и торопилась сама снять кофточку, юбку, башмаки.

— Я люблю тебя, Мина,— повторял Латыгин.

— Тише, тише, Лизочка услышит,— останавливала жена. Она покраснела, гася лампу.

Стало темно в маленькой комнатке, почти сплошь заставленной двумя кроватями и большим, странным комодом. Было тихо за окнами и тихо в доме; только часы в столовой как-то хрипло стучали, качая свой маятник, два голоса, подавленные до последнего шепота, еще говорили что-то. И, заглушая поцелуями, чтобы не разбудить дочь, двое любовников — муж и жена, прижимались друг к другу на узкой постели. И каждый из них был счастлив в эту минуту — тем избыточным счастием, которое приходит после слез и волнения. Хотелось не думать ни об чем ином, все забыть, чтобы живым, истинным было вот только это мгновение, этот поцелуй в черной темноте.

3

На другой день Латыгин, как всегда, проснулся часов в восемь. Он чувствовал себя свежим и бодрым; от вчерашнего хмеля не оставалось следа. Как что-то чужое, вспоминались и вчерашние волнения и мысли. Жена уже встала и хлопотала на кухне; слышно было, как она стучала посудой.

Быстро одевшись, Латыгин также прошел в кухню, так как умывались там. Он увидел жену, полуодетую, непричесанную, и она показалась ему бесконечно далекой от той девочки — Мины, которая пригрезилась ему ночью. Опять перед ним была женщина преждевременно состарившаяся, с морщинками у глаз, с красными руками, загрубевшими от стряпни и другой домашней работы. Первые же слова, которые Мина произнесла, как бы оцарапали душу Латыгина, что-то грубое, вульгарное послышалось ему в них.

— Ну как спал, мой пьянчужка? Каким ты, однако, еще можешь быть с женщинами! Когда захочешь, конечно...

Мина это произнесла ласково. Она еще была полна порывом нежности, и ей хотелось сказать что-нибудь приятное, льстивое мужу. Но он душевно весь как-то сжался. «Зачем она это? — подумал он с болью.— Не надо, не надо было этого говорить! И напоминать было не нужно!» Чтобы не поддаться враждебному чувству к жене, Латыгин спросил ее:

— Лизанька еще спит?

— Только что разбудила: пора в гимназию собираться.

Мина варила кофе; Латыгин умывался. Ему хотелось бы сказать что-нибудь жене, но было нечего. Он испытывал вновь великую отчужденность от нее. Мелькнула даже мысль: «Пожалуй, и сегодня охотно я ушел бы опять к тому же Карпову...» Стекала вода, шумел кофейник, но двое, бывшие в комнате, молчали.

— Ну, идем пить кофе,— позвала Мина.

За столом стало еще мучительнее. При всех усилиях Латыгин так и не мог найти ни слова, чтобы сказать жене. «Заговорить разве о деньгах? — подумал он.— Ведь нужны на расход и платить надо лавочнику... Нет, еще нестерпимее будет!» Он молчал и пил горячий напиток. По счастию, вошла дочь.

Лизе было одиннадцать лет. Она была похожа на мать, какой та была в юности, маленькая, хрупкая. У нее были голубые глаза и белокурые волосы. Но, как у всех детей, живущих в нужде, выражение лица было серьезным, не по-детски строгим. Латыгин любил дочь, не всегда, но по большей части, и сейчас обрадовался ей очень.

— Здравствуй, папочка!

— Здравствуй, милая девочка.

Он поцеловал Лизу в щеку, и вдруг ему стало легко и тотчас вспомнилось, об чем надо было рассказать жене.

— Ах, да! Знаешь, Мина,— заговорил Латыгин почти весело,— ведь я вчера недаром побывал у Карпова. Вчера только мне этого тебе рассказывать не хотелось, чтобы не оправдывать себя. Потому что пошел-то я, не зная, что это так случится. У Карпова был Меркинсон, знаешь, виолончелист. И он опять предлагал мне место в оркестре,— первой скрипки; сам заговорил. Я ответил, что подумаю, но решил принять.

— Ты? в оркестр! — с упреком переспросила жена.

— Да, я долго отказывался, но вижу, что жизнь не переспоришь. По крайней мере, будет обеспеченное жалованье. А теперь ведь мы каждый день висим на волоске. Вздумается завтра Андроновой прекратить уроки, вот мы сразу лишимся половины наших доходов. Довольно! Я отказываюсь от всех моих грез и иллюзий! Пора трезво смотреть на вещи.

— Папочка,— тихо сказала Лиза,— не надо так говорить. Подожди, тебя все оценят.

— Ах, Лиза! — воскликнул отец, говоря с 11-летней девочкой, как со взрослой,— я ждал, вот пятнадцать лет, как я жду! У меня уже седые волосы, а ничего не изменилось! Исполнялись мои вещи в концертах, я сам играл свое перед избранной публикой, в Москве, в Петрограде, и ничего не изменилось! Да, есть такие, которые меня поняли; и писали обо мне, в газетах, очень лестные статьи, а все же — кто меня знает? Многие ли слышали о композиторе Латыгине? Может быть, лет через пятьдесят меня оценят. А пока что надо об этом не мечтать, а покориться тому, что есть.

— Папочка! — попросила Лиза,— сыграй мне что-нибудь перед тем, как мне уходить.

Девочка не могла доставить большей радости отцу, как попросить его сыграть. Латыгин послушно достал скрипку, подтянул струны, провел несколько раз смычком; потом спросил с улыбкой:

— Что же тебе сыграть?

— Колыбельную, папочка.

— Нет, девочка, это — старое. Так я писал двенадцать лет тому назад, с тех пор я многому научился. Нет, я сыграю свою «Пляску медуз». Ты знаешь, что такое медузы? да? Так вот представь себе, что они собрались на бал и хотят танцевать,— в море, конечно. Вода кругом светится,— бывает такое свечение моря,— на небе звезды и луна, в глубине проплывают большие рыбы, акулы, например, а на поверхности, на глади волн, потому что нет ветра, пляшут хороводами медузы. Слушай.

Латыгин заиграл...

Жена и дочь были плохие критики. Они мало смыслили в музыке, но им казалось, что «Моцарт» играет что-то чудесное. И ему самому казалось, что он создал шедевр, равного которому нет в современной музыке. В «Пляске» была как будто вся строгость старой школы, но в условные формы влита дерзновенность новых звукосочетаний. Мелодия была гениально проста, но найдена впервые с сотворения мира и окружена всей роскошью современной гармонизации. Это было классическое создание, которое нельзя забыть, услышав его однажды... Так казалось Латыгину, когда он играл.

Играя, он упивался своими звуками; видел фосфорический свет воды, мерцание созвездий в небе, медленно проплывающих акул, скатов, стаями собравшихся маленьких рыбешек и пляску студенистых медуз, составивших хороводы; чувствовал соленый запах моря, веянье южной ночи, радость безбрежного простора; угадывал, где-то вдалеке, тихо подымающийся над горизонтом силуэт огромного океанского стимера; в звуках было это все, и больше, больше, безмерно больше того!

— Милочка, тебе пора в гимназию,— поспешно сказала мать, едва Латыгин остановился, а звуки последнего аккорда еще замирали.

«Моцарт» вздрогнул. Его вернули к действительности, к этой бедной, почти нищенской обстановке, к стакану остывшего кофе, к лишним пяти рублям, истраченным вчера. Он положил скрипку молча, но Нина поняла его чувство.

— Прости, Родя,— сказала она,— но иначе девочка опоздает.

— Спасибо, папочка, спасибо! — говорила Лиза, обнимая отца,— это дивно хорошо!

Мать заготовила ей завтрак, завернутый в бумагу, принесла книги и тетради, осмотрела платье.

— Уроки знаешь?

— Знаю, мама, все знаю; сегодня легкий день: закон божий, русский, география...

— Ну, ступай.

— До свидания, папочка!

Мать с дочерью вышли из комнаты. Латыгин сидел один, задумавшись. Неужели можно не понимать красоты его композиции? Так просто, так чисто, так певуче, так трогательно и так величаво! «Или я безумец,— думал «Моцарт»,— или все люди лишены слуха. Почему я понимаю красоту Бетховена, стариков, и красоту новых, и Дебюсси, и Скрябина, и Стравинского, и вижу, ясно вижу, красоту своих сочинений? А другие в моей музыке ничего не видят, говорят, что я то подражаю, то нарушаю законы! Ведь это же неправда! Ведь есть же у меня слух: иначе я не понимал бы Бетховена!»

Латыгин опять было взялся за скрипку, но вернулась жена.

— Тебе тоже пора, Родя! — осторожно напомнила она.

— Да, да! Я сейчас иду: урок половина десятого.

Латыгин встал; ему захотелось поскорей уйти из дому.

— С урока ты прямо домой?

— Нет, я должен зайти к Меркинсону. Будь что будет, я решил взять место в оркестре.

— Ты совсем обдумал это дело?

Мина спрашивала робко; в душе она считала, что Родион давно должен был принять приглашение в оркестр, но знала, что играть в оркестре Латыгину казалось унижением. Он ответил грубо, отрезал:

— Обдумал совсем!

«Боится, что я передумаю!» — злобно подумал он. Потом все же захотелось сказать жене что-нибудь приветливое на прощание: так испуганно взглянула она при резких словах.

— А ты не утомляй себя, не хлопочи там об обеде. Мы поедим, что найдется, и все будет хорошо. Да! тебе нужны деньги?

— Нужны,— тихо проговорила жена.

Одно мгновение Латыгин хотел отдать все, что у него было. Но тогда жена увидела бы, что он истратил больше, чем сказал ей. Торопливо он вынул десятирублевку и подал Мине; знал, что этого мало, и, чтобы прервать разговор, спросил еще:

— А ты пойдешь куда-нибудь?

— Я пойду к Дьяконовым, они мне говорили про квартиру, знаешь, Родя, нам здесь нельзя оставаться, я при Лизочке не хотела говорить, но вот ты уходишь, а если опять...

Она говорила быстро, видела, что муж хочет уклониться от обсуждения вопроса о квартире, и спешила все высказать. Но Латыгину вдруг стало нестерпимо — разбираться во всех этих мелочах, высчитывать, хватит ли денег на переезд, разбирать сравнительные достоинства разных убогих помещений, которые можно снять... Нет, нет! Когда-нибудь после, не сейчас.

— Милая! Ты прости, но ведь я опоздаю. Не бойся, ничего

ие случится, сегодня все заняты. Да, я все-таки скоро приду.

Говоря, Латыгни торопливо, захватив скрипку, прошел в кухию, надел пальто, привычиым движеинем поцеловал жеиу где-то около глаз н почтн выбежал иа лестницу. Мнна осталась одна, горестно глядя иа десятирублевую бумажку в своей руке. Потом, словио обесснлев, Миша опустилась на стул около плиты и заплакала тихими, тягучимн слезами, всхлнпывая н не отнрая глаз.

4

Андроновы жнли в лучшей части города, и Латыгину пришлось пройтн порядочное расстояиие, пока ои дошел до пышного подъезда их особняка. Как всегда, последовала тягостиая сцена в вестибюле, где важный швейцар прислуживал музыканту как бы нехотя и умел в свою выучеиную почтительность вложнть все свое пренебрежеиие к учителю в потертом пальто. Небрежно, не положив, а «ткнув» шляпу «Моцарта» на полку, швейцар заложил руки за спниу и произиес шепотом, в котором ощущалась затаеииая иасмешка:

— Барыия сказали вам сиачала пройти к ннм-с, в гостиную.

— А, хорошо.

Латыгин больио почувствовал это «сказали»: лакей все же ие отважился пронзиестн: «приказалн», но и не хотел говорить: «проснли». Стараясь идти нетороплнво, Латыгии поднялся по лестнице, уставлеииой засушенными пальмами, мниовал прнемную с огромиымн альбомамн на столах и безвкусиыми картнназн в золотых рамах и прошел в гостниую, где каждая подробность обстаиовки кричала о богатстве хозяев. С такой наглостью выставляют иапоказ свое состояиие только в провинцни; в столнцах сами мебельщики и драпировщнкн умеют смягчать грубость деиежной гордости.

Аидроиовой в гостиной ие было, и Латыгии должеи был дождаться сравнительно долго; ие желая садиться без приглашения, он делал внд, что рассматривает зиакомые ему картииы: какие-то пошлые пейзажи, куплеиные, вероятно, за дорогую цеиу. В своей иервиой подозрнтельиости ои уже готов был счесть промедлеине хозяйкн за новое оскорблеиие, и у него мелькала мысль — уйтн, когда Андроиова, накоиец, вошла. Полиая, с вульгарным лицом, оиа, иесмотря на раниий час, была в каком-то дорогом утреиием платье и с бриллнаитовым кулоиом на грудн.

— Bonjour, monsieur Latiguine.

Здороваясь, Аидроиова улыбалась ие то приветлнво, ие то милостиво, ио фраицузский язык должеи был намекиуть, что оиа привыкла иметь дело с учителями-иностраицамн. Впрочем, по-фраицузскн объяснялась она вовсе не свободно и потому, пригласив Латыгнна сесть, тотчас перешла на родиой язык.

Говоря и намереиио растягивая слова, оиа прищуривалась:

должно быть, переняла такую манеру у какой-нибудь близорукой дамы в Москве или Петрограде.

— Я хотела с вами переговорить, monsieur Latiguine, á propos de Nadine. Я, конечно, сама не играю на скрипке, но я играю на фортепиано, мой профессор был maestro Джиусти, вы знаете, знаменитый? Так вот, я хотела с вами переговорить, что мне кажется, что вы слишком медленно ведете Nadine. Вы знаете, Sophie Пузырева, которая начала учиться только три месяца тому назад,— ей дает уроки maestro Вельчевский из Варшавы,— уже приступила к третьей позиции, а вы держите Nadine все на первой. Неужели моя дочь неспособна идти вровень с другими? Между тем все, кто ее слышали, восхищаются ее талантом: monsieur Кузминский, madame Арская из оперы, вы знаете...

Следовал длинный перечень лиц, восхищавшихся талантом Надины и находивших у нее дарование скрипачки. Латыгин слушал, сжав зубы. Что он мог ответить? Что эта Nadine — бездарна, как только может быть бездарна тупая и избалованная девчонка, что у нее нет слуха, что она не учит уроков, не исполняет ни одного требования учителя? Но тогда зачем он, Латыгин, продолжает уроки, не отказался давно сам! Сделав кое-какие слабые возражения, он сказал покорно:

— Как вам угодно, я, конечно, могу показать mademoiselle Nadine вторую и третью позицию, но будет ли это полезно для нее?

— Monsieur Latiguine,— с достоинством возразила Андронова,— я и не считаю себя вправе указывать вам, как должно учить. Но у Nadine такие способности! В ваших руках такой благодарный материал! И если Nadine не делает таких успехов, как того можно желать, так это значит, что между учителем и ученицей не установилась, pour ainsi dire [1], художественная связь, вы понимаете?

«То есть это значит, вы можете убраться ко всем чертям! — злобно подумал Латыгин,— и вот наши доходы сократятся сразу на 60 р. в месяц, т. е. более, чем наполовину. Нет, все равно, стерплю все, а если угодно, отказывайте мне сами!»

Он почтительно сказал Андроновой, что, ввиду ее желания, ускорит прохождение курса и, с своей стороны, надеется, что mademoiselle приложит свои старания.

— Вы знаете, Nadine несколько ленива,— самодовольно ответила Андронова,— но ведь все талантливые люди ленивы.

На этом афоризме хозяйка поднялась; Латыгин, конечно, тоже встал.

— Ах, да! — добавила Андронова, доставая из серебряного ридикюля конверт,— это ваше жалованье за истекший месяц. Срок, собственно, завтра, но, может быть, вам нужно...

«Жалованье», «срок, собственно, завтра», «вам нужно» — все эти слова были мучительны, и все же, кладя 60 р. в карман, Латыгин вдруг почувствовал прилив и бодрости и самоуверен-

[1] так сказать (*фр.*).

ности. Он с достоинством поклонился Андроновой и пошел в соседнюю комнату, «первую залу», где обычно занимался с Надин. «Ну, деньги есть! — думал «Моцарт»,— еще поборемся с жизнью!»

Надин также заставила себя ждать, наконец, вышла с капризным выражением лица. Ей было лет 15, она была недурна собой, но держалась с подчеркнутой небрежностью, показывая, что не стоит быть интересной для какого-то музыканта.

— У меня вчера болела голова,— заявила она,— я не могла приготовить вашего урока.

— Что же делать,— кротко возразил музыкант,— будем разучивать пьесу вместе. Но обращаю ваше внимание, что ваша матушка желает, чтобы мы шли вперед более быстрым темпом.

Надин демонстративно пожала плечами.

Начался урок. Это была почти пытка для Латыгина. Надин почти ни одной ноты не брала правильно; смычок не держался в ее руках; то и дело она без надобности начинала подвертывать струны.

Потеряв самообладание, Латыгин спросил резко:

— Mademoiselle, если бы я был учителем живописи, стали бы вы кистью тыкать мне в глаза?

Nadine явно оскорбилась и тоном вопроса и грубым словом «тыкать»; она переспросила надменно:

— Что вам угодно этим сказать, monsieur Латыгин?

— А то, что каждый фальшивый звук, который вам угодно производить, вонзается мне в ухо совершенно так же, как если бы вы ударяли меня смычком.

Девочка посмотрела еще надменнее, как редко умеют смотреть в пятнадцать лет:

— Если вам так тягостно заниматься со мной, мы можем прекратить уроки.

— Я только прошу вас пощадить мои уши,— поспешил поправиться Латыгин.

Надин сжала губы и ничего не отвечала; лицо ее стало злым. Урок был докончен кое-как. Латыгин уже не решался делать замечаний своей ученице.

— Я попрошу вас к следующему разу приготовить эту пьесу,— сказал он, вставая.

Надин, не отвечая, кивнув головой, вместо поклона, повернулась и вышла из комнаты.

«Кажется, должно проститься с 60 рублями в месяц»,— думал «Моцарт», укладывая свою скрипку, но в душе было не огорчение, даже не досада, а только злость.

5

Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону: хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени.

Выйдя от Андроновых, Латыгин сел иа трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье, иа — скую улицу Там жила Маша, тихая, скромиая, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой «Моцарт» сблизился, сам не зная как.

Впервые Маша увидела Латыгина больше года назад, когда он выступал на одном благотворительиом концерте. Музыка была ее страстью; игра «Моцарта» растрогала ее до рыданий. Случайно оказался общий знакомый; смеясь он провел Машу в «артистическую» и представил скрипачу. Наивный восторг девушки польстил Латыгину; он с ней обошелся приветливо, запомнил ее. Потом они случайно встретились на улице (а может быть, Маша просто поджидала его), и он зашел в скромную комнату телеграфистки. После мелких, мучительных подробностей домашней жизни показалось так хорошо сидеть вдвоем с милой, пугливой девушкой, которая ловит каждое слово, как откровение. Латыгин обещал «заходить».

Следующий раз он прин́ес с собой скрипку. Маша слушала е́го игру с воспламененными глазами, опять разрыдалась и стала целовать руки композитора... Сама Маша не играла ни на каком инструменте, ие было у нее и голоса, чтобы петь, но музыка приводила ее в экстаз; сочинения Латыгииа оиа готова была слушать много раз подряд и всегда с иеизменным волнением. У «Моцарта» не много было слушателей, и он стал приходить к телеграфистке все чаще и чаще.

Потом все произошло так, как должно было произойти; Латыгину осталось только спросить: «Ты меня любишь?» — и Маша не поколебалась ни на минуту ответить: «Люблю» Впрочем, Латыгин иичего не скрыл от нее: сказал ей, что жеиат, что любит свою жеиу и дочь и не покинет их. Но Маша ничего не просила: она хотела лишь любви. Соблазн был слишком силеи: девушка молодая, миловидная, боготворившая Латыгина как гениального композитора, отдавала ему себя, свою любовь, свою невинность,— ибо она сумела остаться девушкой в суровых условиях трудовой жизни,— и иичего не искала взамен, ни денег, ни огласки. Латыгии все же поколебался: ои боялся, что Маша передумает, начнет требовать, ждать чего-то; ио потом взял этот дар судьбы, как, поколебавшись, можно в знойиый деиь сорвать яблоко в чужом саду.

Сначала Латыгин был даже немиого увлечен Машей. Она была молода, любила глубоко, скоро научилась отдаваться со страстью. Одно время Латыгин чуть не каждый день выбирал час, чтобы зайти к Маше. Ои ей играл и свои сочинеиия и вещи своих любимых композиторов; она плакала, слушая; после они опускали заиавески на окнах и с соблазнительным бесстыдством кидались на постель... Но уже месяца через три о связи «Моцарта» с телеграфисткой как-то прознали соседи; дошли слухи и до Мины. Последовали тягостные семейные сцены; видеться с Машей стало для Латыгина труднее. Да и наступило неизбежиое охлаждеиие чувства. Он стал приходить реже: дня через два, раз в иеделю, раз в десять дией...

Но все же приходил, потому что хотелось уйти куда-нибудь от многого, что окружало дома.

Маша покорно сносила холодность своего возлюбленного; если жаловалась и плакала, то редко и тихо. Но зато любовь ее все более переходила в жадную страсть. Теперь, когда Латыгин приносил с собой скрипку и играл, Маша боязливо-просительным взором следила за его рукой и терпеливо ждала мгновения, когда можно будет побежать к окнам и опустить занавески. Впрочем, она по-прежнему плакала над музыкой, но плакала как-то торопливо, чтобы не потерять нескольких минут ласк. Отмечая это, Латыгин чувствовал отвращение и тоску, и ему становилась ненавистной эта девушка, с ее слезами, с ее ненасытностью в наслаждениях, с ее обмороками после горячки ласк. Порой Латыгину хотелось избить Машу, когда она, в порыве сладострастного экстаза, целовала его ноги, называя его гением и богом музыки.

Сидя в трамвае, по пути к Маше, Латыгин сосчитал, что не был у нее уже 15 дней. Впрочем, за это время он послал ей письмо, всего в несколько строк, где писал, что болен (то была ложь), и назначал день, когда придет: тот самый, в который теперь и ехал к ней, один из ее «свободных» дней, когда она не была занята на телеграфе. В воображении Латыгина предстала бедная комнатка Маши, с дешевыми картинками по стенам и с большой кроватью за занавеской. «Неужели сегодня постель будет сделана и подушки по-особому взбиты, сейчас, в 11 часов утра?» — подумал Латыгин. Ему стало неприятно от этой мысли.

Надо было сходить; трамвай поворачивал в сторону, и до дому, где жила Маша, оставалось пройти еще пол-улицы. Латыгин шел медленно, раздумывая, не вернуться ли. У подъезда дома чувство томления еще усилилось. Преодолев себя, Латыгин поднялся на четвертый этаж, позвонил. Маша снимала «комнату от жильцов», и дверь отперла грязная, подоткнутая кухарка. Но уже на пороге своей комнаты, выходившей прямо в прихожую, стояла Маша.

— Родя, ты? Милый!

Маша охватила его плечи обеими руками и тут же в передней прильнула губами к его губам.

— Постой, что это! — недовольно говорил Латыгин, высвобождаясь,— ведь мы не одни.

Но подоткнутая кухарка, не обращая никакого внимания на целующихся, пренебрежительно уходила к себе, а Маша повлекла Латыгина в свою комнату.

— Пусть увидят, а я не могу! Почему ты так долго не приходил! Сам виноват, гадкий! Две недели не видала тебя!

В комнате Маши все было по-старому: те же убогие картинки на стенах, десяток все тех же книг на полке — чувствительные романы (да книга Фореля о половом вопросе),— две терракотовые головки на комоде и, за ситцевой занавеской, кровать с высоко взбитыми подушками и приоткрытым одеялом. Латыгину вдруг сделалось тоскливо до нестерпи-

мости; Маша показалась ему некрасивой, вульгарной; глаза невольно возвращались к этой сделанной постели, которую он уже видел в воображении. Маша что-то говорила быстро-быстро, продолжая целовать Латыгина, беря у него из рук скрипку, снимая с него пальто, но Латыгин не мог найти в ответ ни слова. Наконец, он сел, закурил папиросу (развлечение, которое редко позволял себе) и, чтобы как-нибудь выйти из тягостного положения, предложил:

— Я сыграю тебе свою новую вещь: написал за эти две недели.

Маша взглянула было испуганно и тотчас улыбнулась радостно. Латыгин про себя перевел это так: «Уверена, что игра — это прелюдия к опусканию штор». Ему стало еще досаднее, но все же он вынул скрипку и, сухо назвав: «Пляска медуз», заиграл.

Латыгин сознавал, что играет плохо; утреннего увлечения не было: звуки рождались мертвыми; море не светилось, и медузы вели хороводы лениво, нехотя, словно по приказу. Однако Маша, как всегда, разволновалась; глаза ее стали влажными, она вся вытягивалась, слушая, и под конец начала дрожать всеми членами, почти как перед припадком. Латыгин в последний раз провел смычком по струнам и опустил скрипку; ему был противен восторг Маши, смотревшей на него восторженным взором.

— Родя! Это — божественно! Это — необыкновенно! — проговорила, наконец, Маша с каким-то страдальческим умилением.— Лучшего ты еще не создавал. Ты — мой бог!

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» — вспомнилось Латыгину, но восхищение Маши не трогало его. Она же, став перед ним на колени, смотрела снизу влюбленными глазами в его глаза и продолжала твердить восторженные слова: «Ты — победитель, ты — выше всех, ты — царь музыки!» Потом Маша приникла к нему всем телом, ласкаясь, стараясь поцеловать его грудь, его шею.

Латыгин хорошо знал, к чему ведут эти приемы, и ему опять стало тоскливо и скучно. Глаза опять пробежали по приготовленной постели. Показалось невыносимым совершить весь обряд любви, притворяться счастливым, когда в душе — злоба и уныние. Он вдруг встал, отстранил девушку, сказав:

— Ты не сердись. Мне сейчас надо уйти. Я пришел только потому, что обещал и чтобы сыграть тебе свою «Пляску». Видишь ли: это — очень важно, я поступаю в театр, и вот сейчас у меня деловое свидание.

Маша осталась на коленях, на полу; ее глаза вновь наполнились слезами, руки безвольно повисли; минуту она не могла ничего выговорить, потом прошептала покорно:

— Ты уйдешь? Ведь мы две недели не видались.

Латыгину стало жаль Машу, жаль по-настоящему; она ему показалась такой нежной и милой, и ее покорность побеждала в нем все другие чувства. Но тотчас он подумал, что лучше унести с собой этот образ, чем исказить его, под-

давшись состраданию. Подняв Машу с колен, Латыгин ее любовно обнял, поцеловал в губы и постарался утешить.

— Девочка моя, мне правда необходимо уйти. Но я приду послезавтра, ведь ты — свободна? Приду надолго, на весь день. Я тоже очень, очень соскучился без тебя. Ну, прости меня, поцелуй.

Но он видел, что губы Маши дрожат и по лицу пробегают легкие судороги. Латыгин уже убедился, что это — признаки начинающегося нервного припадка. Надо было поторопиться и уйти раньше, чем он начнется: иначе придется целый час, а может быть, и больше успокаивать рыдающую девушку. Поспешно, делая вид, что ему крайне некогда, Латыгин еще раз расцеловал Машу, надел пальто, взял скрипку и, прощаясь, повторил обещание прийти через день.

Маша, видимо, делала отчаянные усилия, чтобы сдержать себя. Губы ее кривились, плечи содрогались. «Без меня она будет биться в припадке, и будет одна, совсем одна!» — в тоске подумал Латыгин. Но остаться было страшно. Он почти побежал к выходной двери. Маша, совсем бледная, сняла дверной крючок; Латыгин в последний раз поцеловал ее руку и вышел. Ему было слышно, как Маша заперла дверь и пошла к себе. Потом послышался стук от падения тела: должно быть, девушка упала на пол в истерическом припадке.

Мгновение Латыгин колебался, не вернуться ли; потом стремительно побежал вниз по лестнице; на улице он вздохнул полной грудью, словно освободившись от кошмара.

6

У Латыгина оставалось еще одно дело, которое он тоже желал скрыть от жены: надо было зайти на почту и получить письма от Адочки, которая писала ему на условные литеры до востребования.

С Адочкой Латыгин познакомился больше двух лет тому назад, в последнее счастливое лето своей жизни. Он был тогда приглашен в товарищество «Черный Лебедь», совершавшее артистическое турне по провинции. Организован был небольшой оркестр; из его же состава выделилось трио и квартет; некоторые выступали солистами; принимали участие в поездке еще две певицы и певец, с небольшим, но приятным тенором. Репертуар был составлен преимущественно из вещей новых, в провинции мало известных, но уже прославленных молвой, в том числе Рихарда Штрауса, Дебюсси, Фора, молодых русских композиторов, и афиши составлялись боевые. Турне удалось, как редко удаются такие поездки, и на долю каждого участника, при конечном дележе сбора, досталось по несколько сот рублей, а главным солистам — до двух тысяч.

Латыгин играл в оркестре первую скрипку, но участвовал также в квартете и выступал солистом, исполняя собственные произведения. В некоторых городах, притом больших,

Латыгин и его музыка очень понравились публике: были вызовы, овации, подносились цветы, газетные рецензенты писали о «восходящей звезде». Был момент, когда Латыгину казалось, что это — правда, что судьба, наконец, благосклонно улыбнулась и что теперь начнется быстрое восхождение по лестнице славы. Но турне кончилось, «Черный Лебедь» распался, и все как-то позабыли, что еще недавно расточали похвалы скрипачу и композитору Родиону Латыгину.

Особенный успех на долю Латыгина выпал в Одессе, хотя царица Черноморья слышала и лучших виртуозов Европы. «Черный Лебедь» устроил в этом городе четыре концерта, и на каждом из них Латыгин был предметом оваций; ему столько аплодировали и так много заставляли играть bis, что это возбудило даже зависть товарищей. Все же благодаря этому успеху и прекрасным сборам, товарищество в Одессе задержалось, и Латыгин был этому рад, так как в городе встретило его неожиданное приключение.

На первом же концерте, когда Латыгин отдыхал после шумного успеха своего solo, ему представили молодую девушку, Аду Константиновну Нерноти, которая непременно желала сама выразить свой восторг скрипачу и поднести ему букет цветов. Аде было лет 18—19, но она, хотя на вид была даже моложе своих лет, держала себя с редкой самостоятельностью и некоторой эксцентричностью. При первом же знакомстве она выразила желание приехать к Латыгину, чтобы он сыграл что-нибудь для нее одной. Девушка просила об этом с такой самоуверенностью, словно об отказе не могло быть и речи. А Латыгину, опьяненному успехом, все представлялось в то время естественным: и то, что им так восхищаются, и то, что девушка из хорошей семьи хочет приехать к нему в гостиницу; он — позволил, как если бы вопрос шел об чем-то самом обыкновенном, что случается с ним каждодневно.

На другой день Ада пришла к Латыгину, но не одна, а в сопровождении прислуги, которая, впрочем, осталась в коридоре. Ада была дочь местного купца-грека, довольно богатого, давно обрусевшего и давшего единственной дочери хорошее образование. Повторив Латыгину изъявление своего восторга, Ада стала просить скрипача давать ей уроки: она уже раньше начала учиться играть на скрипке. Хотя «Черный Лебедь» в лучшем случае мог провести в Одессе недели три, Латыгин согласился: так понравилась ему красивая гречаночка, с пламенными глазами, с изгибчивым станом, с повадкой не то капризной девочки, не то искушенной соблазнительницы. Впрочем, Латыгин все те дни жил как бы в непрерывном опьянении и все считал доступным и дозволенным.

Ада стала приходить каждый день, сначала в сопровождении горничной, а потом и одна. Уже на третьем уроке Латыгин целовал руки своей ученицы, а на следующий день — обнял ее, привлек к себе и стал целовать в губы и в глаза. Ада не испугалась, не рассердилась, даже не затрепетала

той дрожью, какой трепещут девушкн, когда мужчнна впервые прнкасается к их телу. Латыгни ие мог поиять, что это: беспредельность иевииности нлн привычка опытиой женщииы. Но надобно было объяснить свой поступок, н Латыгни сказал:

— Я вас люблю.

Оин были зиакомы всего неделю, но времени было мало: деиь отъезда уже был иамечеи, и медлить не прнходилось. Ада, в ответ иа прнзнание Латыгнна, положила ему на грудь свою голову н своим полудетскнм голосом сказала столь же просто:

— И я вас полюбнла, как только увндала.

В тот день, вместо урока, онн только целовалнсь, и, в конце иазначениого часа, Латыгнн уже посаднл Аду к себе на колени, говорнл ей «ты» и, в увлечеинн страсти, клялся, что инкого ие любил раньше и инкого не любит больше. Ои не скрыл, что женат, ио сказал, что давно ие живет с женой, говорил миогое другое, что в такие мниуты говорят мужчнны. Ада делала внд, что вернт, а может быть, и верила в самом деле, потому что была очень молода.

В одни из следующнх дней Латыгин уже имел право называть Аду своею. Ои ие был иеопытным иовичком в делах любвн, ио — странио — инкогда после ои не мог уясиить себе, был ли ои первым возлюблеииым Ады, или эта 19-летняя девочка уже раньше нзведала мужские ласки. В ней детская робость сочеталась с жеиской страстиостью; как-то удивнтельно быстро от первых порывов стыда, отчаянья, почтн отвращення оиа перешла к бесстыдству наслаждений н откровенности желаннй. Их свидаиня были постояниой борьбой, в которой любовник должеи был преодолевать страх и смущенне своей любовинцы, чтобы после увндеть себя побежденным затаениой иастойчивостью иеиасытиой гетеры... В этом был какой-то особый соблазн, от которого Латыгии терял голову: он сам начниал верить, что все счастие его жнзни — с Адой.

Подошел день отъезда «Чериого Лебедя», ио Латыгни ие мог примнрнться с разлукой. Ои обещал скоро вернуться и сдержал слово. Товарищество дало еще иесколько коицертов в южных городах, после чего разделилось: иебольшая группа поехала иа Кавказ, другие, в том числе Латыгии, выделнлнсь, получнв свою долю сборов. У Латыгииа составилось около полутора тысяч рублей, когда ои тайио вериулся в Одессу. Из этих деиег ои послал иесколько сот жеие, дожидавшейся его в Х., и в письме сочиннл какую-то фантастнческую нсторию о иеобходнмости поехать в Крым. После того почти на два месяца Латыгни исчез.

Ннкто, даже блнзкне друзья, не зиалн, где иаходится Латыгнн; он ннкому не пнсал, инкого ие нзвещал о себе, он жнл incognito в гостиннце, позаботясь, чтобы иа доске прнезжнх ие стояло его имени; выходнл иа улнцу только по вечерам, пряча лнцо от случайных зиакомых; обедал у себя в комнате нлн в малеиьких кухмистерских. Каждый день к Ла-

тыгину приходила Ада, и они проводили часы в радости любви, не желая ничего другого, не ища ничего более, не жалея, что у них нет других развлечений. Когда любовники уставали целоваться, Латыгин брал скрипку и играл свои композиции, которые сочинял, ожидая Аду. Все это было опять похоже на сказку или на рассказ Эдгара По,— эта жизнь без людей, в одной комнате, без солнечного света, потому что почти всегда были опущены тяжелые шторы. На столе стояли цветы, фрукты, вино, какие-нибудь утонченные закуски: омары, икра, сыр,— а потом была музыка, полумрак, ласки, счастие, и не было людей, не было внешнего мира. Проходили дни и недели, как в зачарованном дворце.

Конечно, любовникам случалось говорить о своем будущем, но тоже как-то отвлеченно, как разговаривают герои сказок. Любовники строили планы, как будут жить вдвоем на Лазурном берегу, в вилле, под шум Средиземного моря и в прохладе лавров, или как поплывут в яхте среди островов Архипелага любоваться развалинами мраморных храмов и фиолетовых скал. Ада не спрашивала, возможно ли это: может быть, она составила преувеличенное представление о богатстве Латыгина, видя, как он свободно разбрасывает деньги. Сам Латыгин тоже не задумывался, осуществимы ли его мечты: ему было слишком приятно воображать себя вместе с Адой среди пленительной роскоши Италии или Эллады. А если наедине перед Латыгиным и вставали неотвязчивые вопросы повседневности, он их отгонял, откладывал, уверяя себя, что еще успеет все обдумать. Надо будет поехать к жене, пережить тягостное объяснение с ней, а потом — давать концерты, писать и собирать дань с восхищенного мира. Бывают такие периоды в жизни, когда все представляется доступным, а впрочем, Латыгин не то чтобы был убежден в своем предстоящем успехе, а просто убаюкивал мечтами самого себя, как и Аду.

Облегчало положение то, что Ада была связана со своей семьей, не свободна. Ей приходилось придумывать тысячи хитростей, чтобы каждый день приходить на свидание. Об том, чтобы уехать с Латыгиным на Ривьеру или в Грецию, она не могла и думать. Положение Латыгина было выгодно: он мог упрашивать, уговаривать, но Ада, в смущении, порой со слезами, отказывалась, просила прощения, твердила, что не в силах оставить бабку и бросить отца. Со стороны Латыгина тут не было сознательного расчета; он почти искренно умолял Аду — решиться, кинуть все и уехать с ним теперь же, сегодня же. Но, если бы Ада вдруг нашла в себе решимость и согласилась исполнить просьбу, Латыгин оказался бы в очень трудном положении. Однако споры всегда кончались примирением: любовники опять сжимали друг друга в объятиях, улыбались, плача, и повторяли без конца:

— Но ведь нам хорошо! мы счастливы! так счастливы, как никто на земле! чего же больше!

Так прошло шесть недель. Деньги, которых Латыгин не

берег, приходили к концу. Вместе с тем Латыгина тревожила мысль о жене и дочери: он не знал, что с ними, и опасался, что Мина начнет его разыскивать. Во всяком случае длить беспредельно странную жизнь, всю отданную одним ласкам, было невозможно; Латыгин откладывал так долго, как то было возможно, наконец, сказал Аде, что им необходимо на время расстаться, что он поедет, чтобы устроить свои дела, и после того вернется к ней навсегда.

К удивлению Латыгина, Ада приняла его признание спокойно. Она совершенно поверила или сделала вид, что совершенно верит объяснениям своего любовника. Конечно, были слезы, были трогательные слова, были клятвы: Ада заставила Латыгина поклясться ей, что он никогда не поцелует более ни одной женщины, и сама поклялась быть ему верной во всем — в поступках, в словах, в помыслах. Латыгин осторожно намекнул, что не может точно определить срок разлуки: может быть, удастся вернуться скоро, через несколько дней, а может быть, обстоятельства заставят промедлить ряд недель,— как знать! — даже месяцев.

— Я только хочу знать,— сказала Ада,— что ты вернешься. Если я буду уверена, что ты там, без меня, стараешься для нас, чтобы мы были вместе,— я буду ждать. Но если ты мне изменишь, я в тот же день умру.

Они обещались писать друг другу на условные адреса. День последнего свидания был днем слез, ласк, восторга, отчаянья, хаоса чувств и слов. Ада нашла возможность проводить Латыгина на вокзал. До последней минуты она стояла на подножке вагона; когда поезд уже трогался, она при всех охватила своего возлюбленного руками, прижалась к нему впивающимся поцелуем, потом зарыдала и, не оглядываясь, побежала прочь.

Уезжая, Латыгин сам не знал, насколько правды и насколько лжи во всем, что он говорил Аде. Внешностью своего сознания он верил, что разойдется с женой и вернется к Аде; в глубине души — знал, что этого не будет. Впрочем, поехать прямо к жене Латыгин не решился. Он остановился в промежуточном городе С., и случилось так, что там он заболел,— отчасти, может быть, под влиянием нервного потрясения от всего пережитого. Болезнь пришлась кстати: Латыгин написал жене длинное письмо, в котором как-то сбивчиво объяснил свою жизнь за два последних месяца и извещал, что лежит больной в С. Мина тотчас приехала.

Первые дни не было времени для объяснений: Латыгин был в лихорадке, страдал; казалось, что его болезнь — опасна. Может быть, Мина о многом догадалась из бреда больного, но после она никогда ни об чем не расспрашивала. Едва Латыгин стал поправляться, Мина увезла его в Х.; вообще в эти дни она проявляла неожиданную и несвойственную ей энергию и распорядительность. В Х. Латыгины думали провести только некоторое время и поселиться в Москве или Петрограде. Но то было лето 1914 года. Разразилась война.

Все расчеты спутались. Предложеиия, которые делались Латыгииу антрепреиерами, были взяты обратио. И ему пришлось остаться в Х. на неопределеиное время.

Сиачала Латыгии аккуратно каждый день прнходил иа почту за письмами от Ады. Болезнь, которую Латыгин в письмах мог преувеличить, давала ему правдоподобное объясиеиие, почему пришлось отсрочить осуществлеиие их плаиов. Потом таким же объясиеиием служила войиа и связаииые с иею обстоятельства жизни. Латыгни пнсал, что сейчас ие может устроить своих дел, ие может бросить жеиу без всяких средств, что иадо ждать коица войны. Но в каждом письме иастойчиво повторял свон прежние обещаиня, писал о своей страстиой любви, клялся, что остается вереи Аде и что живет только мечтой о тех диях, когда оии вновь будут вместе.

Письма Ады тоже были страстиы и наполиены призиаииями в любви. Одио время Латыгнн готов был думать, что Ада легко забудет его, что оиа только прнтворялась, что верит его обязательству — вериуться. «Былн у этой девчоики-гречаики любовинкн до меня, будут и после меня!» — зло говорил сам себе Латыгни. Но письма Ады должны были его разуверить. Длнниые, по 8—10 страииц, написаииые небрежиым, детским почерком, который Латыгин плохо разбирал, эти пнсьма были оживлены той искренностью, какую подделать иевозможио. После страстиых уверений, порой переходивших почти в бесстыдство, в письмах стала звучать мучительная тоска разлуки; Ада жаловалась в выражеииях сдержаииых, подавлеиных, но горьких; оиа повторяла, что согласна ждать, но было вндно, что ей больио, что ей тяжело, что ей страшио.

Тем временем Латыгнн сблизился с Машей. Разумеется, он ии словом ие намекнул на это Аде. Но с каждым дием ему становилось все трудиее писать ей. Он стал посылать ей пнсьма через день, через два, раз в неделю,— прнтом письма, составлеииые из условиых выражений, повторяющне прежиие прнзиания, в сущиости не говорящне ничего. Но это ие зиачило, что Латыгин забывал Аду. Напротив, в тягостиых условиях его жизии образ Ады становнлся для него все более и более дорогим. Ои с болезненной ясиостью помнил ее детскую красоту, ее точеное тело, ее стыдлнво-бесстыдиые ласкн. Когда в воображении он сравннвал кроткую, замученную Миину илн некрасивую нстерничную Машу с той плеинтельной гречанкой, ему становнлось душио: казалось, что нз мира божественной Эллады он перешел в грубую, оскорбительиую область действительиости. Ада все более становилась для Латыгииа мечтой, ндеалом, н ее пнсьма, которые он скорее угадывал, чем прочнтывал,— еднлственным лучом в серых, томительных буднях.

Так длнлось месяцы. Латыгнн пнсал Аде затем, чтобы получать ее письма. Ее пнсьмами он упнвался; он по-детски плакал над нимн; онн былн для него воплощеинем всего прекрасного в его жнзни, его легендарным прошлым, столь не похожим на тусклое настоящее... Что Ада — жнвое сущест-

во, что она в самом деле ждет, надеется, страдает, Латыгни почтн не сознавал. Ои так же мог бы перепнсываться с воображаемой женщииой. Эта перепнска была мечтательным романом, и, наполняя свои пнсьма клятвамн, увереннямн, фантастнческнмн планамн жнзнн вместе, Латыгнн уже не думал что эти обещания к чему-то обязывают...

И вдруг — тои пнсем Ады резко нзменнлся. Она нзвещала, что ее отец решнл выдать ее замуж. Она сообщала об этом Латыгнну кратко, обрывнсто н проснла его совета. Латыгин смутился. Он напнсал в ответ какне-то ннчего не значащне слова, напомннал Аде ее клятвы — быть верной, ждать, но в тайне душн, хотя и с мучнтельной болью, думал, что все это — лучшая развязка положення, нз которого не было выхода.

7

Получать пнсьма Ады было для Латыгина всегда тяжелым делом. Почтовые чнновники знали «Моцарта» в лнцо н лукаво улыбалнсь, подавая ему маленькие конвертнкн с условнымн лнтерамн на адресе. Иногда в толпе, наполнявшей почту, оказывались знакомые: это было еще мучительнее. Латыгин старался тогда сделать вид, что получает какие-то незначительные, не интересующне его письма, но это ему удавалось плохо.

По дороге от Маши до почты Латыгии успел обдумать, что ответнть Аде (он и ответы пнсал обычно на почте же: дома трудно было утаиться от жены). Латыгин решнл, наконец, написать всю правду. Довольно притворяться, довольно лгать! Все равно в будущем ничего лучшего не будет! Пусть Ада выходнт замуж. Зачем, радн пустых нллюзнй, перестранвать всю ее жнзнь!.. Впрочем, уже сколько раз раньше Латыгин прнннмал такое решенне!

На почте Латыгии уже не был дней пять-шесть. Однако чнновннк, улыбаясь, подал ему всего одно пнсьмо — обычный маленькнй голубой коиверт, на котором тороплнвым, характерио женским почерком Ады был нацарапан адрес. Отойдя в сторону, Латыгнн прочел пнсьмо.

«Мой мнлый, мой дорогой, мой, едннственный,— пнсала Ада,— знай: я решилась. Я спрашнвала тебя несколько раз, не разлюбнл ли ты меия. Я спрашивала тебя много раз, не являлнсь лн какие-ннбудь препятствня к тому, чтобы мы былн вместе. Ты мне всегда отвечал: нет, нет. Ты уверял меня, что только хлопоты по разводу задержнвают тебя. Я тебе поверила. Я верю. Но я ие могу больше жить без тебя. Я более ие могу жнть в доме отца, где требуют, чтобы я вышла замуж, когда я — твоя жеиа. Итак, слушай. Я ухожу из этого ненавистного мне дома, который не считаю родным. Мие все равио, получнл ты развод илн иет, даже все равно, получишь

его или нет. Я теперь — совершеннолетняя и могу сама располагать своей судьбой. Я решила жить с тобой, потому что мы любим друг друга, потому что мы муж и жена, потому что это наше право. Я буду жить с тобой открыто, если ты хочешь, тайно, если ты предложишь, но только с тобой! с тобой! потому что ни с кем другим я жить не хочу и не могу. В среду, заметь это, в среду утром я уеду из О. и в четверг буду в Х. Встреть меня на вокзале и тогда сделай со мной все, что захочешь. Милый, хороший, единственный, прости меня, если мой поступок причинит тебе беспокойство, но я не могу иначе, понимаешь, н е м о г у. Я должна быть с тобой, иначе я больше не могу жить.

Обнимаю тебя тысячу раз, целую и вся полная счастием от одной мысли, что скоро в самом деле буду целовать тебя.

Твоя, твоя и только твоя

Ада».

Дальше следовали слова P. S.

«P. S. 1. Если ты не хочешь, чтобы я приехала, телеграфируй немедленно. Я буду знать, что делать.

P. S. 2. Если я не найду тебя на вокзале, я поеду прямо к тебе и пошлю кого-нибудь тебя вызвать».

Латыгин, как безумный, перечитывал это письмо. Хаос мыслей крутился в его голове. Ада пишет, что в четверг она будет в Х. Но сегодня именно четверг. Он шесть дней не был на почте. Теперь поздно телеграфировать. Даже, кажется, поздно ехать на вокзал. Поезд приехал...

Латыгин нервно бросился на улицу. У первого газетчика он купил газету. Скорый поезд из О. приходил в половине первого. Сейчас было уже пять минут первого. Что делать? Спешить на вокзал? Он мог опоздать, в 25 минут, пожалуй, не доедешь, но он — в двух шагах от дому... Спешить, бежать домой, чтобы Ада не появилась там раньше его.

Латыгин ни об чем не думал! Одно лишь помнил он: поспешить вовремя, предупредить встречу Ады с женой. Наняв извозчика, Латыгин взял его, не торгуясь, и велел ехать к дому скорей. Через несколько минут он был дома и тотчас, бегом перебежав двор, был почти у себя. Слава богу! значит, не опоздал.

Нина была занята на кухне, готовила что-то. В минуту волнения мысль работает быстро. Пока Латыгин бежал по двору, он успел создать ход действий. Он вспомнил несколько слов, слышанных накануне у Карповых, и на них построил свой план.

Стараясь придать себе беспечный вид и скрывая волнение, Латыгин дружественно поздоровался с женой, ласково упрекнул ее за то, что она хлопочет излишне, а потом средь разных незначительных фраз сказал ей:

— А у меня к тебе большая просьба. Я не зашел сегодня к Карповым, так как меня расстроили у Андроновых, душа

была ие расположена. Но все-таки я думаю предложением Меркиисоиа воспользоваться... И вот что я думаю. Жеиа его, Аииа Васильевиа, больна: он это вчера говорил. Что́, если бы ты зашла ее иавестить? Меркинсон поиимает, что мы во миогом стоим выше их, что только случайиость заиесла иас в их среду, и твой визит очень польстил бы их самолюбию. А иам потом это оказалось бы на пользу, так как от Меркинсоиа зависит миогое.

Миил очень иеохотио согласилась иа просьбу мужа. Оиа ссылалась и иа то, что никогда ие бывала у Меркинсоиов, и иа то, что у иее сегодия миого дел по дому, и иа то, что, в коице концов, такой визит все же униизителеи. Латыгин иастаивал ласково и кротко:

— Ну, сделай это для меня... А без обеда сегодия мы как-иибудь обойдемся.

Миил иикогда ие умела отказать мужу; согласилась оиа и иа этот раз, хотя весьма иеохотио. Для визита, одиако, ей иадо было одеться. Латыгии с тревогой поглядывал иа часы, пока оиа причесывала волосы, надевала другое платье, переменяла башмаки... Сердце Латыгиил билось учащеиио: разиица в пяти минутах может погубить все, ио он ие смел выразить своего иетерпеиия и даже счел должиым сказать:

— Впрочем, если тебе это так неприятио, можешь не ходить...

— Нет, если ты уж так этого хочешь...

Накоиец Миил была готова, в пальто, в шляпе; Латыгии любовно проводил ее до выхода, поцеловал ее иежио и просил возвращаться скорее:

— Ты только спросишь ее о здоровьи, посидишь мииут пять, и больше иичего не иужио. Поверь, это произведет свое впечатлеиие.

Доводы были иеубедительиы, ио Латыгии просил так настойчиво, что Миил решила исполиить его страииый каприз. Так ей казалось... К тому же муж был так мил, так ласков, каким давио уже ие бывал. Миил в ответ тоже поцеловала его и сказала ласково:

— А ты отдохии, иельзя работать целый деиь, я вериусь скоро и успею приготовить обед и для тебя и для Лизочки.

Дверь за Миной захлопиулась. Латыгии торопливо взглянул иа часы. Если поезд ие опоздал, Адочка была в Х. половииа первого. На вокзале оиа должиа будет прождать иесколько миiут, высматривая, ие встречает ли ее Латыгии. Потом поездка от вокзала до квартиры Латыгиил иа хорошем извозчике займет ие менее 20—25 миiут, а вероятио, и все полчаса. Итак, есть еще 5—10 миiут времени.

Латыгии облегчеиио вздохиул. Во всяком случае роковую встречу он сумел предотвратить. Теперь иадо было подумать, как вести себя с Адой...

Но, чтобы обдумать это, ие хватало времеии. Спешио иадев пальто, Латыгии вышел к воротам: тотчас, в ту же минуту он увидел Аду, которая подъезжала иа извозчике с иебольшим чемодаиом в руках...

В первый миг, когда Латыгин увидел Аду, с которой не встречался два года, у него захватило дух! Ада была все той же, как и в их блаженные дни. Это была та же девочка, которой можно было дать 15—16 лет, несмотря на ее совершеннолетие. Это было то же детски наивное лицо, тот же здоровый детский румянец, те же темные пламенные глаза, тот же отточенный эллинский нос мраморной Психеи, те же змеи черных, беспросветно-черных, сверкающих на солнце, как металл, волос... И все былое залило душу Латыгина, как река, прорвав плотину, затопляет берега; смыло сразу, как шаткие построения, все впечатления двух последних лет, овладело душой полновластно; отпрянули, как зыбкие следы, все недавние соображения и выводы... Прошел всего один миг, и Латыгин был всецело во власти прошлого.

Латыгин чувствовал такую слабость, что должен был прислониться к забору, чтобы не упасть. «В глазах потемнело, я весь изнемог»,— сам вспомнил он стих Пушкина. Ада, остановив извозчика на углу переулка, шагах в ста от Латыгина, сошла с извозчика и стояла, оглядываясь, вероятно, выискивая, кому бы поручить письмо для передачи Латыгину. Маленькая, изящная, она была чудесным видением среди этих слишком знакомых домов, среди этой слишком знакомой неряшливой улицы, в этой слишком знакомой обстановке грязной мостовой, пошатнувшегося забора, чахлых деревьев бульвара, мелочной лавчонки на углу... Не видя никого, Ада растерянно шагнула несколько шагов вперед — и, встретив Латыгина, бросилась к нему.

Одну минуту Латыгин хотел упасть перед Адой на колени; потом ему страшно захотелось схватить ее в объятия, как маленькую девочку, сжать, зацеловать; потом он вспомнил, что сейчас день, что кругом все его знают, начиная с лавочника на углу и городового на посту. И еще после он вдруг сообразил, что не успел подумать о своей наружности, что он — в истертом пальто, в старой шляпе, с непобритыми усами и уж, конечно, без тех духов, какими когда-то душился, ожидая появления Ады. У Латыгина даже мелькнула ужасная мысль: узнает ли его Ада? Узнает ли своего возлюбленного, блестящего концертного виртуоза, изящного заезжего гастролера в этом скромном, бедно одетом обывателе? Эта мысль почти окаменила Латыгина, и его стремительный шаг оборвался, так что он остался неподвижным в двух-трех шагах от Ады. Но тогда его увидала она и вдруг с ласковым криком бросилась к нему.

Все исчезло, все позабылось, все смешалось. Латыгин целовал руки Ады, не замечая, как самодовольно ухмыляется лавочник, высунувшись из-за дверей с рекламируемой папиросой «Сэр»; Латыгин что-то говорил Аде, не слыша, что дворник довольно громко острил на его счет по поводу приезда «мамзели»... И Ада что-то отвечала, также, должно быть, не слыша и не видя ничего. Потом Латыгин чуть-чуть опомнился, огляделся и поспешно повел Аду за собой.

— Пойдем же, пойдем...

— Куда?

— Сюда! Пойдем! Я в одиночестве! Сейчас ннкого нет. Жена уехала... Идем.

Как-то иескладно Латыгнн повел Аду через нх грязный двор, отворил дверн н подиялся с ней по лестиице. Ада иесколько нзумленно смотрела на бедную обстановку жнлья своего возлюбленииого. Латыгин взял нз рук Ады чемодан, положнл его в стороиу, хотел предложнть ей сесть, но вдруг нервы его ие выдержали н он зарыдал, зарыдал обо всем: о своей иищете, о своих обманах, о своем будущем, н о себе самом, н о своей возлюблеиной.

И, поддавшнсь влиянню этнх слез, Ада тоже, прежде чем оиа успела обдумать все, что увндела, зарыдала тоже н упала на грудь своего любовннка.

— Ах! — лепетала она, плача,— мнлый Роднон! два года! два года я не видала тебя! Что я выстрадала за это время! Без тебя! одна! Меия все притесняли! Все мучнли! Никто не мог меня защнтнть! И ты был далеко! Каждый день была пытка! И дни шлн один за другнм, много дней, много дией, много, много, миого...

Оиа повторяла это слово, рыдая:

— Много, миого, много, много...

Латыгнн обиял ее, посадил к себе на коленн, целовал ее глаза, ее рукн; блаженство влнвалось в его грудь, в его душу, блаженство, словно некнй ореол, окутало его голову сняинем; он был счастлив в ту минуту, как давно, как двадцать четыре месяца тому назад. Не хотелось думать нн об чем, не хотелось открывать глаз, но хотелось вндеть перед собой светозариые дали мечты, днвно-торжественные аркн, переходы н залы во дворцах сияющих грез, н Латыгнн тверднл, опьяненный:

— Вот мы опять вместе, вот вндншь, ты не вернла, что мы будем вместе, ио это свершнлось! Мы вместе, мы двое н теперь навсегда. Навсегда, иавсегда. Ты — моя! Ты — моя жена! Да? Моя? ведь так? Моя жена, любовннца моя! Узнай меня. Я — тот же, я — твой Роднон, я — твой мальчнк, я — люблю тебя по-прежиему, н даже больше прежнего, люблю безмерно, безграннчно, люблю, чтобы любнть вечно! Ты — моя, н я — твой!

Она плакала с какой-то безнадежностью, и он плакал от горя и от счастья. Оин целовали друг друга, и влажные губы скользилн по влажным щекам. Слезы н поцелуи смешивалнсь в одно, словно влага и пламя, н иа мнг все стало какнм-то несбыточным сном.

8

Но часы в столовой стучалн свое тнк-так. Но перед глазамн Латыгнна была прнвычная обстановка его столовой. На столе лежалн груды его рукопнсей, около — учебные кннж-

кн дочерн. В углу стоял дорожный чемодан Адочки. С минуты иа мииуту могла прийти Лизочка и могла вериуться жена.

— Что же будем делать? — первая спросила Ада, опять растерянио глазами обегая скудиую обстаиовку квартиры. Латыгину было до боли стыдно следить за этим взглядом и вместе с ннм останавливаться иа дешевых стульях, найдениых у старьевщика, на поломаином столе, кушетке, купленной по случаю, иа герани иа окне, гравюре «Бетховеи играет», на этажерке, где стояла дешевая посуда, на гардииах иеумелой, грубой домашией работы. Ада словио силилась понять, что все это означает, а Латыгин употреблял все усилия, чтобы не дать ей нн во что вдуматься.

— Что же мы будем делать? — спросила Ада.

Латыгии осторожно сиял Аду со своих рук и встал.

— Ты прнехала ко мие иавсегда? — твердо спросил ои.

Ада опять заплакала, заплакала безвольио, как безвольно льется ручей из своего нсточиика, заплакала иеудержимо, выплакивая все горе, все обиды, которые пережила за два года своего тоскливого одиночества.

— Навсегда! иавсегда! — отвечала она, опять сквозь слезы.— Я без тебя жить не могу. Я решнлась. Если ты меня прогонишь, я умру.

— И ты — права,— твердо сказал Латыгин,— мы не можем жнть розно. Я был трус, я был негодяй, я был низок, что до сих пор оставался вдали от тебя. Ты меня пристыдила, Ада, ты — лучше, ты — мужественнее, ты — благороднее меня. Ты поступила так, как должна была поступить. Это я должен был, несмотря нн на что, прийти к тебе. Но пришла ты. Все равно. Мы больше не расстанемся!

Он говорил то, что думал. Он был совершенио увереи в том, что говорил. Ада смотрела на него восторженными глазами, только на мнг переставая плакать, но тотчас зарыдала опять, словно ключ ее слез был неисчерпаем.

— Значит, ты меня не прогонишь?

— Я? прогоню тебя? боже мой! Я боюсь одного: что ты меня отвергнешь! Быть с тобой! Ведь это же мое блажеиство. Так оно было, так оно есть, так будет всегда! Ты страдала в разлуке. А разве я не страдал? Что выстрадал я, этого ты не знаешь и ннкогда не узнаешь! Но все прошло, как туча, которую проиес ветер. Мы вместе! Мы вместе и опять навсегда.

— Правда? — воскликнула Ада, простирая к нему рукн,— правда? навсегда? навсегда? н вместе?

...Латыгнн вдруг вспомиил их давнюю клятву.

— А помиишь,— сказал он,— т о т п о ц е л у й, который мы обещали друг другу прн свидании?

— Ах, да!

И Ада, улыбаясь опять, как маленькая девочка, обняла его и, прижавшнсь губами к его губам, не отпускала долго, впиваясь медленно и сладострастно. Теперь ее лнцо было весело, она беспечно хохотала, оиа веселилась, ио он помнил, что надо торопнться.

— Идем скорее,— сказал он.
— Как идем? Куда?
— Мы ие можем оставаться здесь.
— А почему?
— Но, боже мой, сейчас вериется моя жена.
— Жеиа?

Выразительиое лицо малеиькой гречаики тотчас омрачнлось. Оиа словно забыла о том, что Латыгин женат, что она здесь не у себя дома. С вндимым уснлием Ада переспросила:

— Значит, мие нельзя быть с тобой? Ты меия от себя прогонишь?

— Нет! Нет! — со страстью воскликнул Латыгнн.— Нет! ты будешь со мной, нлн, лучше сказать, я буду с тобой. Но ие здесь. Да я и ие хочу, чтобы ты была здесь. В этом доме все полно другим, чужнм тебе, что я хочу забыть. Уйдем отсюда. И скорее. Уйдем, н уйдем иавсегда. Уйдем, чтобы иавсегда быть вдвоем.

Ада смотрела иа своего возлюблеииого, не понимая. Латыгин же хлопотливо и усердно стал что-то собнрать. Потом деловым голосом спросил:

— С тобой только этот чемодаи?

— Да, только этот,— отвечала Ада н тотчас добавила: — Я не могла захватить ничего больше. Это вызвало бы подозреиие. И так отец...

Латыгин прервал ее:

— Хорошо. Нам ничего и не иадо. Мы все создадим снова! Все от самого начала, так будет лучше. Но идем.

Латыгии загляделся. Ои думал об том, что взять с собой. Мелькиули мысли о разиых иебольших предметах, о костюмах, белье, бритве н других туалетных прииадлежиостях... Но тотчас ои отклоинл эти мысли: не было времени собирать такие вещи, да и некуда было их положить. Одио казалось взять иеобходимым: это его рукописи...

Латыгни достал старый саквояж, не разбнрая всуиул в иего все тетради иотиой бумагн, паспорт, положил скрипку; сунув рукописи отдельно, быстро прошел в спальию и, вернувшись, добавил к взятому иебольшой пакет, где были папиросы, бритва, носовые платки и кое-что еще попавшееся ему под руку из белья. Потом, сев за стол, Латыгин иачал было писать жене письмо, но, иаписав иесколько строк, разорвал и бросил. Нет, у иего не было времеин объяснять. Он взял другой лист бумагн, иаписал одио слово: «прощай» н подписал: «твой Родион»; потом, стараясь, чтобы этого не увидела Ада, всуиул в письмо две десятнрублевых бумажки, запечатал конверт и четко написал сверху: «Мине Эдуардовне Латыгииой». Потом вдруг несколько раз огляделся кругом. Часы пробили половину второго.

Бой часов придал Латыгину иовую решимость и цельиость. Уже он держал себя, как властный. Все было определено, н поступки его были рассчитаиы. Ои тихо и иежио опять обиял Аду, и она опять доверчиво припала к его губам...

После этих поцелуев Латыгин взял в руки свой саквояж, чемодан Ады и скрипку и сказал повелительно:

— Идем!

Ада с какой-то робостью повиновалась. Они вышли, Латыгин запер дверь и, пройдя через двор, отдал ключ дворнику, кинув ему коротко:

— Передайте Мине Эдуардовне.

— Понимаем-с,— ответил дворник, нагло ухмыляясь, хотя неизвестно было, что именно он понимал.

Выйдя на улицу, Латыгин нарочно повернул в сторону, противуположную той, откуда могли прийти Лиза и Мина Эдуардовна. Ада пошла за ним, не спрашивая объяснения. Пройдя некоторое расстояние, Латыгин взял извозчика и помог Аде сесть в пролетку.

— Ты голодна? — спросил Латыгин, как если б все остальное уже было объяснено и решено.

— Да, я сегодня даже не пила кофе,— призналась Ада.

— Мы сейчас будем обедать.

Потом, назвав извозчику улицу, Латыгин стал расспрашивать Аду об том, как она жила эти два года в О. Как-то повели разговор помимо сегодняшнего свидания. Ада говорила о своей подруге, о своем отце; о своих женихах, которые ей очень досаждали. Разговор вели так, как если бы любовники разлучились всего два-три дня тому назад. Ни слова не было сказано о Латыгине, об его жене и семье, которых он покидал в те минуты — как он был уверен — навсегда.

Латыгин увез Аду в гостиницу неподалеку от одного из вокзалов. Латыгин уловил, что Ада чуть-чуть поморщилась на неприглядный вид довольно грязной лестницы и на скудную обстановку номера; но тотчас, вероятно, уловив взгляд Латыгина, она пересилила себя и поспешила сказать со всей искренностью:

— Веди меня куда хочешь! С тобой мне будет хорошо всюду!

В номере они спросили себе обед. Им подали жалкий суп, твердую, несъедобную говядину, рыбу, не совсем свежую, сладкие пирожки, которые пахли салом... Но голод у обоих сказался, едва они остались вдвоем. Они опять обняли друг друга и смотрели друг другу в глаза, и повторяли друг другу бессвязные признания.

— Ты так же ли любишь, по-прежнему?

— Ты теперь не разлюбишь меня? Ты — прежний?

— И ты — все та же! все та же! как это странно.

— Словно в сказке?

— Это лучше сказки.

Потом Ада опять вспоминала пережитое ею за два года и плакала. Вдруг Латыгин опять понял, что он вновь с Адой, и его охватило безумное блаженство. Мечты и действительность путались. То ему казалось, будто вернулось то, что было два года тому назад; то представлялось, будто настало то,

что должно было наступить лишь много лет позже. Причем настоящее и будущее сливалось в единый миг.

Они пили вино, но оно пьянило их меньше, чем встреча. Они смотрели друг другу в глаза и не то упивались одни другим, не то угадывали что-то новое. Они смеялись без причины и плакали, когда можно было смеяться.

Латыгин взял скрипку и стал играть. Он играл свои прежние песни славы, и «Песнь недолгой разлуки», и «Гимн победителя», и импровизованную «Песнь встречи».

Казалось, что он играл прекрасно, а может быть, он и в самом деле играл прекрасно. Потом настал такой миг, когда они не могли больше сопротивляться воспоминаниям прошлого и желали ласк. Глаза Ады стали темные и тусклые, как море перед бурей. Латыгин прижал Аду так сильно, что ее детское тело словно переломилось в этих мужских объятиях, и спросил тихо, вдумчиво, но повелительно:

— Ведь ты моя жена? Да?

И она отвечала так же тихо и напряженно:

— Да...

Она не сопротивлялась, и в этом грязном номере гостиницы, отдающемся в наем прохожим парочкам, они, двое влюбленных, возобновили свой брак, не думая ни о завтрашнем дне, ни об том, что их ждет через несколько часов после того,— они твердили:

— Милый! милая! опять, как тогда.

9

Случилось, что оба заснули, утомленные волнениями дня, всеми потрясениями долго ожидаемой и все же нежданной встречи, ласками и слезами.

Проснувшись, Латыгин поднялся, посмотрел на часы. Было почти 7 часов. Он вспомнил, что поезд в Москву идет в 9. Надо было опять торопиться. Но недавняя горячка прошла. Голова была трезвой и мысли мучительно ясны. Тихонько приподнявшись на постели, Латыгин стал смотреть на Аду, которая спала рядом с ним.

В комнате было жарко, и девочка раскинулась во сне, оттолкнув ногой одеяло. Были видны ее миниатюрные ноги, красиво отточенные, словно из мрамора, ее полудетские маленькие восковые груди, ее красиво округленные, чуть-чуть худенькие плечи. Голова лежала глубоко в маленькой подушке. На щеках, несмотря на сон, проступал яркий румянец, который не мог, однако, сделать менее алыми ее пунцовые губы; черные растрепавшиеся волосы самовольно вились, доходили до плеч, падали на грудь, касаясь щеки. Всматриваясь в Аду, Латыгин мог сказать одно: «Да! она хороша! Она очень хороша! Она уже почти красавица и будет ею через год. Она на самой грани, чтоб из очаровательной де-

вочки вдруг стать прекрасной женщиной. И вот она — моя. Я владею ею, она хочет, чтобы я был ее властелином. Разве это не счастие?» Только мысленно Латыгин подумал почти словами, почти произнес в уме: «Разве это не счастие?»

Но вслед за тем быстро в мыслях Латыгина стали проноситься все последние поступки, совершенные им сегодня. Он вспомнил свою жену, свою дочь, свой дом. Он представил себе, как Мина Эдуардовна вернулась домой от Меркинсонов, где ей оказали, может быть, вовсе не тот прием, какой он предсказывал,— вернулась и нашла на столе загадочное письмо с одним словом: «прощай» и двадцать рублей денег... Двадцать рублей! На какой срок? На месяц? На год? Навсегда? Ибо что сможет он, нищий «Моцарт», послать еще своей покинутой жене?

Или, может быть, письмо раньше нашла Лизочка. Она не по летам развита, и суровая школа жизни, полной лишений, научила ее многому. Может быть, хотя на конверте написано им «Мине Эдуардовне», Лизочка первая распечатала письмо. Как знать, может быть, у Лизы достаточно мужества, сметливости и предвидения, чтобы утаить это письмо и не показывать его матери. У Лизы могла возникнуть последняя надежда, что письмо написано в одном из тех порывов, которые иногда находили на ее отца; она могла надеяться, что отец потом сам раскается в своем письме. Может быть, Лизочка спрятала и письмо и деньги от матери, спрятала их, решив выждать время; может быть, все еще и устроится само собой. Тогда отвечать придется только за время своего исчезновения из дома.

Если вернуться сейчас, жена, конечно, будет упрекать, может быть, покричит немного, поплачет, но все понемногу успокоится. Можно будет недосказать, как-нибудь объяснить. А потом Лизочка тихо подаст отцу спрятанные письмо и деньги, и он, Латыгин, поцелует с благодарностью дочь за ее ум и догадливость.

Как все просто!

Но тотчас же Латыгин, вздрогнув, постарался сбросить с себя эти нелепые мысли. Об чем он думает? Разве дело не решено? Разве не решено, что он ушел из дому насовсем, навсегда! Разве не решено, что отныне он будет жить с ней, с Адой, с той, кого он любит! Разве это решение не подтверждено всем, что он сейчас сделал! Можно ли после этого идти назад? Какое безумие!

И потом ведь это же счастие, единственно возможное на земле счастие перед ним. Разве так много блаженств в мире, что можно было бы пренебрегать тем, которое является на пути! Во имя чего можно принести в жертву свою душу, лишить ее счастия, т. е. лишить воздуха, которым она дышит! Ведь это же самоотверженность! И так! Разве Ада перенесет, если теперь, после всего, что было сегодня, он скажет ей, что передумал, что быть с нею, жить с нею не может! Ведь это же значит убить эту маленькую девочку, столь доверчиво

пришедшую к нему, пошедшую за ним, отдавшуюся ему. Поздно передумывать! Может быть, в первую минуту, когда Ада только что явилась перед ним, была еще возможность сказать ей, что он не может исполнить своих прежних обещаний. Может быть, она тогда и вынесла бы этот удар, который можно было подготовить двумя годами переписки, полной всяких оговорок и уклончивых объяснений... Но теперь — теперь ничего такого невозможно! Теперь сказать Аде, что он ее покидает,— было бы низко, подло, недостойно художника, и вместе с тем это значило бы произнести Аде смертный приговор. Да, он знает Аду, она исполнит свою угрозу: теперь она не будет жить без него.

Латыгин решился. Быстро поправив волосы, он тихо поцеловал руку Ады и поцелуем разбудил ее. Она открыла свои большие черные глаза, обвела ими незнакомую комнату, все вспомнила и, краснея от стыда, поспешила натянуть одеяло на свое почти обнаженное тело.

— Как странно,— прошептала она,— вот мы вместе! Вместе спим. Этого никогда не бывало.

— Но теперь так будет всегда,— сказал Латыгин,— разве это плохо?

— Это слишком хорошо,— отвечала девочка.

Латыгин опять сжал ее в объятиях, чувствуя теплоту ее тела у своей груди. И все недавние раздумья о жене, о возвращении домой вылетели из его головы, развеялись, как дым под утренним ветром. В душе было одно желание — оставаться с Адой теперь, долго, всегда.

Внезапно Латыгин сказал серьезно:

— Но вот что, Ада, надо одеваться и ехать.

— Ехать? Куда? — переспросила Ада тоном капризного ребенка.

Латыгин стал объяснять ей, что жить в Х. вдвоем им невозможно. Его слишком многие знают. Жена, так как развода еще нет, может причинить им много неприятностей. Да и помимо того им обоим, самой Аде, как и Латыгину, будет тяжело встречаться с его женой. Кроме того, добавил Латыгин, после тех толков, какие возникнут из-за его расхождения с женой (Латыгин не хотел произнести слова «скандал»), ему, Латыгину, трудно будет найти себе в Х. какое-нибудь подходящее занятие.

— А ты знаешь,— заметил он, произнося слова с большим усилием,— у меня нет ничего, кроме моего таланта: я должен зарабатывать деньги. Я сумею их заработать,— поспешил добавить он,— но бывают обстоятельства, которые этому мешают. И причина нашей встречи с тобой будет именно таким обстоятельством. Нам надо уехать в другой город.

Сейчас же Латыгин прибавил, что вообще в Х. он живет лишь временно, что он и не намеревался жить в нем с Адой, что он хотел бы жить с ней в одной из столиц или за границей. Там жизнь свободнее и приятнее, там много интересных людей, там театры, концерты, музеи... Одним словом, они

выберут себе город по своему вкусу, а пока иадо скорее уехать из Х. Латыгин предлагал ехать прежде всего в Москву.

Ада иадула было губкн, но потом, вспомиив, вероятио, что дала себе слово ие быть требовательиой, ограннчнвать свои желания н повниоваться Латыгнну, поспешнла прннять внд покорный. Она вздохиула только об том, что надо ехать имеино сегодия: иадо вставать из теплой постелн, одеваться, ехать на вокзал н потом провести целую ночь в вагоие, где, может быть, еще не удастся достать спальиого места...

Прн упомиианнн о спальиом месте Латыгин в душе горько улыбиулся. Он мыслеиио счел свон деиьги и подвел итог: за вычетом 20 рублей, оставлеииых жеие, у него остается всего денег 58 рублей и какая-то мелочь — да из этих иесколько рублей иадо будет заплатить здесь в гостнннце. И это — весь капитал, с которым ои собирается вступнть в жизнь вдвоем с любимой жеищнной, привыкшей еслн не к роскоши, то к полному довольству и беспечиости... Он, Латыгни, ие сказал ни слова Аде о своих затруднениях и только ласково стал просить ее поторопиться и одеться поскорее, чтобы успеть иа вокзал заручнться темн самыми «спальными местамн», о которых она мечтала.

Ада стала одеваться с очаровательной иеловкостью, так как дома ей помогала горинчиая, но, одеваясь, Ада ие раз поворачнвалась к Латыгииу, чтобы поцеловать его, н это делало все ее поступки для него пленительиыми без конца. Ада мнло кокетиичала, она была еще без корсета, с распущеииыми волосами, и ее детское тело изгибалось, как тело кошечки. Латыгии вспоминл утомленное худое тело жеиы илн грубую шершавую кожу на теле Маши, и ему стало казаться, что Ада нз породы иных существ, что если оиа — женщиия, то тех иельзя иазвать такими же иаимеиоваииями. В голове его иа мниутку промелькнула иовая мысль: «Хвала телу жеищииы»,— но тотчас ои остановнл себя и, привычиый к аиалнзу своих чувств, спроснл себя: «Что же, иеужелн мне иравится в ией лншь тело?»

Раздумывать, одиако, было иекогда. До отхода поезда оставалось с небольшим полтора часа. Латыгнн позвоинл и приказал подать счет. Между тем Ада уже забыла все иеприятиости событий и беспечио болтала об том, как оиа будет жить в Москве. Ада расспрашнвала, какая опера в Москве, какие певцы, будут ли концерты, иесмотря иа воеиное время. Оиа слышала о коицертах Кусевицкого н настаивала, чтобы оии с Латыгииым иепремеиио абоиировалнсь иа всю серию его концертов. После иеобходимо послушать Вагиера, она, Ада, из всех его опер слышала только Лоэигриив, между тем в Москве поют всю тетралогию о гибели богов... Да... и драматические театры иеобходимо посетить все. Кроме того, от Москвы так блнзко до Петербурга...

Слушая милую болтовию Ады, Латыгии мысленно как-то покачнвал головой, а ум его так упорио повторял цифры: 58 рублей, счет 4 рубля 20 копеек, иа чай 50 копеек, итого

4 рубля 70 копеек, остается 53 рубля 30 копеек, что он даже не слышал иных слов Ады, и она вдруг рассердилась:

— Что же ты меня не слушаешь? Я тебе этого не позволю. Я хочу, чтобы ты, когда я говорю, слушал меня всегда, всё, каждое слово! Будешь?

— Буду! буду! милая,— воскликнул Латыгин не то с восторгом, не то с тоской, и снова обнял Аду, готовый смеяться, и чувствовал, что к горлу подступают слезы.

Неодолимая тревога встала в душе Латыгина. Было страшно будущего и уже было мучительно жаль прошлого — вот этого тяжелого прошлого, с заботами о завтрашнем обеде, со стыдом за протраченные 3 рубля, с оскорблениями дворников и швейцаров. Упорно вставали в уме образ жены, какой она была вчера, когда свет лампы озарял их новую брачную ночь, и образ дочери, маленькой Лизочки, как она слушала утром, прежде чем уйти в гимназию, «Пляску медуз», исполненную отцом. А вместо них перед глазами была еще полудетая Адочка, молодая, свежая, красивая, любящая, полудетская грудь которой задорно выступала из-за маленького корсета с нежно-фиолетовыми шелковыми лентами. Что-то было кошмаром: или то настойчивое, тягостное прошлое, или это назойливое, свершающееся настоящее. «Или я грустил, что так несчастен, или грущу теперь, что могу быть счастлив»,— говорил сам себе Латыгин, и не было сил разобраться, где он — наяву, он — настоящий, здесь, перед этим благоуханным телом любимой девушки, или там, в нищете квартиры над погребами.

Номерной принес сдачи. Латыгин помог Аде надеть пальто. Он опять взял в руки два чемодана и скрипку, и они вышли.

10

Темнело. Опять, как вчера, распространялся туман. Зажигали фонари, и они расплывались сквозь сырость тусклыми пятнами. Люди шли, приподняв воротники, и казалось, что все странно торопятся куда-то.

Чтобы попасть на вокзал, надо было только перейти через площадь. Ада опять оживилась и щебетала, строя планы поездки и жизни в Москве.

Она нежно прижалась к Латыгину, с которым шла под руку, и повторяла:

— Главное, что мы вместе! Все остальное, будь что будет! Я на все готова. Милый, я все перенесу, только бы быть с тобой.

Внезапно она рассмеялась ребяческим хохотом, вспомнив про отца.

— Как он теперь сердится! Вторые сутки меня нет дома. Представь! я написала ему только одну строку: «Прости, папочка, я уезжаю к мужу!» Как он теперь ломает голову,

кто мой муж! Пришла тетушка, и все дядюшки, вероятно обсуждают, гневаются, вспомнили бабушку Анастасию. Была у меня такая бабушка, я тебе рассказывала, помнишь? Когда что-нибудь случалось со мной, всегда говорили: «Будь бабушка Анастасия жива, она бы не посмела этого сделать». И теперь, наверное, сто раз повторяли эти слова. Но что мне бабушка Анастасия, когда я с моим мужем! И никто не знает, какой он у меня хороший, умный, гениальный! А когда ты будешь совсем знаменитым, когда твой портрет будет напечатан во всех журналах, французских, итальянских, английских и даже греческих, мы приедем домой. И я скажу отцу: «Папочка, вот мой муж, тот самый знаменитый композитор Латыгин, портрет которого напечатан в твоей Hestia!» Посмотрим, что-то тогда найдется сказать у отца!

Ада говорила еще много, а на душе Латыгина становилось все тоскливее и тоскливее. Он шел молча, слушая бесконечную болтовню своей возлюбленной. Х., где Латыгин проживал всего два года, казался ему родным городом, из которого теперь он уезжает в чужие страны. Так они пришли на вокзал.

Латыгин проводил Аду в буфет, приказал подать ей кофе, а сам пошел было брать билеты; ему удалось отыскать носильщика, взявшегося «достать» спальные места, и Латыгин угрюмый вернулся к Аде. Он сел рядом с ней и не мог заставить себя говорить. Слов не было.

Кругом смотрел полный зал, той напряженной жизнью, какая возможна на вокзалах за час до отхода «дальних» поездов. Бегали официанты, носильщики, посыльные; пассажиры растерянно осведомлялись у каждого встречного, когда поезд идет, где касса, как пройти на перрон. Там и сям возникали маленькие скандалы, кто-то гневно кричал, какая-то женщина жаловалась с причитаниями. Пахло застоявшимися кушаньями и нефтяным дымом. Ада продолжала свою бесконечную болтовню, а Латыгин, смотря на нее в упор, думал:

«И с этой пустой, красивой куклой я хочу прожить всю жизнь? Чем она лучше Маши? Тем разве только, что у этой выхоленное тело, а у той истомленное бесконечными ночами за аппаратом. И разве не в тысячу, не в сто тысяч раз лучше, прекраснее, благороднее моя Мина, переносившая со мной все тяготы жизни, в то время, как эта гречанка, думающая о своем отце, пугавшем ее бабушкой Анастасо́!.. Милая, милая Мина! и тебя я бросил, без денег, без поддержки, бросил на улицу с дочерью, с моей дочерью, с моей милой Лизанькой, бросил ради розовых плеч и упругих грудей! Это называется — быть безумным, как художник, быть влюбленным в красоту, как артист?! что же? Или у этих есть другие, гораздо менее звучные названия! О негодяй! негодяй! негодяй!»

Последнее бранное слово Латыгин произнес почти вслух. Ада, конечно, обратила внимание, что он не слушает ее, и, мило надув губки, стала ему выговаривать. Латыгин оправдывался тем, что думал о разных мелочах путешествия.

По счастию, пришел носильщик, принес билеты и отвлек разговор. Латыгин получил сдачу и дал три рубля посыльному, который пробурчал: «покорнейше благодарю» и тотчас отошел. Но Латыгин, считая в уме расход за чай, за билет и оставшиеся деньги в кармане, спросил, стараясь говорить небрежно:

— У тебя есть свои деньги, Ада?

Ада поглядела на него изумленными глазами и отвечала:

— Я скопила для моей поездки немного денег. У меня теперь осталось еще 80 рублей. Правда: я умница? Похвали меня! А ты всегда говорил, бывало, что я — дитя и ничего в жизни и в деле не смыслю.

— Нет, ты в самом деле умница,— сказал в ответ Латыгин, улыбаясь.

Он немного повеселел. «По крайней мере у нее достанет денег, чтобы вернуться из Москвы к отцу»,— подумал он. Но тотчас же прервал свои собственные мысли: «Боже мой! об чем я думаю! зачем ей возвращаться к отцу! Да и примет ли ее отец после побега? Нет, нет, этого *нельзя* думать, так думать — постыдно!» И, чтобы отвести мысли в другую сторону, он встал и сказал Аде:

— Уже можно садиться, пойдем в вагон. Это и потому еще необходимо,— сказал он, громко отвечая сам себе,— что здесь нас может увидеть кто-нибудь из знакомых: тогда может выйти нелепая сцена.

Ада не возражала. Они прошли через вокзал, вышли на перрон и разыскали свой вагон. Ада опять чуть-чуть поморщилась, когда увидела, что они будут ехать в разных отделениях: она — в дамском, он — в мужском.

— Признаться, девочка,— оправдывался Латыгин,— отдельное купе теперь надо заказывать за несколько дней вперед. И потом,— добавил он, собрав все свое мужество,— это было бы слишком дорого. Увы, моя девочка, со мной тебе придется приучаться к скромности.

Последние слова сразу сделали Аду серьезной. Она перестала дуться и поспешно ответила, как показалось Латыгину, со всей искренностью:

— Милый, я знаю! Я на все готова. Я буду терпеть какие хочешь лишения, если надо, буду голодать, только бы быть с тобой! с тобой!

«Боже мой! что ж, и это возможно!» — подумал с тоской Латыгин, и странно, ответ Ады почти рассердил его. Ему было бы приятнее, если бы Ада потребовала невозможного, стала бы настаивать на том, чтобы они ехали в отдельном купе первого класса, не желала бы слушать никаких доводов, проявила бы ребяческое непонимание обстоятельств. Но этот серьезный тон обезоружил Латыгина, и он чувствовал, что какое-то ярмо тяжелее сдавило его тело.

Латыгин провел Аду в ее отделение, уложил ее чемодан и передал ей ее билет.

— Ты должна уметь быть самостоятельной,— сказал он.—

С тебя могут спросить билет ночью: не потеряй его. И береги свои деньги, они нам, вероятно, пригодятся.

— Ведь приехала же я одна к тебе! — самодовольно воскликнула Ада,— все сделала сама, и билет купила, и ехала, и даже обедала по дороге. Клерочка мне только чуть-чуть помогала при отъезде, а то я все сама, все сама.

— Ты у меня умница,— тоскливо сказал Латыгин.

Слова не шли у него с языка. Ада шумно шутила и, когда в вагоне никого не было, то быстро поцеловала Латыгина в губы. Но и этот поцелуй не оживил его. Тоска дошла до таких пределов, что хотелось не то что плакать, но завыть, как зверю, завыть и убежать. Внезапно вспомнилось, как в детстве он играл со сверстниками в особенно странную игру, в «индейцев», и вот однажды, по ходу игры, он оказался пленником краснокожих; его связали и поставили к столбу пыток, и два старших мальчика серьезно стали готовиться терзать его тело раскаленными копьями, изображенными палками от щеток, и затем скальпировать при помощи ножа для разрезанья книг; тогда он, маленький Родя, каким он был тогда, вдруг «разревелся» и поднял крик: «Не хочу больше играть!» И вот теперь, когда он, уже «большой» Латыгин, стоял в проходе вагона, чтобы уехать со своей любовницей от своей жены, ему опять захотелось так же зарыдать и закричать так же: «Не хочу больше играть!» Жаль, боже! Как просто было тогда из пленника свирепых дикарей превратиться в приготовишку Родю, и как невозможно теперь сделать так, чтобы все случившееся оказалось опять игрой, простой, детской игрой.

— Пойми! ведь я только играл в индейцев! — хотелось кричать Латыгину. Но Адочка была здесь, Ада, убежавшая от отца, которую он, Латыгин, два года уверял, что не сегодня-завтра начнет с ней новую жизнь; Адочка смотрела на него любящими глазами женщины; еще несколько часов назад он ласкал ее детское тело, как любовник. Кто же поверит, что все это была «игра», только детская игра!

Мысль Латыгина сделала скачок. Он вспомнил теорию Шиллера: происхождение искусства из игры. «Ведь я же — художник»,— сказал он в свое оправдание. Но сам потом рассмеялся над своим доводом. «Кто же тебе поверит! — отвечал он сам себе,— и хороша игра, которая разбивает сердце и жизнь двух, трех, нет, четырех, а может быть, и более пяти (ему вспомнился отец Ады) людей! однако игра, роковая игра, злодейская игра!» И ему уже захотелось крикнуть себе не «негодяй», но «злодей»... Его мысли путались, и он с трудом расслышал, что Ада ему что-то говорила.

Оказалось, она просила его купить яблок на дорогу.

— Не сердись, милый,— говорила она рассудительно,— это стоит недорого. Купи всего два, ну, три яблока: одно тебе, а два мне. Ночью в дороге так хочется пить. Самых маленьких, самых дешевых...

— Ну, конечно, куплю! — покорно отвечал Латыгин.— Сейчас принесу

— А ты успеешь?
— Да ведь еще не было второго звонка.
— Или нет, лучше не ходи! Я боюсь остаться одна, а вдруг не успеешь?
— Какие пустяки! Здесь два шага до буфета. Сейчас пойду и принесу.

Ада уже удерживала его боязливо, но Латыгин, посмеявшись, решительно спрыгнул на перрон и побежал к буфету. Ада, выйдя на площадку, следила за ним тревожным взглядом. У входа в вагон теснились провожатые, но над ними была ясно видна ее хорошенькая головка в какой-то эксцентричной ярко-красной шляпе.

Латыгин подошел к буфету, выбрал пяток хороших яблок, заплатил за них рубль. Уже пакет был в его руках, когда прозвучал второй звонок. «Три минуты до отхода»,— подумал Латыгин. Он быстро вошел на перрон. Ада издали радостно кивала ему головой, торопя его войти в вагон. Латыгин еще раз взглянул в ее веселое, красивое, но по-детски еще не определившееся лицо, в черные дуги ее бровей, в ее яркоалые губы и опять вспомнил с ясностью неизменно утомленные черты лица своей жены, ее большие выразительные глаза с тенью вокруг, ее обесцветшие губы, с морщинами страдания у сгиба рта. Невероятная тоска опять сжала сердце.

«Минуту, хоть одну минуту я должен быть один!» Эта мысль, как раскаленное лезвие, прорезала сознание Латыгина. Он сделал Аде знак рукой, дав понять, что сейчас вернется, и опять как бы нырнул в толпу, быстро спешившую из буфета.

Все, что произошло потом, свершилось как бы во сне. Латыгин не рассуждал, не обдумывал, не спорил с тем бессознательным, что заставило его действовать. Он не спрашивал себя, хорошо ли он поступает, честно ли это или преступно, наконец, нельзя ли то же самое совершить иначе, в более благородных формах. Его ум был занят одним: суметь и успеть все сделать и притом так, чтобы достигнуть нужного результата. Казалось, что перед ним две пропасти, два ужаса, так легко было упасть в один или в другой, налево или направо, а между этими пропастями была лишь одна черта дороги, подобно той, о которой говорится в Коране: «Тоньше волоса и острее лезвия сабли». Но Латыгин знал, что он должен пройти по этой дороге, не соскользнув ни налево, ни направо, пройти сам и провести кого-то другого — именно так, как он, Латыгин, этого хочет. Латыгин быстро выхватил из кармана визитную карточку и четко, крупно написал на ней: «Если можешь, прости. Прощай навсегда. Милая, я не достоин тебя. Несчастный Родион». Нашел в кармане и конверт; на нем Латыгин надписал: «Аде Нериоти». Потом он подозвал к себе мальчика из-за буфета, дал ему полтинник и объяснил:

— Видишь вот ту даму в красной шляпе, которая выглядывает с площадки спального вагона? Пойди к ней и в ту минуту, как поезд тронется, подай ей это письмо. Но только

именно в ту минуту, ни раньше, ни позже. Слышишь? И если снесешь, получишь еще столько же!

— Понимаем-с,— сказал мальчик, и Латыгин с болью в сердце вспомнил, что точно так же ответил ему дворник, когда он передавал ему ключ от своей квартиры.

Но думать было некогда. Уже звонил третий звонок. Латыгин знал, что Ада сейчас выпрыгнет из вагона, и поэтому быстро появился на перроне и, махнув ей рукой, как бы прося ее успокоиться, бросился к ближайшему от себя вагону и, силой оттолкнув кондуктора, вспрыгнул на площадку. Он видел, что мальчик, честно исполняя поручение, в эту минуту подавал его письмо Аде. Еще он успел рассмотреть, что Ада изумленно распечатывала письмо, но поезд уже прибавил ходу, и он так же быстро спрыгнул обратно на платформу, не слушая брани, которой осыпал его кондуктор.

— Так, господин, невозможно! Разобьетесь, а мы за вас отвечай. Куда вы прыгаете, я начальнику станции доложу!..

Кто-то кричал над ухом Латыгина эти слова, но он весь впился глазами в площадку того вагона, где была Ада. Ему видна была ее ярко-алая шляпа, и он знал, что Ада осталась в вагоне и теперь поезд быстро развивает полный ход, уносит ее все скорее и скорее, прочь от платформы, на которой остался ее любовник или ее муж. Поезд сделал маленький поворот, и опять мелькнула красная шляпа; Ада истерически высунулась из окна, и одно мгновение сердце Латыгина упало: ему показалось, что Ада сейчас бросится из поезда. Латыгин сам почувствовал, что побледнел смертельно, и в его душе промелькнула мысль: тогда и я должен умереть, сейчас же, тотчас же!

Но вот поезд выпрямился, а красная шляпа все еще была в окне... Нет, она не бросилась, она уезжает... Что она думает в эту минуту? Рыдает? Проклинает его? Или презирает? Или смеется?

Ах, все равно.

— Да что же вы стоите, господин! — продолжал грубо кричать тот же голос.— Вы что, пьяны, что ли? Проходите, или я начальнику станции донесу.

Подвернулся мальчишка, относивший письмо. Латыгин выполнил свое обещание и отдал ему еще полтинник. Мальчик поблагодарил. От поезда уже был виден только квадрат последнего вагона и дымок, взвивавшийся из трубы паровоза. Латыгин обежал открывшийся путь, с содроганием думая, что на рельсах могло бы лежать тело девицы в ярко-алой шляпе, но на путях не было ничего, а платформа пустела, и все, бывшие на ней, расходились равнодушно.

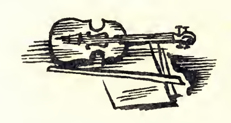
— Ступайте, господин! — настойчиво крикнул Латыгину в последний раз невероятно грубый голос.

Латыгин, шатаясь, повернулся и пошел. Он прошел через буфет и через багажное отделение и вышел на крыльцо вокзала. Туман сгущался, и фонари тусклыми пятнами мерцали словно из-под воды. Прямо перед вокзалом серой громадой

в тумане высился корпус гостиницы, где Латыгин только что провел несколько часов с Адой. Дальше лабиринтом крыш, стен, куполов и телеграфных проводов простирался весь город, тот самый ненавистный город, где прошли для Латыгина два мучительных года нужды и унижений, годы, в которых, как золотой мираж, сияли письма Ады, приходившие откуда-то издалека, словно из другого мира. Таких писем больше не придет, таких — никогда! И вот там, дальше в этом лабиринте, где есть пустая уличка, есть покривившиеся ворота, за ними грязный двор и на нем, во флигеле, над погребами, квартира, где теперь две женщины, Лизочка и ее мать, что-то думают или что-то говорят о муже и об отце.

«Они уверены, что я убежал от них, что я их бросил,— подумал Латыгин,— что я теперь, оставив их во мгле, в тумане, лечу куда-то к новой жизни и к свету, к счастию... Но я стою здесь, в той же самой мгле, в том же самом тумане, и сейчас пойду к ним, к этим женщинам, пойду, чтобы делить их горе и их стыд! А ведь я мог бы, действительно мог бы взять это счастие, пусть, может быть, на несколько недель только, только на несколько дней, но истинное, настоящее лучезарное счастие, какое довелось неожиданно повстречать в жизни... Боже мой! Почему же я от него отказался?»

Мера того, что может вместить человек, была переполнена. Латыгин больше не владел собой. Он не знал, чего ему жалко, и не понимал, о ком его тоска: о себе самом, или об оскорбляемой им жене, или об Аде, над которой он дьявольски посмеялся,— плачет ли он о своем потерянном счастии или о несчастной судьбе жены, отдавшей ему свою любовь, свою жизнь и узнавшей сегодня, что он променял ее на какую-то понравившуюся ему другую женщину, или, наконец, о грубо разбитых, варварски растоптанных надеждах наивной, доверчивой девочки, приехавшей отдать свою жизнь, и свою душу, и свое тело, но только он плакал. Прислонившись к сырой стене вокзала, жалкий «Моцарт» рыдал безнадежно, неутешающими рыданиями, и его слезы, падая на грязный помост, смешиваясь с вечерней сыростью, расплываясь мутной лужей по пальто, и вместе с влагой тумана, оседавшей из воздуха,— стекали на серые булыжники мостовой.



MISCELLANEA [1]

ЗАМЕЧАНИЯ, МЫСЛИ О ИСКУССТВЕ, О ЛИТЕРАТУРЕ, О КРИТИКАХ, О САМОМ СЕБЕ

I

Искусства делятся на пластические и мусические; первые — для глаза, вторые — для слуха. Создания пластических искусств — зодчества, ваянья, живописи — существуют в пространстве; мусических — музыки, поэзии — во времени. Поэтому первые создаются раз навсегда. Зодчий строит дворец или храм, и они могут стоять века; скульптор ваяет статую или художник пишет картину, и оба отдают свое произведение зрителям, только закончив его. Произведения мусических искусств, *по существу,* должны восприниматься во время самого процесса творчества. Так оно и было первоначально: певец импровизировал песню или музыкант — свою мелодию на флейте; слушатели восхищались, но с последним звуком, прозвучавшим *во времени,* и песня и мелодия кончали свою жизнь навсегда. Следующий раз и музыканту и певцу предстояло творить заново. Великое изобретение письма (а позднее — книгопечатания) изменило это: песня и музыка вдруг приобрели пространственное существование. Они даже стали долговечнее, нежели пластические создания: дворец может сгореть, статуя — разбиться, картина — истлеть, но книга, вечно возобновляемая, переживает тысячелетия. Не должно, однако, забывать, что это — лишь результат успехов техники.

II

Если существуют искусства для глаза и для слуха, то невозможно ли искусство для обоняния, для вкуса, для осязания? Попытки, скорее комичные, в этих направлениях уже делались. Гегель в «Эстетике» заранее их осудил и был прав. В самом деле, искусства эти вместе с тем были бы временные или пространственные. Но, например, воображаемое художественное создание для вкуса должно было бы быть, при своем восприятии, уничтожаемо именно в своей пространственной форме. Говоря проще, нам пришлось бы съедать или выпивать такое произведение искусства, т. е. отрицать самую его форму! Это что-то вроде того, как если бы для слушания музыки было необходимо рвать струны. «Обоня-

[1] Смесь (лат.).

тельное» искусство (конечно, временное) — скорее мыслимо, но требует изобретения соответствующих инструментов, аналогичных музыкальным.

III

Театральное искусство не есть только отрасль поэзии, но самостоятельно. В поэзии материал — слова; на сцене материал — образы, воплощенные актерами. Искусство театра — истинное временно-пространственное, тогда как поэзия — только временное. Без творчества актера нет искусства театра, а есть только чтение разными лицами драмы. Актер, играя на сцене, перестает быть посредником-исполнителем, но становится художником-творцом. О долговечности театрального искусства должно сказать то же, что о пластике: надо еще изобрести «письмена сцены».

IV

И все же произведения мусических искусств могут восприниматься только в процессе творчества: это лежит в их существе, как искусств *временных*. Пусть в наши дни музыкант не импровизирует, но между композитором и слушателем встал исполнитель: он, исполняя музыку, вновь творит однажды сотворенное. То же самое — относительно поэзии. В идеале необходим исполнитель-чтец, который тоже творил бы вновь стихи своим чтением. Но и тогда, когда мы читаем стихи молча, глазами, исполнитель существует: это мы сами — мы соединяем в одном лице исполнителя и слушателя. Между тем при создании пластических искусств исполнитель не нужен: художник отдал нам свое творение, а сам скрылся. Поэтому здания, статуи, картины могут быть и бывают анонимны (почти все античное искусство): поэзия и музыка всегда носят печать автора, хотя бы и не было его подписи.

V

Существуют гибридные формы искусства, пространственно-временного. Такова — пластика (танцы). Движения танцующих мы воспринимаем глазами, но эти движения должны протекать во времени. Любопытно, что, как искусство, еще мало сравнительно развитое, танцы подчиняются первичному закону мусического творчества: они творятся лишь на один раз или, по меньшей мере, лишь для одного ряда раз. Только в самое последнее время найдены *письмена* для записывания балета. Кто знает, не превратят ли успехи техники и балет в пространственные создания· и не будут ли любители

следующих десятилетий покупать в особых магазинах балеты такого-то года, как мы покупаем сборник стихов, вышедших полвека назад?

VI

«Слияние искусств» есть не мечта, не идеал, а противоречие в терминах. Сущность каждого искусства — отвлечение. Как физика рассматривает лишь физические свойства явления, отвлекаясь от других; химия — лишь химические; механика — лишь механические и т. д., так скульптура знает лишь форму, живопись — лишь краски и линии (графика), музыка — лишь звук и т. д. Стремиться к слиянию искусств — значит идти назад. Слив, наконец, все искусства в одно, мы получим *реальный, живой предмет,* т. е. то самое, *от чего,* ради своих целей, уходит искусство, отвлекая от него лишь форму, лишь краски, лишь звук. Восковые куклы в музеях, вертящиеся на пружинах,— вот печальный образец «слияния искусств».

XV

Критики любят характеризовать личность лирика по его стихам. Если поэт говорит «я», критики относят сказанное к самому поэту. Непримиримые противоречия, в какие, с этой точки зрения, впадают поэты, мало смущают критиков. Они стараются объяснить их «случайностями настроений». Но в каждом лирическом стихотворении у истинного поэта новое «я». Лирик в своих созданиях говорит разными голосами, как бы от имени разных лиц. Лирика почти то же, что драма, и как несправедливо Шекспиру приписывать чувства Макбета, так ошибочно заключать о симпатиях и воззрениях Бальмонта на основании такого-то его стихотворения. Индивидуальность поэта можно уловить в приемах его творчества, в его любимых образах, в его метафорах, в его размерах и рифмах, но ее нельзя выводить прямо из тех чувств и тех мыслей, которые он выражает в своих стихах. Только поэт-педант сумеет избежать противоречий, только тот, кто не «творит», но делает свои стихи, будет в них постоянно верен одним и тем же взглядам.

XVI

В поэзии слово — цель, а прозе (художественной) слово — средство. Материал поэзии — слова, создающие образы и выражающие мысли; материал прозы (художественной) — образы и мысли, выраженные словами. Если автор относится к словам, как к цели, его создание — поэзия, хотя бы оно и

было написано «прозой», т. е. не стихами (таковы иные «сказки» Эдгара По, многие «поэмы в прозе» Бодлэра и т. п.). Если автор пользуется словами, как средством, его создания — проза, хотя бы они .и были написаны стихами, размеренными строчками с рифмами или без оных (пример: весьма многие стихотворения, часто даже вовсе не «плохие»).

XVII

Выражения «поэзия» и «проза» от долгого употребления утратили определенность своих очертаний, т. е. не покрывают вполне определенных понятий. В смысле широком «поэзия» — все создания искусства, воплощенные в слове. Тогда и роман, например, «Война и мир», также — «поэзия». В более узком (и более подлинном) смысле, «поэзия» — особый род словесного искусства, противопоставляемый «художественной прозе». Романы — не «поэзия» (в этом смысле), но «художественная проза». Однако и в «Евгении Онегине», написанном прекрасными стихами, есть не мало мест, которые, по справедливости, должно было бы отнести к тому же роду «художественной прозы», и Пушкин очень тонко назвал свое создание не «поэмой», но «романом». Заметим еще, что деление на «поэзию» и «художественную прозу» не имеет ничего общего с делением на «лирику» и «не лирику». Лирика истинная всегда «поэзия», но «поэзия»— не только лирика.

XVIII

Не помню, кто сравнил «стихотворения в прозе» с гермафродитом. Во всяком случае, это — одна из несноснейших форм литературы. Большею частью, это — проза, которой придана некоторая ритмичность, т. е. которая скрашена чисто внешним приемом. Говоря так, я имею в виду не принципы, а существующие образцы. Подлинные «стихотворения в прозе» (такие, какими они должны были бы быть) есть у Бодлэра, Эдгара По, Малларме. «Стихотворения в прозе» И. Тургенева — безусловно проза, но художественная и прекрасная.

XIX

Мечта — всегда действительность, реальный факт для того, кто мечтает. Фикция, вымысел художника, становится действительностью, входя в сознание читателей, зрителей, слушателей. «Дон Кихот» оказал реальное влияние на жизнь, одних увлекая благородством своего образа, других остерегая от карикатурности своих подвигов. Пройдя через сознание миллио-

нов, Дон Кихот реален не менее, чем Наполеон. Поэтому правы усердные гиды, показывая туристам на острове Ифе темницу, где был заключен граф Монте-Кристо...

XX

Должно различать «пошлое» и «банальное» (избитое). Что пошло — таково для всех времен и народов. Пошлый анекдот покажется таким и китайцу и индусу, как англичанину или французу, оставался бы пошлым, рассказанный в древней Аттике. Банально то, что в настоящее время общепринято, общеизвестно. Банальное теперь могло быть оригинальным столетие назад, может быть оригинальным в другой стране, может вновь стать оригинальным через несколько лет. На низшей ступени развития человек не знает ничего, кроме банального: признает только общепризнанное, говорит только общеизвестное. На высшей ступени человек избегает банального, ищет оригинального, наслаждается лишь тем, что не банально. Но есть еще высшая ступень: на ней стоят люди, которые говорят не только для своего времени, но и для будущего; они умеют выбирать из банальных истин такие, что для иных времен станут опять нужными, важными, оригинальными.

XXIX

Задача редактора периодического издания — найти хороший материал для очередного выпуска, а не читать все рукописи, присланные в редакцию. В больших редакциях за границей чтение присылаемого — обязанность особого лица, а не редакторов. Многие начинающие авторы заблуждаются, считая (знаю это по опыту), что редакции существуют для того, чтобы читать и критиковать все, что кому-нибудь пришло в голову написать и доставить по адресу.

XXX

Писатели читают для того, чтобы узнать, чего писать не надо, что уже было написано до них.

XXXI

Значение писателя определяется количеством его произведений, оставшихся в рукописи. Посредственности умеют все закончить, успевают все напечатать. Гений жаждет сделать слишком многое и многое написанное признает не достойным себя. «Посмертных» страниц у Пушкина больше, чем издан-

ных при его жизни. А оставят лн что-ннбудь ненапечатанным, в свонх бумагах, гг. X, Y, Z — знаменнтостн нашего лнтературиого дия?

XXXII

У меия есть стнхотворенне о радуге, в котором я между прочим призиаюсь, что зиаю, как объясияет этот феномен совремеиная иаука:

Зиаю: ты — мечта моя!

Нашелся критик, который яростно разбраннл меия за это скромиое познанне, объявив, что, обладая нм, нельзя быть поэтом. Такое откровеииое требоваиие, чтобы поэт был иепременно невеждою, столь примечательно, что нмя крнтнка стонт сохраиить: это — Ю. И. Айхеивальд.

XXXIII

Сказать, что пнсатель «оригинален», зиачнт — сказать еще очень мало. Прежде всего иикто ие в снлах (по крайие мере до сих пор *не был* в силах) освободиться от влняинй прошлого, своих предшествеиииков. Нельзя отрицать, что Пушкин был писатель в высокой степеии орнгнальный. Между тем у Пушкииа есть целые стихи, почти буквальио взятые у Державина, а сколько образов, сравнеиий, выражеиий, повторяющих уже сказаииое другими поэтами, русскими и французскими! Кроме того, оригииальность бывает разная. Писатель оригииален, если в родиую литературу виосит создаиное писателями другого народа: так «оригииальиы» былн у нас первые «байроиические» поэмы Пушкииа. Для русской литературы «Борис Годуиов» высоко оригииальиое создание; но в мировой литературе вся форма трагедии Пушкина, все его прнемы творчества в ией — подражаиие Шекспнру (который тоже подражал свонм предшествеииикам). Оригинальными представляются нам пнсатели, когда оии вносят с собою новую психологию, хотя бы оии пользовались формой старой: таковы были у иас народиики 60—70-х годов. Но орнгииальиым же изываем мы писателя, в новой форме развнвающего старые темы; во многом (ие во всем) такова орнгнинальность Поля Верлэна. Также изываем мы оригииальным н того писателя, который идет *дальше* по пути, проложениому другими, как, например, Лермонтов, и того, который пытается проложить новый путь, как, например, Тютчев.

XLIX

«Выбери себе героя — догони его, обгони его»,— говорил Суворов. Мой герой — Пушкин. Когда я вижу, какое количество созданий великих и разных набросков, поразительных по глубине мысли, оставалось у него в бумагах ненапечатанными,— мне становится не жалко моих, неведомых никому работ. Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго, д'Аламбера, теорию вероятностей, Гизо, историю Средних веков,— мне не обидно, что я потратил годы и годы на приобретение знаний, которыми не воспользовался.

. . . .

LI

Да, это — воля роковая,
Да, это — голос твой, народ!

Да, это — роковая воля, это твой голос, народ. Пусть спорят с тобой другие, поэт почитает тебя. Поэт живет тем, что создал ты твоим словом. Ты затаил в слове свою душу. Грация и чеканя слова, переливая в них свои мечты, поэт всегда связан с народом. Ему нет жизни вне народа. Он жив, пока жив народ и им созданный живой язык. Поэт! повинуйся народу, ибо без него ты только музейная редкость.

1904 — 1918

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОД СТАРЫМ МОСТОМ

Печатается впервые по рукописи, хранящейся в архиве Брюсова (ГБЛ, ф. 386, картон 34, ед. хр. 6). Дата под текстом: 12 ф<евраля 1896 г.>

В 1896 г. Брюсов задумал написать сборник небольших рассказов под общим заглавием «Novelle simplice» («Простенькие рассказы»); об этом замысле он сообщал в письме к А. А. Лангу (Миропольскому) от 5 августа 1896 г. (ГБЛ, ф. 386, картон 71, ед. хр. 46). Однако для намеченного цикла было написано всего две новеллы — «Под Старым мостом» и «Голубые глаза и черные волосы» (также неопубликованная). Рассказ «Под Старым мостом» — один из многочисленных прозаических опытов Брюсова 1890-х годов, так и не доведенных автором до печати. Их общая характеристика дается в статье: Гречишкин С. С. Ранняя проза Брюсова.— Русская литература, 1980, № 2, с. 200—208.

Стр. 18. Эпиграф — искаженная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Видение» («Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья...»).

Стр. 24. *...Марта, прежняя невеста Антонио.*— Имя «прежней невесты» Антонио, преданного душой Марии, выбрано Брюсовым определенно по аналогии с евангельским эпизодом о сестрах Марфе и Марии, принимавших в своем доме Иисуса: Марфа «заботилась о большом угощении», Мария же «села у ног Иисуса и слушала слово Его»; Иисус сказал Марфе: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Евангелие от Луки, X, 38—42). О двух путях служения, воплощенных в этих женских образах, «земном» и «небесном», Брюсов говорит также в позднейшем стихотворении «Марфа и Мария» (1916), вошедшем в его книгу «Девятая Камена».

В ПОДЗЕМНОЙ ТЮРЬМЕ

Впервые напечатано: Весы, 1906, № 5, с. 17—29. Вошло в книгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901—1906)». М., Скорпион, 1907, с. 49—62. Перепечатано во 2-м (М., 1910) и в 3-м (стереотипном) (М., 1911) изданиях книги «Земная ось. Рассказы и драматические сцены. 1901—1907», с. 1—12. Печатается по тексту 3-го издания.

Стр. 29. *Султан Магомет II Завоеватель...*— В основу сюжета положен действительный исторический факт: четырехтысячный десант войск турецкого султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя; правил

в 1432—1481), покорителя Византийской (1453) и Трапезундской (1461) империй, под командованием Ахмет-пашн (Кедук Ахмета) с 28 июля по 11 августа 1480 г. осаждал южноитальяискнй город Отранто, находящийся близ одноименного пролива, соединяющего Адриатческое море с Ионическим. Захват города османскнми войсками сопровождался массовой резней населения.

Стр. 33. *Филельфо* Франческо (1398—1481) — гуманист, поэт, философ, один из первых учеиых-эллинистов. *Понтано* Джованни (род. между 1422 н 1426 — 1503) — поэт, философ. *Панормита* (Антонио Беккаделли; 1394—1471) — поэт. *Альберти* Леон Баттиста (1404—1472) — разностороние одаренный гуманист, музыкант, архитектор, прозаик, драматург, поэт-сатирик, философ-моралист. *Поджо* Браччолини, Джан Франческо (1380—1459) — писатель-гуманист, новеллист, философ, автор «Книги фацетий» (1452) на латинском языке. *Боккаччо* Джованни (1313—1375) — прозаик, поэт, автор знаменитой книги новелл «Декамерон» (1350—1353), один из создателей итальянского литературного языка. *Петрарка* Франческо (1304—1374) — крупнейший поэт итальянского Возрождения, философ.

Стр. 33. *...рассказы о странствиях морехода Синдбада...*— Перечисляются эпизоды первого н второго путешествий Синдбада-морехода в «Тысяче и одной ночи» (538-я, 539-я и 544-я ночи).

Стр. 35. *...снарядил на помощь Альфонсу пятнадцать галер.*— Через год после захвата Отранто турками город был отбит у неприятеля войсками неаполитанского короля Фердинанда I (1423—1494) под командованием его сына, герцога Альфонса Калабрийского, будущего короля Альфонса II. В подготовке военной кампании активную роль сыграл папа Сикст IV (годы понтификата 1471—1484).

Стр. 36. *...Фердинандо Ларго...*— Ошибка Брюсова; выше военачальник назван Франческо.

Стр. 37. *...у Тарента.*— Тарент (современное название Таранто) — город на берегу Тарентского залива, находится на противоположной (по отношению к Неаполю) стороне Апеннинского полуострова.

ТЕПЕРЬ, КОГДА Я ПРОСНУЛСЯ...

Впервые напечатано: Северные цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902, с. 61—69. Вошло в книгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901—1906)» М., 1907, с. 83—91. Перепечатано во 2-м и 3-м (стереотипном) изданиях книги «Земная ось» (М., 1910; 1911, с. 24—32). Печатается по тексту 3-го издания.

Рассказ явился первым прозаическим произведением Брюсова, обратившим на себя внимание критики. Один из рецензентов со всей серьезностью воспринял рассказ как документ, разоблачающий автора-«декадента» (Московские ведомости, 1902, № 117, 30 апреля, с. 4; подпись: А. К.) Другой рецензент заметил, что «от г. Валерия Брюсова пахнет Эдгаром По» (Русские ведомости, 1902, № 109, 22 апреля, с. 3; без подписи). Действительно, первоначальный набросок рассказа («Это было во сне» — 1895 г.) был посвящен «памяти величайшего поэта в мире, автора «Ulalume» (ГБЛ, ф. 386, картон 35 б, ед. хр. 70). «Теперь, когда я проснулся...» написано под непосредственным воздействием сюжета и идейно-образной структуры рассказа Э. По «Береника» (1845). При подготовке второго издания «Земной оси» Брюсов подверг текст рассказа существенной переработке.

В ЗЕРКАЛЕ

Впервые напечатано: Литературное приложение к газете «Русский листок», 1902, № 356, 27 декабря. Вошло в книгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901—1906)». М., 1907, с. 95—106. При подготовке этой книги Брюсов существенным образом переработал газетный вариант рассказа. Перепечатано во 2-м и 3-м (стереотипном) изданиях книги «Земная ось» (М., 1910, 1911, с. 13—23). Печатается по тексту 3-го издания.

В откликах на «Земную ось» рассказ «В зеркале» выделялся рецензентами как наиболее удачный в сборнике (Голос Москвы, 1910, № 238, 16 октября; подпись: — ч). И. И. Ясинский подчеркивал зависимость Брюсова от Э. По: «Если бы выдать рассказ «В зеркале» за вновь найденный — Эдгара По, то не возникло бы сомнений <...> Но в то время, как у Эдгара По всегда соблюдена мера объективности, Валерий Брюсов старается объяснить свои вымыслы. Напр., рассказ «В зеркале» взят — из «архива психиатра» (Беседа. Орган вольной мысли, 1907, № 1, с. 64; подпись: М. Чуносов). Напротив, критик Н. Я. Абрамович, сравнивая «В зеркале» с другими рассказами «Земной оси», называл его «единственной оригинальной вещью», «где не самый сюжет, но развитие его интересно своеобразно выполненной беллетристической формой и личной, довольно четкой образностью». «Не описывая случай со стороны, а *говоря о нем самими переживаниями* героини, автор передает самовнушенное чувство метаморфозы, перехода в сознании героини — ее в отражение, отражения в нее. Автор сумел справиться с задачей, *показать* самые ощущения этого характера» (Современный мир, 1907, № 2, отд. II, с. 74). А. Блок писал Брюсову 26 декабря 1906 г., что «В зеркале» поразило его «неожиданно и ярко»: «Это — мистерия — отдельные раздробленные «*пассии*» зеркальности, связанные *психологической вязью*» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 8. М.— Л., 1963, с. 172).

В БАШНЕ

Впервые напечатано: Столичное утро, 1907, № 108, 7 октября. Вошло во 2-е и 3-е (стереотипное) издания книги «Земная ось» (М., 1910; 1911, с. 33—37). Печатается по тексту 3-го издания.

Стр. 55 ...*мы побили вас под Изборском! Мы зажгли Псков...*— В 1240 г. крестоносцы Тевтонского ордена захватили Изборск и разбили выступившее против них псковское ополчение, после чего заняли Псков.

...*чудь, корсь и ливь...*— Чудь — древнерусское название эстов и других западнофинских племен. Корсь (курши) — латышское племя, жившее в Западной Латвии. Ливь (либь, ливы) — племя угро-финского происхождения, жившее на побережье Финского залива.

Стр. 56. ...*Ледовое побоище 5 апреля 1241 года...*— Ошибка Брюсова: битва русского войска с немецкими тевтонскими рыцарями на льду Чудского озера произошла 5 апреля 1242 г.

БЕМОЛЬ

Впервые напечатано: Литературное приложение к газете «Русский листок», 1902, № 32, 2 февраля, с. 66—67. Вошло во 2-е и 3-е (стереотипное) издания книги «Земная ось» (М., 1910; 1911, с. 38—43). Печатается по тексту 3-го издания.

Рассказ примечателен как попытка раскрытия темы «маленького человека», традиционной для русской демократической литерату-

ры XIX века. К этой теме Брюсов обращался еще во второй половине 1890-х годов (рассказы «Ои — мимоходом», «С божьей помощью», «Голубочки — это иепорочность», повесть «Эда», фрагменты романа «Возрожденне» осталнсь при жизнн Брюсова иеопублнковаиными).

Стр. 59. *декалькомани* (фр.) — переводные картинки, изготовленные лнтографским способом.

...несколько гроссов карандашей... — Гросс (12 дюжни, 144) — устарелая мера для счета в торговле канцелярскими товарами.

МРАМОРНАЯ ГОЛОВКА

Впервые иапечатано: Русскнй листок, 1902, № 5, 6 января. Вошло в книгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматнческие сцены (1901 — 1906). М., 1907, с. 109 — 113. Перепечатано во 2-м и 3-м (стереотнпном) изданнях кнмгн «Земиая ось» (М., 1910; 1911, с. 44—48). Печатается по тексту 3-го изданння.

РЕСПУБЛИКА ЮЖНОГО КРЕСТА

Впервые напечатано: Весы, 1905, № 12 (вышел одновременно н как № 1 за 1906 г.), с. 25—46. Вошло в кннгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматнческне сцеиы (1901—1906)». М., 1907, с 3—25. Перепечатаио во 2-м н 3-м (стереотипном) нзданнях кингн «Земная ось» (М., 1910; 1911, с. 62—82). Печатается по тексту 3-го издания.

Рассказ нитересен как одна из первых соцнальио-фантастнческнх «антиутопнй» иа русском языке (см.: Бритнков А. Ф. Русскнй советский иаучно-фаитастическнй роман, Л., 1970, с. 38—45). Из критнков-современнников лншь А. В. Тыркова отметила эту особенность футурологическнх опытов Брюсова. В рецензни на первое издание «Земной оси» оиа пнсала: «Республнка Южного Креста» и в особенностн драма «Земля» — это какне-то утопни навыворот» (Речь, 1907, № 68, 22 марта; подпись А. В — скнй»). В рассказе Брюсов прозорлнво угадывает перерожденне буржуазной парламентской демократии в олнгархнчески-тоталитарный режим. Появнвшийся на фоне иедавно обиародованного царского маинфеста 17 октября 1905 г., обещавшего Россин констнтуцнонные свободы, рассказ Брюсова обнаружнл глубокое и верное политическое чутье писателя, скептнчески отнесшегося к связаиным с манифестом либеральным н прогрессистским иллюзиям, и явился весьма актуальным произведеннем. Опублнкование фантастического рассказа о гибелн тоталнтарного государства сразу же после московского Декабрьского восстания — кульмниационного момента революцни 1905 года — также подчеркивало злободневность его вымышлеииых коллизий.

«Республнка Южного Креста» сюжетно связаиа с некоторыми позднимн рассказамн Эдгара По. Уничтожающая критнка формальной буржуазной демократнн содержнтся в рассказах американского писателя «Разговор с мумней» (1845) и особенно «Mellonta tauta» (1845). Более чем вероятно, что самую ндею болезнн «мания протнворечня» Брюсов почерпиул из рассказа По «Бес протнворечия» (1845).

Стр. 66. *...к небесному надиру.*— Ошибка Брюсова; нужно: к зенниту (точка иебесиой сферы, расположенная иад головой наблюдателя). Надир — точка небесиой сферы, протнвоположная зеинту.

Стр. 69. *...международном медицинском конгрессе в Лхасе,*— Лхаса — столица Тнбета, однн нз центров буддизма; в иачале XX в. была закрыта для европейцев.

Стр. 72. *...постоянно децимируемых эпидемией.*— От лат. decimatio — наказание каждого десятого (в римской армии); здесь речь идет о возрастающей смертности от эпидемии.

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Впервые напечатано: Весы, 1908, № 11, с. 19—21; подпись: К. Веригин. Вошло в книгу Брюсова «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен». М., Скорпион, 1913, с. 131—135. Печатается по тексту этого издания.

По стилю и образному строю «эпизод» «Ночное путешествие» приближается к роману Брюсова «Огненный Ангел» (законченному печатанием в «Весах» в № 8 за 1908 г.): в четвертой и пятой главах романа описываются полет на шабаш и магические опыты, предпринимаемые героем, сообщаются разнообразные сведения из области демонологии и т. д.

В предисловии к книге «Ночи и дни» Брюсов пишет: «Эпизод «Ночное путешествие» служит как бы символическим послесловием к рассказам». С другими рассказами этой книги «Ночное путешествие» объединяет поставленная в центр внимания тема любовного влечения, поданная в отвлеченном, условно-фантастическом ракурсе. См. рецензию З. Бухаровой. Россия, 1913, № 2286, 28 апреля, с. 6; подпись: З. Б.

Стр. 82. *...как у духа Тьмы на гравюре Дюрера.*— Гравюра на меди «Всадник, смерть и дьявол» (1513) великого немецкого живописца и гравера Альбрехта Дюрера (1471—1528).

Стр. 83. *...астральный образ.*— Согласно оккультным представлениям, астральное тело (вмещающее в себя область человеческих чувств) может временно отделяться от физического тела человека и перемещаться в пространстве и во времени в особом измерении.

...Cosi ti circonfulse luce viva...— У Данте: «Cosi mi circonfulse luce viva» («Рай», XXX, 49) — «Там меня осиял яркий свет» (в переводе М. Л. Лозинского: «Так я был осиян ярчайшим светом»). Дьявол, соответственно, «исправляет» в тексте Данте местоимение «меня» на «тебя».

Стр. 84 *...змеи на жезле Гермеса...*— Одна из эмблем древнегреческого бога Гермеса — жезл вестника, на конце которого сплетаются две змеи. В данном случае подразумевается позднеантичный образ Гермеса Трисмегиста, высшего авторитета в области оккультных наук.

...Послушай, мне здесь скучно.— Вероятная реминисценция слов Фауста в «Сцене из Фауста» (1825) Пушкина: «Мне скучно, бес».

...воображение Фламмариона и Уэльса...— Фламмарион Камиль (1842—1925) — французский астроном и философ; его научно-популярные и научно-фантастические книги, так же как и романы Герберта Уэллса, были с увлечением прочитаны Брюсовым.

Стр. 85. *...Фауст пал ничком на пол, когда явился Дух Земли...*— Имеется в виду сцена из «Фауста» Гете (часть I, «Ночь»).

...Семела была испепелена, узрев Зевса...— сюжет древнегреческой мифологии. Семела — дочь Кадма, мать бога Диониса от Зевса — упросила Зевса, чтобы он предстал ей во всем своем величии; когда же он приблизился к ней с молнией и громом, пламя охватило Семелу и ее дом.

...славного Киприана...— Св. Киприан (ок. 200—258) — епископ Карфагенский, видный деятель ранней христианской церкви, автор ряда богословских сочинений.

ВОССТАНИЕ МАШИН

Впервые напечатано: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., Наука, 1976, с. 95—99 (публикация Вл. Б. Муравьева по автографу в архиве Брюсова в ГБЛ). Печатается по тексту этого издания.

Наиболее вероятно, что Брюсов работал над рассказом в 1908 г.: в относящемся к этому времени перечне замыслов («Intentions 1908—1909») значится тема рассказа «Ожившие машины» (Ильинский А. Литературное наследство Валерия Брюсова.— Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 459—460, 465—466). Вновь вернулся писатель к этому сюжету в 1915 г., но написал только несколько вводных страниц (набросок «фантастического рассказа» «Мятеж машин» опубликован в кн.: Литературное наследство, т. 85, с. 100—103).

Стр. 88. *...дистрикт подразделяется на фемы.*— Дистрикт (англ., фр.— district; нем., швед. — Distrikt) — определенное пространство земли как административная единица (соответствует русским «округ», «уезд», и т. п.). Фемы (греч.) — военно-административные округа в Византии.

ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Впервые напечатано: Весы, 1909, № 12, с. 55—67. Вошло в книгу Брюсова «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен». М., 1913, с. 99—109. Печатается по тексту этого издания.

Стр. 93. *...обществе «гамадриад»...*— Гамадриады (древнегреч. мифология) — нимфы деревьев, которые рождаются вместе с деревом и гибнут вместе с ним.

Стр. 95. *...только что вышедшие письма Сент-Бева.*— Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804—1869) — французский критик и поэт, один из ведущих литературных деятелей эпохи романтизма. В начале XX в. во Франции вышло в свет несколько изданий писем Сент-Бёва к различным корреспондентам.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЖЕНЩИНЫ

Впервые напечатано: Русская мысль, 1910, № 12, отд. I, с. 3—25. Вошло в книгу Брюсова «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен». М., 1913, с. 1—59. Печатается по тексту этого издания.

Из-за повести Брюсова номер журнала «Русская мысль», в котором она была помещена, подвергся аресту по обвинению в безнравственности. 5 декабря 1910 г. Брюсов писал в связи с этим редактору журнала П. Б. Струве: «Почему какие-то гг. цензоры лучше меня знают, что́ можно читать русской публике и что́ не должно! И почему моя повесть, написанная серьезно, строго, иронически,— есть преступление против нравственности, тогда как сотни томов, определенно порнографических, мирно продаются в книжных магазинах с одобрения Комитета!» (Литературный архив, вып. 5. М.—Л., 1960, с. 309). В письме к Струве от 21 ноября 1910 г он также отмечал: «Все последние романы Арцыбашева, Каменского и всех, иже с ними, а частью также и Куприна, переполнены такими сценами, перед которыми моя повесть — верх скромности и целомудренности» (Там же, с. 302). Вскоре судебное преследование было отменено.

В повести Брюсова усматривали заимствование сюжетных ситуаций из скандального судебного дела Марии Николаевны Тарнов-

ской, слушавшегося в 1910 г. в Италии. Жених Тарновской, граф Павел Комаровский, застраховавший свою жизнь в полмиллиона франков в ее пользу, был убит ее любовником, юношей Наумовым; вдохновителями убийства были Тарновская и второй ее любовник, адвокат Донат Прилуков. Прямо о связи сюжета брюсовской повести с делом Тарновской говорилось в статье И. Александровского «Записки. Покушение с негодными средствами»: «Опять Тарновская! на этот раз в качестве героини беллетристического произведения» (Одесский листок, 1910, № 294, 22 декабря). Имея в виду эту статью, Брюсов писал 9 января 1911 г. П. Б. Струве: «Странно, что критики видят в моей повести намек на Тарновскую (это уже не первый): я лично не признаю никакого сходства!» (Литературный архив, вып. 5, с. 317)

«Последние страницы из дневника женщины» вызвали большое число критических отзывов. В повести были подмечены в наиболее выигрышном воплощении «положительные качества брюсовской прозы» — «классическая строгость языка, искусное распределение повествовательного материала и внешняя занимательность фабулы» (Русская молва, 1913, № 130, 23 апреля). М. А. Кузмин писал Брюсову 14 января 1911 г.: «Может быть, это лучшая ваша современная вещь» (ГБЛ, ф. 386, картон 91, ед. хр. 14). Поэт и критик Арсений Альвинг отметил в рецензии на повесть, что в ней Брюсов предстал «во всеоружии тонкого психологического проникновения»: «...весь дневник отличается строгой архитектурностью, не утомляющей — внешней, а глубоко скрытой, внутренней архитектурностью <...> В «Последних страницах из дневника женщины» — с большей, может быть, чем в других его произведениях силой — сказалось уменье Валерия Брюсова художественно-четкими штрихами рисовать интересные по концепции образы» (Жатва. Журнал литературы, кн. 1. М., 1912, с. 217, 222; подпись: А. Бартенев). Восторженно, но весьма односторонне и прямолинейно откликнулся на появление брюсовской повести критик А. Закржевский, объявивший ее «чуть ли не единственным ценным вкладом в литературу из всего, что писалось у. нас о женщине»: «Здесь Брюсов проник в то святое святых, о котором знает только женщина, здесь его психологический анализ помог ему нарисовать такой законченный, такой яркий и живой образ женщины, какой нам едва ли случалось встречать за последнее время!...» (Закржевский А. Карамазовщина. Психологические параллели. Киев, 1912, с. 27). В то же время некоторые критики порицали Брюсова за «идейную малосодержательность» и «односторонность миропонимания», выраженного в повести,— такова, например, рецензия Д Агова в газете «Россия» (1911, № 1577, 8 января).

Подробно коснулся брюсовской повести С. А. Венгеров в статье «Литературные настроения 1910 года» (Русские ведомости, 1911 № 14, 19 января). Отвергая упреки в непристойности и подчеркивая, что Брюсов «и прежде в эпоху «дерзаний» и всяческой разнузданности был чрезвычайно силен тем, что о самых скользких сюжетах умел говорить просто и без подмигивания», Венгеров заключает· «...предпочитаю обратить внимание на совершенство формы, на ее чрезвычайно отчетливый рисунок, обилие подробностей, строго подобранных для того, чтобы сосредоточить внимание читателя на одном пункте, и сильно отчеканенный язык. Это — реализм в лучшем смысле слова». Венгеров отмечает также, что «и публика и часть критики пресерьезно смешали в одно целое героиню и автора», и говорит о полной неосновательности такого подхода; приводя в пример предфинальную сцену «пошлейшего маскарадного представления», устраиваемого героине Модестом, критик отмечает: «...какое мы имеем право приписать психологию героини автору? Можно ли хотя

на одну минуту допустить, что его могла прельстить вся эта лубочная дешевка балаганной магии?»* Сам Брюсов косвенным образом характеризует персонажей своей повести, отвечая на упрек Струве в «эскизности»: такая «эскизность», по Брюсову, «соответствует характерам действующих лиц, которые все столь ничтожны, что не заслуживают более серьезного анализа» (письмо к П. Б. Струве от 21 ноября 1910 г. — Литературный архив, вып. 5, с. 302).

Многие черты, свойственные героине повести, Брюсов впоследствии использует при создании своей литературной мистификации — книги «Стихи Нелли с посвящением Валерия Брюсова» (М., Скорпион, 1913). Входящие в нее стихотворения написаны от лица вымышленной поэтессы и содержат описания ее жизненных встреч и любовных переживаний (ср. заглавия разделов сборника: «Листки дневника», «История моей любви»).

Стр. 104. *...города Беллини и Сансовино, Тициана и Тинторетто!* — Упоминаются великие венецианские живописцы Джованни Беллини (ок. 1430—1516), Тициан Вечеллио (ок. 1477—1576), Тинторетто (Якопо Робусти, 1518—1594) и знаменитый венецианский архитектор и скульптор Якопо Сансовино (1486—1570).

...«дом сумасшедших», навсегда освященный именами Байрона и Шелли... — Имеется в виду эпизод из поэмы Перси Биши Шелли «Юлиан и Маддало» (1818), в котором описывается посещение сумасшедшего дома на острове близ Венеции. В лице графа Маддало в поэме изображен Байрон, в лице Юлиана — сам Шелли.

...с портрета Ван-Дика. — Ван Дейк Антонис (1599—1641) — великий фламандский художник-портретист.

Стр. 105. *...«поединок роковой», о котором говорит Тютчев,* — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Предопределение», («Любовь, любовь — гласит преданье...». 1851 — 1852).

Стр. 108. *«Тютчевский», «как бы хрустальный».* — Имеется в виду строка «Весь день стоит как бы хрустальный» из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной...» (1857).

...бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. — Эпизод в парке в «Марии Стюарт» (1800) Фридриха Шиллера: героиня наслаждается дарованной ей минутной свободой после долгого заключения (действие III, явление 1).

Стр. 110. *...в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!* — Мариво Пьер Карле де Шамблен (1688—1763) — французский романист и драматург, создатель серии любовно-психологических комедий, отличавшихся изящным и легким сюжетом.

Стр. 111. *...густое нюи и замороженное ирруа* — марки французских вин.

...художника-дьявола? — «Художник-дьявол» — поэма К. Д. Бальмонта, входящая в его книгу «Будем как солнце» (1903) и посвященная Брюсову.

Стр. 113. *...с глазами гизехского сфинкса...* — Великий сфинкс на поле пирамид в Гизе (Гизех) — местности на левом берегу Нила, близ Каира.

* По всей вероятности, Венгеров полемизировал здесь с критиком С. Адриановым, отрицательно оценивавшим повесть Брюсова и в особенности развенчивавшим писателя за «ассирийскую» сцену: «Неужели Брюсов, человек тонкого вкуса и строгой самокритики, не замечает сам, как все это построение и все эти ассирийские детали где-нибудь на Никитской смехотворны и аляповаты?..» (Адрианов С. Критические наброски.— Вестник Европы, 1911, № 1, с. 379).

Стр. 114. ...*Гесперидовыми садами*...— Геспериды (древнегреч. мифология) — нимфы, дочери Атланта, охраняющие на краю мира сад с золотыми яблоками вечной молодости. См. стихотворение Брюсова «Гесперидовы сады» (1906), вошедшее в его книгу «Все напевы».

Стр. 118. *Мендес Катюлль* (1841—1909) — французский поэт и беллетрист, касавшийся в своих новеллах и романах патологических явлений психики. *Вилли* — псевдоним французской писательницы Габриель Сидони Колетт (1873—1954), под которым она опубликовала свой ранний цикл романов о Клодине (1900—1903).

...*роман Троллопа... «Малый дом»*...— нравоописательный роман из провинциальной жизни английского писателя Антони Троллопа (1815—1882) «Маленький дом в Аллингтоне» (1864).

Стр. 119. *«Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты»* — цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 4, строфа XVI).

Стр. 120. ...*так худ, что мог бы служить иллюстрацией к сказке Андерсена «Тень»*.— В сказке Ханса-Кристиана Андерсена «Тень» (1847) тень отделяется от героя и воплощается в невероятно худощавого человека.

Стр. 122. ...*Модест продекламировал по-английски*...— Цитируются слова Антония Клеопатре из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» (акт III, сцена 13).

Стр. 125. *О, ревность! «чудовище с зелеными глазами», сказал Шекспир.*— Слова Яго, обращенные к Отелло («Отелло», акт III, сцена 3). Ср. в переводе Б. Пастернака:

> Ревности остерегайтесь,
> Зеленоглазой ведьмы, генерал,
> Которая смеется над добычей.

Стр. 126. ...*верность... тверже, чем рыцаря Тогенбурга*.— Герой баллады Фридриха Шиллера «Рыцарь Тогенбург» (1797) преисполнен исключительной, неразделенной и трагической любовью, которая подчиняет себе его жизнь и оказывается сильнее смерти.

...*божественной Дульцинее, превращенной в Альдонсу*...— В романе Сервантеса Дон Кихот в своем воображении превратил деревенскую девушку Альдонсу во владычицу своего сердца, принцессу Дульсинею Тобосскую. В начале XX в. Ф. Сологуб создал своеобразный миф об Альдонсе и Дульцинее,— символизировавший сотворение из «грубого материала» возвышенного, преображенного мира,— который многократно развивал в статьях, пьесах и прозе.

Стр. 128. ...*Молчалинские слова!* — Имеются в виду слова Молчалина служанке Лизе о том, что он любит подлинно ее, а Софью «по должности» («Горе от ума», действие II, явление 12).

Стр. 129. ...*В душе не презирать людей!* — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа XLVI).

Стр. 134. ...о *схождении богини Истар в Ад*.— Иштар — в аккадской мифологии центральное женское божество, богиня плодородия и плотской любви. Один из связанных с ней мифологических мотивов — нисхождение Иштар в преисподнюю, в результате чего на земле прекращается любовь, животная и растительная жизнь.

Стр. 135. ...*герой Мардук... богиня Эа*.— Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, герой-победитель древних космических сил. Эа (Эйа — в аккадской мифологии, Энки — в шумерской мифологии) — бог мировых пресных вод, владыка мудрости и хранитель человеческих судеб; входил в верховную триаду богов в шумеро-аккадском пантеоне.

...*ждущей сошествия бога Бэла*...— Бэл — в аккадской мифоло-

гии обозначение Энлиля (божество плодородия и жизненных сил), могло быть также эпитетом любого бога.

Стр. 139. *...около Джованни и Паоло...* — Одна из красивейших и самых известных площадей Венеции — кампо Санти Джованни э Паоло, на которой находятся три знаменитых памятника архитектуры и истории Венеции — церковь деи Санти Джованни э Паоло (Сан Дзаниполо), скуола ди Сан Марко и монумент Бартоломео Коллеони работы Андреа дель Верроккьо.

Стр. 141. *Челлини* Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель. *Караваджо* Микеланджело (1573—1610) — итальянский живописец. Их биографии изобиловали авантюрами, иногда граничившими с преступлениями.

...приговорившему Сократа к чаше с омегой... — Древнегреческий философ Сократ (470/469—399 до н. э.) был по обвинению в безбожии и развращении юношества приговорен афинским судом к казни и принял яд цикуты (русское название близкого растения: омег, омежник).

...Уайльда к Рэдингской тюрьме! — Английский писатель Оскар Уайльд (1854—1900) был в 1895 г. по обвинению в аморальном поведении приговорен к двум годам заключения, которые провел в Редингской тюрьме. В 1898 г. вышла в свет «Баллада Редингской тюрьмы» Уайльда, отразившая его тюремные переживания; Брюсов перевел это произведение на русский язык в 1912 г.

СЕМЬ ЗЕМНЫХ СОБЛАЗНОВ

Впервые напечатано: Северные цветы, Альманах пятый книгоиздательства «Скорпион». М., 1911, с. 169—220, под общим заглавием: «Семь земных соблазнов. Отрывки из романа». Печатается по тексту этого издания.

Публикации отрывков в «Северных цветах» было предпослано редакционное предисловие, написанное, безусловно, самим Брюсовым:

От редакции

Роман из будущей жизни, «Семь земных соблазнов», над которым В. Я. Брюсов работает уже давно и сведения о котором не раз появлялись в печати, в полном своем виде может быть издан лишь через несколько лет. Разделенный на семь частей, по числу традиционных «семи грехов»,— Богатство, Сладострастие, Опьянение, Жестокость, Праздность, Слава, Месть,— он должен обнять все стороны человеческой жизни и пересмотреть все основные страсти человеческой души. Каждая часть представляет собою более или менее самостоятельное целое, которые все связаны между собою только образом главного действующего лица. Редакция Альманаха полагает, что читателям небезынтересно будет познакомиться с этим произведением по тем отрывкам из первой части романа, которые предложены в ее распоряжение автором. Она считает, однако, своим долгом предупредить, что печатаемые ею страницы составляют первоначальные наброски, которые еще подлежат обработке, как стилистической, так и по отношению ко всей композиции романа.

«Скорпион».

Из этого обширного замысла оказались реализованными лишь фрагменты из 1-й части «Богатство». Десять лет спустя после публикации в «Северных цветах» Брюсов включил «Богатство» в состав предполагавшегося в издательстве З. И. Гржебина собрания своих сочинений, но это издание не было осуществлено. (Литвин Э. С. Незаконченный утопический роман В. Я. Брюсова «Семь земных

соблазнов».— В кн.: Брюсовские чтения 1973 года, Ереван, 1976, с. 119—120).

Замысел «романа № 2» возник у Брюсова в 1908 г., сразу после завершения «Огненного Ангела»; название будущего произведения варьировалось многократно: «Семь смертных грехов», «Семь земных искушений», «Знаки семи планет», «Семь цветов радуги». В архиве Брюсова сохранились схематические наброски содержания отдельных частей романа. Указана и его развязка: «Кончается все грандиозным восстанием. Революция» (И л ь и н с к и й А. Литературное наследство Валерия Брюсова.— В кн.: Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 469).

Непосредственно к реализации задуманного произведения Брюсов приступил в Париже осенью 1909 г., причем французская столица дала писателю необходимый материал для картин будущей жизни. «...Непременно хочу <...> написать здесь значительную часть моего романа,— сообщал Брюсов жене из Парижа 24 сентября 1909 г.— Для многих его сцен я нахожу здесь как бы модели, чего мне будет весьма недоставать в Москве. Жизнь большого города, жизнь толпы и многое другое здесь я могу списывать «с натуры» (Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. Составил Н. Ашукин. М., 1929, с. 259). Париж дал Брюсову также богатый материал и для изображения «соблазнов» большого капиталистического города, и для осмысления социального антагонизма в воображаемом обществе будущего. Это сходство с современностью было отмечено критикой: «Можно подумать, что читаешь описание Парижа или Нью-Йорка, только обилие дирижаблей и аэропланов заставляет вспомнить, что действие происходит не в наши дни» (К о з л о в с к и й Л. О «Семи земных соблазнах», четырех поэтах и об одной мышке.— Русские ведомости, 1911, № 204, 4 сентября).

Роман «Семь смертных грехов» был анонсирован в каталоге издательства «Скорпион» на 1909 год, предполагался к опубликованию в последних номерах журнала «Весы» (см. об этом в указанной статье Э. С. Литвин, с. 126), однако Брюсов сумел подготовить только те фрагменты, которые появились в «Северных цветах».

Стр. 143. ...*быстроходные стимеры*...— род пассажирского судна, пароход (от англ. steamer).

Стр. 145. ...*щелканье бичей, выкрики газетчиков и продавцов*...— реминисценции изображения большого города в стихотворении Брюсова «Конь блед» (1903):

> В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
> Выкрики газетчиков и щелканье бичей.

Стр. 146. *«Будьте мудры, как змии»*...— Евангелие от Матфея, X, 16.

Стр. 151. ...*эталажи*...— Etalage (фр.) — выставка, витрина.

Стр. 153. ...*пусть гибнут библиотеки и музеи... горят кострами книги ученых и поэтов*...— Ср. стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» (1905):

> Сложите книги кострами,
> Пляшите в их радостном свете,
> Творите мерзость во храме —
> Вы во всем неповинны, как дети!

Стр. 161. ...*по слову апостола, на месте прежних дворцов свищут змеи, селятся волки и стадятся лани*...— В Новом завете такого пророчества не обнаружено. Сходной теме посвящено стихотворение Брюсова «В дни запустений» (1899), ср.:

На площадях плодиться будут змеи,
В дворцовых залах поселятся львы.

Стр. 165. *...о бессмертных радостях Паоло и Франчески в аду...* — Имеется в виду эпизод «Божественной Комедии» Данте — встреча в Аду с неразлучными тенями любовников, Франческой да Римини и Паоло Малатеста («Ад», песнь 5, ст. 72—142).

Стр. 166. *Как евангельская вдовица, я отдала тебе свои две лепты...* — Имеется в виду эпизод несения даров в сокровищницу, куда бедная вдова положила две лепты; Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» (Евангелие от Луки, XXI, 3—4).

Стр. 167. *Мессалина* (25—48) — жена императора Клавдия; имя ее стало синонимом разнузданного разврата.

ЗА СЕБЯ ИЛИ ЗА ДРУГУЮ?

Впервые напечатано: Речь, 1910, № 354, 25 декабря; Неделя «Современного слова», 1910, № 142, 25 декабря, с. 1172—1174. Вошло в книгу Брюсова «Ночи и дни. Вторая книга рассказов и драматических сцен». М., 1913, с. 79—87. Печатается по тексту этого издания.

Характеризуя включенные в «Ночи и дни» рассказы о «женской психологии», критик Зоя Бухарова отметила, что «За себя или за другую?» — «лучшая вещь из всего цикла: единственная, действительно отмеченная психологической правдой» (Россия, 1913, № 2286, 28 апреля; подпись: З. Б.).

Стр. 171. *...с огнями св. Эльма...* — Огни св. Эльма — электрические разряды в виде светящихся кисточек, слабых языков пламени, которые иногда можно наблюдать перед грозой и во время грозы на концах возвышающихся над земной и водной поверхностью скал, строений, деревьев, мачт и т. д.; название получили по имени церкви св. Эльма (Эразма), на башнях которой они часто возникали.

Стр. 172. *Интерлакен* — курортный городок в Швейцарии, в Бернском Оберланде, в долине между Тунским и Бриенцским озерами. Брюсов отдыхал на берегу Бриенцского озера в конце августа — начале сентября 1909 г.

Стр. 174. *Юнгфрау* — вершина в Бернских Альпах вблизи Интерлакена (4167 м).

Höheweg (Höhestrasse) — центральная улица Интерлакена с множеством гостиниц — аллея, засаженная орешником и платанами.

Стр. 175. *...в ресторане на Гардере...* — Гардер — горная местность к северу от Интерлакена. Ресторан Harderkulm размещался на высоте 1326 м; оттуда открывался вид на Бернские Альпы, Интерлакен и Тунское озеро.

Стр. 176. *Руген* — видимо, Малый Руген, живописная лесная местность к югу от Интерлакена, предгорье Большого Ругена.

ОБРУЧЕНИЕ ДАШИ

Впервые напечатано: Русская мысль, 1913, № 12, отд 1. с. 172—231 (подзаголовок: «Сцены из жизни 60-х годов»). Вышло в свет отдельным изданием: Обручение Даши. Повесть из жизни 60-х годов. М., 1915 (серия «Универсальная библиотека»). Печатается по тексту этого издания.

В повести нашла отражение история семьи Брюсовых. В образе Власа Терентьевича Русакова воплотились представления писателя о своем деде, Кузьме Андреевиче Брюсове, который в 1844 г. выкупился у помещицы из крепостного состояния и стал преуспевающим купцом, занявшись прибыльной пробочной торговлей. Отец Брюсова Яков Кузьмич явился прототипом для Кузьмы Русакова. В работе над повестью Брюсов пользовался материалами семейного архива: «У отца сохранились записки, которые он вел в юношестве; они лучше всего характеризуют их жизнь в 50-х годах. Это обычная жизнь мелкого московского купечества, быт, запечатленный Островским» (Брюсов В. Из моей жизни. М., 1927, с. 10). Связь героя повести с разночинной интеллигенцией также имеет аналогии в биографии Я. К. Брюсова. Брюсов свидетельствует в «Краткой автобиографии»: «В 60-х годах мой отец <...> поддался общему движению и деятельно занялся самообразованием <...> сблизился с кружками тогдашних революционеров, идеям которых оставался верен до конца жизни» (Брюсов В. Избр. соч. в 2-х т., т. 1. М., 1955, с. 35). Попытке привлечения Кузьмы Русакова к участию в кооперативной типографии соответствует в реальности начинание, в котором активную роль играл Я. К. Брюсов,— организация в Москве в 1871 — 1872 гг. «Модной мастерской, основанной на началах ассоциации» (см.: Брюсов А. Я. Страницы из семейного архива Брюсовых.— В кн.: Ежегодник Гос. Исторического музея. 1962 год. М., 1964, с. 239) Один из источников «Обручения Даши» — дневник Якова Кузьмича, который он вел с 1862 г. (часть его записана латинскими литерами, как и «журнал» Кузьмы); некоторые сюжетные элементы повести (жалобы на скупость отца, сцена посещения Кузьмой учителя танцев) прямо восходят к дневнику Я. К. Брюсова (см.: Благовонина Ю. П. Архив В. Я. Брюсова.— В кн.: Записки Отдела рукописей Гос. Б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 39, М., 1978, с. 71).

Повесть «Обручение Даши» была рассмотрена в статье В. Г Голикова «Принятная во всех отношениях» (Вестник знания [1-е изд.], 1914, № 2, отд. I, с. 146—158). «Возможно, что краски, бытовые подробности взяты из личных воспоминаний и наблюдений рассказчика, и это — лучшее в рассказе»,— подчеркнул критик, отметивший аналогии между повестью Брюсова и бытовыми комедиями Островского.

Стр. 181. *...старинного описания Макарьевской ярмарки...*— Макарьево — поселок в Горьковской области; с начала XVI в. славился ярмаркой у Макарьева монастыря, в 1817 г. была перенесена в Нижний Новгород.

...Николай Павлович...— император Николай I.

Стр. 187. *...к церкви Косьмы и Дамиана...*— Неясно, о какой именно церкви идет речь: всего в Москве было восемь церквей Косьмы и Дамиана.

Стр. 188. *...дом на Швивой горке.*— Швивая горка — улица в районе впадения Яузы в Москву-реку (ныне — часть улицы Володарского).

Стр. 197. *...Зотова сочинение...*— роман беллетриста Рафаила Михайловича Зотова (1795 или 1796—1871), популярного в мещанской среде, «Цын-Кну-Тонг, или Три добрые дела духа тьмы», вышедший из печати в 1840 г. и переизданный в 1857 г. Этот фантастический «китайский роман» вызвал иронически-насмешливый критический отзыв Белинского (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 464—469).

Стр. 199. *...читал Добролюбова...*— В журнальной публикации повести было: «читал Аполлона Григорьева». Подразумевались статьи

о драме А. Н. Островского «Гроза» — соответственно «Темное царство» (1859) и «Луч света в темном царстве» (1860) Н. А. Добролюбова и «После «Грозы» Островского. Письмо к Ивану Сергеевичу Тургеневу» (1860) А. А. Григорьева. Замена Григорьева на Добролюбова — дополнительный штрих, говорящий о радикально-демократических устремлениях героя повести.

Стр. 200. *...древние египтяне... memento mori!* — Латинское выражение «memento mori!» («помни о смерти!») — приветственная формула, принятая в монашеском ордене траппистов (1148—1636), члены которого были связаны обетом молчания. Переадресовка выражения древним египтянам разоблачает показную псевдообразованность Аркадия.

Стр. 202. *...«нарядная» едет «соблазнительно лежа» в коляске...* — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1857) — описание героини, «что торгует собой по призванью»

Что, поднявшись с позорного ложа,
Разоденется, щеки притрет
И летит, соблазнительно лежа
В щегольском экипаже, в народ <...>

Стр. 207. *...по рядной передам.*— Рядная запись — роспись приданому.

Стр. 219. *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

РЕЯ СИЛЬВИЯ

Впервые напечатано: Русская мысль, 1914, № 6, отд. 1, с. 2—25 (подзаголовок: «Рассказ из жизни VI века»). Вышло отдельным изданием: Брюсов В. Рея Сильвия. Элули, сын Элули. М., 1916 (серия «Универсальная библиотека») Печатается по тексту этого издания.

Эпоха заката и гибели Римской империи привлекала к себе пристальное внимание Брюсова на протяжении всей его творческой жизни. Еще в 1894 г. он работал над незавершенным романом «Грань», описывавшим заговор против императора Валентиниана III в 455 г (Гречишкин С. С. Ранняя проза В. Я. Брюсова.— Русская литература, 1980, № 2, с. 204—205). Позднее Брюсовым был написан роман из жизни Рима IV века «Алтарь Победы» (1911—1912), в 1910-е гг. он работал и над его продолжением — незавершенным романом «Юпитер поверженный». Подробнее об интересе Брюсова к истории и культуре Древнего Рима см. в статье М. Л. Гаспарова «Брюсов и античность» (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т 5. М., 1975, с. 543—555).

Характеризуя место действия «Реи Сильвии», историк и филолог-классик А. И. Малеин пишет: «Повесть эта интересна также и с археологической стороны. Несомненно, до автора дошли проявившиеся в то время даже и в нашей повседневной и повременной прессе многочисленные сведения о производившихся в Риме археологических разысканиях, в силу которых многие развалины, находившиеся в окрестностях Эсквилина и носившие прежде разные наименования, были признаны остатками знаменитого дворца Нерона — domus aurea («Золотой дом»), этого грандиозного сооружения, которое, применительно к нашему времени, должно было воспроизводить прежнее Царское Село в центре Петербурга или Версаль в середине Парижа, но, конечно, в более грандиозных размерах. Достаточно напомнить, что вмещавший по самому скромному счету 48 тысяч зрителей

Колнзей <...> был построен на месте одиого только искусствениого пруда в парке императора. В этот-то «Золотой дом» и проникает случайно иесчастная фантазерка и в найденном там барельефе с изображением Рен Снльвнн прнзнает самое себя» (М а л е и н А. Валерий Яковлевнч Брюсов н антнчный мир.— Известня Леииипградского гос. ун-та, 1930, т. II, с. 191).

Стр. 223. *Тотила* — король остготов в 541—552 гг., вел борьбу против византнйского завоевания Италин.

...трубить в букцины...— Букцина — духовой инструмент у древиих. Употреблялся как пастуший рожок, а также для снгиалов во время сторожевых смеи, для созыва народиых собраинй н т. п.

...добраться до Бовилл...— Бовиллы — древний городок иа Аппиевой дороге.

Самний — область в Италии к востоку от Рнма.

...около Корбия.— Корбий (Корбион, Corbio) — город эквов к юговостоку от Рима на склоне горы Алгндус.

...алчности и ярости Алариха, Генсериха и Рицимера...— Аларнх I (около 370—410) — король вестготов; в 410 г. захватил Рим и подверг его трехдневному разгрому. Генсерих (Гензернх, Гейзерих) — король вандалов в 427—477 гг.; захватнл и разграбил Рнм в 455 г. Рицимер — полководец Западной Римской империн; во главе войска германцев в 472 г. заиял и разграбнл Рим. Брюсов вывел Рицнмера в иезавершениом юиошеском романе «Граиь».

Стр. 224. *Велисарий* (505—565) — полководец византийского нмператора Юстнннана; разбил государство ваидалов, сражался с остготами и гуинами.

Ремурия (Remuria) — место на вершнне Авеитииского холма в Риме, где Рем, по предаиию, совершал гадания (ауспиции).

...алчного византийца Конона... — Коиои спекулнровал в Рнме съестнымн прнпасамн, продавая нх по очень высоким ценам богатым жителям города (П р о к о п и й и з К е с а р и и. Война с готами. М., 1950, с. 305); был убит восставшими солдатами в 548 г.

Нарсес (Нарзес, ок. 478—568) — полководец внзантнйского нмператора Юстиниана, армяиин, евиух, малого роста и слабого телосложения. В 552 г. разбил армню остготского короля Тотнлы, в 555 г. был иазиачен полиовластиым правнтелем Италии.

Рустициана, дочь Симмаха и вдова Боэция, протягивала руку за подаянием — Прокопий упоминает Рустициану в числе тех некогда богатых н высокопоставлениых римских жителей, которым пришлось «жнть одетыми в рубище рабов или крестьян и выпрашивать у врагов хлеба нлн чего другого, что нужио для человека» (П р о к о п н й н з К е с а р н н. Война с готами, с. 316). Симмах — философ, государствеииый деятель при Теодорнхе Великом, казиенный вместе со своим зятем Боэцием по обвиненню в государственной измене. Боэцнй Аиицнй Маилий Торкват Севернн (480—524) — пнсатель, философ, автор трактатов по логике н богословию.

Стр. 225. *Бычий форум* (forum boarium) — древиее назваиие Рнмского форума.

...изображения Домициана, Марка Аврелия...— Домнциан (51—96) — рнмскнй император (81—96). Марк Аврелий (121—180) — рнмский император (161—180). Триумфальиая статуя Марка Аврелия (II в.), найденная иа Рнмском форуме в конце XII в., стала классическим образцом для кониых монументов иового временн.

Стр. 226. *...времена Ореста... правление Траяна...*— Орест — герой древиегреческой мифологнн, сын Агамемиона н Клитемиестры. Марк Ульпий Траян (53—117) — рнмскнй император (98—117), прн нем империя достигла своих максимальных граннц.

...мудрого Нумы Помпилия... и Одоакра.— Нума Помпилий — второй царь Древнего Рима (715—673/672 до н. э.). Одоакр (ок. 431—493) — вождь племени скиров; в 476 г. низложил последнего императора Ромула Августула и провозгласил себя правителем Италии.

...правление Великого Теодориха...— Теодорих Великий (ок. 454 — 526) — король остготов (471—526), основатель остготского государства в Италии; низверг и убил Одоакра.

...со дня ее рождения, с первой осады Рима при Велисарии — неточность Брюсова. Велисарий взял Рим в 534 г. Выше указано, что в 546 г. Марии было 9 лет, т. е. она родилась в 537 г.

...второй основатель города Камилл...— Марк Фурий Камилл (423—364 до н. э.) — римский патриций, полководец; отстроил Рим после галльского нашествия.

Диоклециан (ок. 245—313) — римский император (284—305), осуществивший ряд реформ по укреплению хозяйственной, политической и военной мощи империи; добровольно отказался от власти.

Ромул Августул — последний император Западной Римской империи (475—476), свергнутый Одоакром.

...красноречивый Ливий...— Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.) — древнеримский историк, автор «Римской истории от основания города», излагавшей всю историю Рима с мифических времен до 9 г. н. э.; из 142 книг этого труда до нас дошло 35 книг.

Гонорий (384—423) — император Западной Римской империи (395—423).

Стр. 227. ...о *величии империи при Феодосии...*— Феодосий Великий (346—395) — римский император (379—395), завершивший христианизацию империи.

...древних поэтов — Вергилия, Авсония и Клавдиана.—Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.) — величайший поэт «золотого века» римской литературы. Децим Магн Авсоний (нач. IV в.— ок. 393) — поэт, автор эпиграмм, эклог, идиллий. Брюсов переводил сочинения Авсония и выпустил в свет очерк о нем — «Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония» (М., 1911). Клавдий Клавдиан (ок. 365 — ок. 404) — крупный поэт позднего периода римской литературы, автор поэм и многочисленных стихотворений. Стихи Клавдиана Брюсов включил в свой сборник переводов из римских поэтов «Erotopaegnia» (М., 1917).

...блаженные годы Энея, Августа или Грациана.— Эней — мифический родоначальник римлян, воспетый Вергилием в «Энеиде». Октавиан Август (63 до н. э.— 14 н. э.) — первый римский император (31 до н. э.— 14 н. э.), при котором было завершено установление новых государственных форм правления — военной монархии. Грациан (359—383) — римский император (375—383).

Палатин — один из семи холмов Рима.

...великого евнуха — то есть Нарсеса.

Стр. 227—228. *...список поэм славного Рутилия.*— Клавдий Рутилий Намациан (конец IV в.— 1-я треть V в.) был последним крупным поэтом Рима; преклонялся перед Вечным Городом и его доблестным прошлым. От Рутилия дошла поэма эпического характера «О своем возвращении» в двух книгах, сохранившихся не полностью.

Копона (caupona) — по пояснению Брюсова, «винноторговля, где на месте пили вино».

...в термах Каракаллы...— Общественные бани в Риме, выдающийся памятник архитектуры (начало III в.), славившийся своей роскошью, названы по имени императора Септимия Бассиана Каракаллы (186—217), в годы правления которого были построены.

Герулы (эрулы) — германское племя, вместе с готами вторгавшееся на территорию Римской империи. *Гепиды* — группа германских племен, родственных готам; в конце IV в. вошли в племенной союз гуннов.

...к базилике св. Петра...— Базилика, выстроенная в начале IV в. при императоре Константине и простоявшая до XV в.; затем на этом месте был возведен собор св. Петра.

Стр. 229. *Веспасиан* Тит Флавий (9—79) — римский император (69—79) и полководец. *Валентиниан I* Флавий (321—375) — римский император (364—375), вел успешную борьбу с германскими племенами.

Стр. 230. *...с богиней Вестой...*— Веста — в римской религии богиня очага, олицетворение благодетельного домашнего огня.

...с диктатором Суллою.— Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — римский военный и политический деятель, диктатор Рима в 82—79 гг. до н. э.

...разрушающихся стен терм Траяна...— Общественные бани в Риме, творение зодчего Аполлодора (начало II в.), названы по имени императора Траяна.

Стр. 231. *...пытающихся освободиться из гибельных объятий.*— Описывается знаменитая древнегреческая скульптурная группа, изображающая Лаокоона и двух его сыновей, оплетенных змеями, работы родосских скульпторов Агесандра, Полидора и Афинодора (I в. до н. э.); извлечена из земли при раскопках в Риме в 1506 г.

Стр. 232. *Константин Великий* Флавий Валерий (ок. 285—337) — римский император (306—337), в годы правления которого христианство получило официальное признание.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император (54—68).

...трогательную сказку о провинившейся весталке Илии, или Рее Сильвии...— Тит Ливий так излагает эту легенду (I, 3—4): «Старинное царство Сильвиев завещано было Нумитору как старшему сыну. Но сила оказалась выше воли отца и права старшинства: прогнав брата, воцарился Амулий; к одному злодеянию он присоединил другое, умертвив сына брата; дочь же брата — Рею Сильвию — он лишил надежды на потомство, сделав ее под видом почести весталкой.

Но я полагаю, столь сильный город и государство, уступающее лишь могуществу богов, обязано было своим возникновением соизволению судьбы. Когда изнасилованная весталка родила близнецов, то она объявила отцом этого безвестного потомства Марса или потому, что верила в это, или потому, что считала более почетным выставить бога виновником своего преступления. Однако ни боги, ни люди не в силах были защитить ее и детей от жестокости царя: жрица в оковах была брошена в тюрьму, а детей приказано было выбросить в реку. <...> Существует предание, что, когда плавающее корыто, в котором были выброшены мальчики, после спада воды осталось на сухом месте, волчица, шедшая из окрестных гор к воде, направилась на плач детей; она с такой кротостью кормила их грудью, что главный царский пастух, по имени Фаустул, нашел ее лижущей детей. Последний принес их домой и отдал на воспитание жене своей Ларенции» (Ливий Тит. Римская история от основания города, т. 1. М., 1892, с. 7—8).

...стихи из «Метаморфоз» древнего Насона...— Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.) — великий римский поэт. Цитируется его поэма «Метаморфозы» (кн. XIV, ст. 772—773).

Стр. 233. *...царя Альбы Лонги.*— Имеется в виду царь Нумитор. Альба-Лонга — древнейший латинский город на территории Италии, по легенде, построенный Асканием, сыном Энея (Ливий Тит. Римская история от основания города, т. I, с. 6).

Стр. 235. *Градив* (Gradivus — шествующий) — один из эпитетов Марса.

Стр. 236. *Пракситель* (ок. 390 — ок. 330 до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, представитель поздней классики.

Стр. 237....*божественный ихор олимпийца*.— Ихор — кровь богов, согласно древнейшим греческим представлениям.

Стр. 243. ...*полчища диких лангобардов!* — Лангобарды во главе большого племенного союза вторглись на территорию Италии в 568 г.

ЭЛУЛИ, СЫН ЭЛУЛИ

Впервые напечатано: Русские ведомости, 1915, № 296, 25 декабря. Вошло в кн.: Брюсов В. Рея Сильвия. Элули, сын Элули. М., 1916 (серия «Универсальная библиотека»), с. 48—62. Печатается по тексту этого издания.

В рассказе отразились археологические интересы Брюсова, в особенности усилившиеся в середине 1910-х годов, во время работы над книгой «Учители учителей. Древнейшие культуры человечества и их взаимоотношение» (напечатана в журнале «Летопись» в 1917 г.), которая «представляет смелую и интересную попытку обобщить данные обо всех известных к 1917 г. древних культурах, полученные в результате раскопок и иными путями»; «несомненно, больше всего его как историка-мыслителя привлекала идея обобщения и философского истолкования итогов многочисленных археологических, этнографических, географических и исторических разысканий и конкретных данных, накопленных мировой наукой во второй половине XIX и в начале XX в.» (Берков П. Н. Проблемы истории мировой культуры в литературно-художественном и научном творчестве Валерия Брюсова.— В кн.: Брюсовские чтения 1962 года. Ереван, 1963, с. 39, 44; см. также: Галустов А., А. В. Я. Брюсов и некоторые вопросы истории древнего мира.— Там же, с. 246—259). Известно, что Брюсов сам вынашивал идею археологической поездки в Западную Африку. Племянник поэта Н. А. Рихтер свидетельствует в неопубликованных воспоминаниях, что «давнишней мечтой Валерия Яковлевича было посетить район Тимбукту, селение Тимгит. По мнению Валерия Яковлевича, здесь были расположены колонии Атлантиды и была надежда найти какие-то следы поселений и остатки культуры атлантов. Война 1914—1918 гг. помешала осуществить это намерение» (примечания М. В. Васильева и Р. Л. Щербакова в кн.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 7. М., 1975, с. 490).

Непосредственным источником сюжета рассказа могла послужить экспедиция немецкого путешественника Лео Фробениуса (1908) на юго-западный берег Африки, в область между Того и Либерией; раскопки Фробениуса выявили остатки древней цивилизации йоруба. Впрочем, характеризуя в книге «Учители учителей» находки Фробениуса, Брюсов подчеркивает, что «все эти вещи не носят на себе ни малейших следов позднейшего финикийского влияния, что чрезвычайно важно, ибо финикийцы, отважные мореплаватели, заплывали и за Гибралтарский пролив, устраивая колонии или временные стоянки по всему западному берегу Африки» (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 7, с. 428).

Стр. 247. ...*племянник Шлиммана прочитал в финикийской надписи на сосуде, найденном в Сирии*.— Речь идет об археологических разысканиях Пауля Шлимана, внука Генриха Шлимана (1822—1890) — знаменитого археолога, открывшего Трою. В книге «Учители учителей» Брюсов анализирует сообщения П. Шлимана и находит их «полными научных несообразностей и внутренних противоречий»,

а приводимую им финикийскую надпись — совершенно невероятной (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 7, с. 424—427). Сам Брюсов, однако, верил в преемственность финикийской культуры по отношению к легендарной Атлантиде. В венке сонетов «Светоч мысли» (1918) он пишет, что свет, зародившийся в Атлантиде, «просверкал у Аймара́ и в Тире» (Тир — финикийский город) (Брюсов В. собр. соч. в 7-ми т., т. 3. М., 1974, с. 383).

Стр. 248. *...Астарты, нисходившей во Ад...* — Астарта — древнесемитское божество, соответствует Иштар в аккадской мифологии (см. примеч. к с. 134). «По халдейской мифологии, богиня Истар (Астарта) сошла в подземное царство, в жилище Иркаллы и вывела мертвых к жизни»,— писал Брюсов в примечании к своему стихотворению «Из ада изведенные» (1905) в сб. «Stephanos».

...места упокоения у Рефаимов... — Рефаимы (древнеевр. «исполины») — древнейшие обитатели Палестины. В некоторых библейских книгах (Книга Иова, XXVI, 5; Книга пророка Исайи, XIV, 9—10; XXVI, 14, 19 и др.) слово «рефаимы» означает умерших.

МОЦА́РТ

Печатается впервые по рукописи, сохранившейся в архиве Брюсова (ГБЛ, ф. 386, картон 35, ед. хр. 9). В архиве имеется пять редакций повести, в некоторых из них текст неполный (там же, ед. хр. 5—8).

Брюсов работал над повестью в 1915 г. (под текстом помета: «Кончено 3 сент<ября> 1915 года») и предполагал опубликовать ее в журнале «Русская мысль». Уже 14 августа 1915 г. он сообщал секретарю редакции А. П. Татариновой: «Рассказ «Моцарт» (около 1 печ. листа) будет доставлен в течение 7—10 дней» (ИРЛИ, ф. 444, ед. хр. 46). Однако другие дела (прежде всего работа над антологией «Поэзия Армении») отодвинули исполнение этого обещания. 8 ноября 1915 г. Брюсов писал Татариновой, что приложит «все усилия», чтобы в скором времени представить «рассказ (маленькую повесть) «Моцарт», *совершенно* <...> написанный и нуждающийся не столько в поправках, сколько просто в переписке с оригинала». Однако и эта завершающая фаза работы растянулась на долгие месяцы. 1 октября 1916 г. Брюсов, после многократных обещаний, вновь сообщал Татариновой: «...«в ближайшем» будущем надеюсь прислать пресловутого «Моцарта» (Там же), но рукопись в редакцию так и не поступила. История создания и содержание повести анализируются в статье: Дербенева А. Неопубликованная повесть Брюсова «Моцарт».— В кн.: Брюсовский сборник. Ставрополь, 1975, с. 149—156.

Стр. 252. *...Как унижает сердце нам она!* — слова из монолога Альбера в «Скупом рыцаре» Пушкина (сцена I).

Стр. 255. ...*от 20 числа до 20-го!* — «Человек (люди) двадцатого числа» — дореволюционное ироническое выражение о чиновниках, получавших жалование 20-го числа каждого месяца.

Стр. 265. *...книга Фореля о половом вопросе...* — исследование «Половой вопрос» (1905) известного швейцарского невропатолога, психиатра и социолога Августа Фореля (1848—1931)

Стр. 267. *Штраус* Рихард (1864—1949) — немецкий композитор. *Дебюсси* Клод Ашиль (1862—1918) — французский композитор. *Фор* Жан Батист (1830—1914) — французский певец и композитор, автор многочисленных песен и романсов.

Стр. 270. *...островов Архипелага...* — греческие острова в Эгейском море.

Стр. 276. *«В глазах потемнело, я весь изнемог»...*— неточная цитата из стихотворения Пушкина «Черная шаль» (1820). В оригинале:

Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...

Стр. 284. *...о концертах Кусевицкого...*— Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — контрабасист, дирижер, музыкальный деятель, организатор симфонических концертов, известных под названием «Концерты С. Кусевицкого».

...в Москве поют всю тетралогию о гибели богов...— Постановка всех четырех частей оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»; 1854—1874) была осуществлена не в Москве, а в Петербурге, в Мариинском театре — с 1907 г. тетралогия исполнялась последовательно, в виде законченного цикла.

Стр. 286. *...напечатан в твоей Hestia!* — «Эстиа» («Очаг») — первый двухнедельный литературный журнал на новогреческом языке, выходивший в Афинах в 1876—1895 гг. и сыгравший видную роль в развитии новогреческой литературы.

Стр. 289. *«Тоньше волоса и острее лезвия сабли».*— В Коране в многочисленных сурах упоминается ад, где получают воздаяния души неверных. Здесь речь идет о мусульманской легенде (хадис), согласно которой в день страшного суда в Иерусалиме аллах будет судить праведников и грешников у моста Сират, переброшенного над адом и ведущего в рай. Цитата о мосте «тоньше волоса и острее лезвия сабли» в Коране не обнаружена; там упоминается «лестница» между адом и раем (Сура 52 «Гора», ст. 38).

Miscellanea

Стр. 292. Miscellanea.— «Под заглавием «Miscellanea» (т. е Смесь) я печатаю,— писал Брюсов в примечании к одной из заметок,— время от времени разрозненные замечания, наблюдения, догадки, которым не находится места в моих работах более систематических и которые возникают «попутно», в связи — но «случайной» — с тем или иным исследованием». (Ряд заметок из «Miscellanea» Брюсов хотел снабдить подзаголовком: «Заметки по пути».) В 1912 г. Брюсов готовил к печати сборник «Miscellanea». В предисловии к этому изданию Брюсов писал, что в него входят «отрывочные мысли, не развитые в целые статьи, возражения полемические и ответы моим критикам, заметки на полях прочитанных книг, ответы на анкеты, письма в редакцию по разным поводам и т. п.»...

Ряд заметок из «Miscellanea» приводится по изданию: Брюсов В. Избранные сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2: Переводы, статьи.

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий Яковлевич
Брюсов

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор О. И. Бриль
Технический редактор Т. Д. Рязанова
Корректоры Н. Л. Федотовских, Г. Г. Быкова

ИБ № 96

Сдано в набор 14.01.87. Подписано в печать 06.05.87. НС 23482.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,3. Уч.-изд. л. 22,2.
Тираж 230 000 экз. Заказ № 21. Цена 1 р. 80 к.

Издательство Уральского университета.
620219, Свердловск, ГСП-830, пр. Ленина, 13б.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»
620219, г. Свердловск, пр. Ленина, 49

1 р. 80 к.